Лев Толстой



ГЛАВНЫЕ КНИГИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Крейцерова соната

Самое скандальное произведение Толстого. На страницах повести писатель излагает свои поздние взгляды на взаимоотношения полов.

Смерть Ивана Ильича

Одна из вершин мировой психологической прозы: хроника смертельной болезни, где умирающий приходит к пониманию того, чем была его жизнь.

Хаджи-Мурат

Размышления позднего Толстого о жизнестойкости и о развращающей силе власти. Последняя большая художественная вещь и в каком-то смысле завещание Толстого.

альпина ПРОЗА ПОЛКА

Крейцерова соната. Смерть Ивана Ильича. Хаджи-Мурат

Лев Николаевич Толстой

Аннотация
Лев Толстой. Крейцерова соната. Смерть Ивана Ильича. Хаджи-Мурат
Крейцерова соната. Предисловие «Полки»
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
Послесловие к «Крейцеровой сонате»
Смерть Ивана Ильича. Предисловие «Полки»
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Хаджи-Мурат. Предисловие «Полки»

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
Рекомендуем книги по теме

Аннотация

«Крейцерова соната» – самое скандальное произведение Толстого. На страницах повести писатель излагает свои поздние взгляды на взаимоотношения полов.

Ведь что это за путаница! Из тысячи женящихся мужчин не только в нашем быту, но, к несчастью, и в народе, едва ли есть один, который бы не был женат уже раз десять, а то и сто или тысячу, как Дон Жуан, прежде брака. (Есть теперь, правда, я слышу и наблюдаю, молодые люди чистые, чувствующие и знающие, что это не шутка, а великое дело. Помоги им Бог! Но в мое время не было ни одного такого на десять тысяч.) И все знают это и притворяются, что не знают. Во всех романах до подробностей описаны чувства героев, пруды, кусты, около которых они ходят; но, описывая их великую любовь к какой-нибудь девице, ничего не пишется о том, что было с ним, с интересным героем, прежде: ни слова о его посещениях домов, о горничных, кухарках, чужих женах. Если же есть такие неприличные романы, то их не да-

ют в руки, главное, тем, кому нужнее всего это знать, – девушкам.

«Смерть Ивана Ильича» – одна из вершин мировой психологической прозы: хроника смертельной болезни, где умирающий отказывается принять смерть и приходит к пониманию того, чем была его жизнь.

«Хаджи-Мурат» – размышления позднего Толстого о жизнестойкости и о развращающей силе власти. Последняя большая художественная вещь и в каком-то смысле завещание Толстого.

О серии

«Главные книги русской литературы» – совместная серия издательства «Альпина. Проза» и интернет-проекта «Полка». Произведения, которые в ней выходят, выбраны современными писателями, критиками, литературоведами, преподавателями. Это и попытка определить, как выглядит сегодня русский литературный канон, и новый взгляд на известные произведения: каждую книгу сопровождает подробная статья авторов «Полки».

Софья Андреевна Толстая, которая переписывала это произведение Толстого, как и

все остальные, и добывала разрешение на его публикацию, тем не менее сразу же восприняла повесть как обидный выпад в свой адрес. «Я сама в сердце своем почувствовала, что эта повесть направлена в меня, что она сразу нанесла мне рану, унизила меня в глазах всего мира и разрушила последнюю любовь между нами», – писала она. Унижение оказалось настолько болезненным, что Софья Андреевна даже решилась написать ответ – в 1895 году появилась ее повесть «Чья вина?».

Для кого

Для всех любителей классической русской литературы и для старших школьников.

Лев Толстой
Крейцерова соната. Смерть Ивана Ильича. Хаджи-Мурат

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

16+

Текст печатается по изданию: Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 22 томах. Т. 12, 14. — М.: Художественная литература, 1982, 1983.

Главный редактор: *С. Турко*
Руководитель проекта: *А. Василенко*
Корректоры: *Н. Витько, Е. Аксёнова*
Компьютерная верстка: *М. Поташкин*
Художественное оформление и макет: *Ю. Буга*

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу

лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Сапрыкин Ю., 2022
© Кириенков И., 2022
© Трофимова Т., 2024
© ООО «Альпина Паблишер», 2024

* * *

Лев Толстой

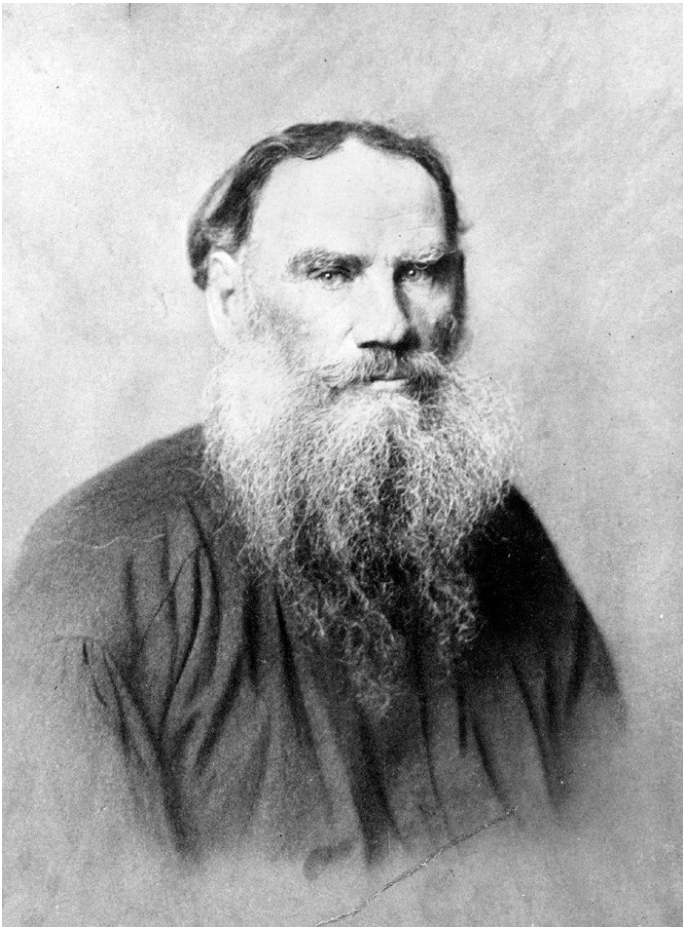
Крейцерова соната
Смерть Ивана Ильича
Хаджи-Мурат

ПОЛКА

альпина
ПРОЗА

Москва, 2024





Лев Толстой. Около 1890 года.[1]

[1] Сноски: 1
Лев Толстой. Около 1890 года. Государственный музей Л. Н. Толстого.

Крейцерова соната
Предисловие «Полки»

Самое скандальное произведение Толстого. На страницах повести о муже, убившем жену из ревности, писатель излагает свои поздние взгляды на взаимоотношения полов.

Татьяна Трофимова

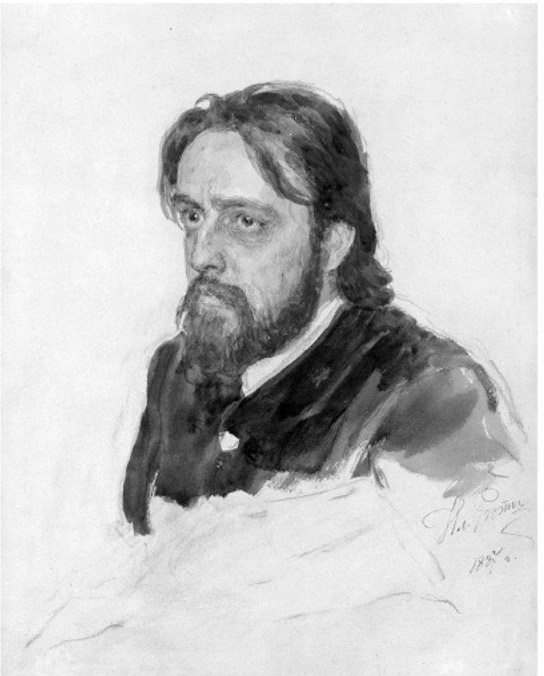
О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

О том, как муж из ревности убил жену и обвинил во всем порочный институт брака. Главный герой Позднышев рассказывает случайному попутчику в поезде свою драматическую историю: как он женился, изначально будучи влюбленным в свою невесту, но скоро обнаружил, что их союз не приносит ему никакой радости, а только мучения. На основании этого Позднышев делает вывод о порочности брака как института, устроенного таким образом, что люди сходятся лишь на основании увлечения со стороны мужчины и необходимости со стороны девушки, ничего не узнав друг о друге и руководствуясь совсем

не теми соображениями. В итоге получается не семья, а, как не раз говорит герой, «свинство», в котором легко дойти и до преступления. Такое радикальное заявление Толстого о природе брака прозвучало для современников максимально остро, настроив против писателя всех — от церкви до собственной жены.

КОГДА ОНА НАПИСАНА?

«Крейцерова соната» — тот случай, когда и дату начала работы над повестью, и дату окончания можно установить только опосредованно. Вероятнее всего, Толстой закончил писать текст в начале декабря 1889 года — во всяком случае 8 декабря в дневнике появилась последняя запись на этот счет, и в ней писатель сообщал, что «Крейцерова соната» ему «надоела». Вскоре после этого Толстой отправил рукопись своему близкому другу и издателю Владимиру Черткову, а тот вернул ее к концу месяца с комментариями, которые писатель, судя по его ответу 31 декабря, собирался учесть.



И. Е. Репин. Портрет В. Г. Черткова[2]

Но, насколько известно, в январе он внес лишь пару мелких стилистических поправок, что ед-

[2] Сноски: 2

И. Е. Репин. Портрет В. Г. Черкова 1887 г. Государственный музей Л. Н. Толстого.

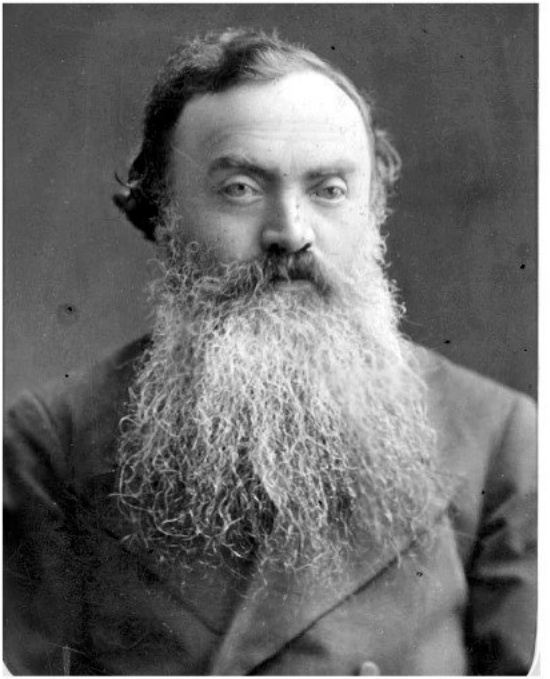
ва ли можно считать продолжением работы. Первые же упоминания о замысле относятся к июню 1887 года, когда в гости к Толстому приезжал актер Василий Андреев-Бурлак и рассказал ему о произошедшем с ним эпизоде на железной дороге — случайный попутчик поведал историю об измене жены. Так что, очевидно, работа над повестью происходила между этими двумя датами. Но велась неравномерно, поскольку за эти два с половиной года Толстой не раз бросал текст и параллельно занимался другими произведениями.

КАК ОНА НАПИСАНА?

В «Крейцеровой сонате» использована рамочная композиция, или прием рассказа в рассказе, характерный для позднего Толстого. К нему писатель прибегает, например, в повести «Хаджи-Мурат» или в рассказе «После бала». В данном случае наличие «рамки» помогает совместить эмоциональный рассказ от первого лица и проблемный контекст, в котором его надо воспринимать. Во «внешней» рамке рассказчик описывает, как во время одной из поездок по железной дороге между его попутчиками завязался интересный спор о семье и браке и среди них оказался чело-

век, убивший свою жену. Во «внутреннем» же рассказе один из пассажиров, Позднышев, от первого лица откровенно повествует о том, каким образом он дошел до преступления из ревности. На самом деле Толстой легко мог бы отдать все пространство повествования главному герою, но, видимо, ему было важно, чтобы эта персональная история была воспринята в определенном социальном контексте на фоне мнений, высказанных другими пассажирами.

Сам Толстой в итоге остался не очень доволен тем, как устроена повесть. Но сомнения у него вызывал другой прием — совмещение сюжетного рассказа и длинных философских размышлений. «В художественном отношении я знаю, что это писание ниже всякой критики: оно произошло двумя приемами, и оба приема несогласные между собой, и от этого то безобразие, которое вы слышали», — писал Толстой в ответ на критику Николаю Страхову. Тот сообщал писателю, что его смущают форма рассказа в рассказе, где слишком много места отдано прямой речи героя и при этом неясно, кто же его собеседник, и большое количество отвлеченных рассуждений Позднышева.



Н. Н. Страхов[3]

Объем рассуждений, которые к тому же не вяжутся с состоянием главного героя в моменте, не понравился и другому близкому другу Тол-

[3] Сноски: 3
Фотография Н. Н. Страхова. Государственный музей Л. Н. Толстого.

стого — Владимиру Черткову. На его взгляд, их следовало бы выделить отдельно и не смешивать с рассказом Позднышева о его семейной драме. В ответ Толстой записал в дневнике, а после сообщил Черткову в письме, что согласен и хотел бы последовать совету друга. Но в итоге ничего исправлять в повести не стал, решив, что важнее то впечатление, которое она производит, даже будучи несовершенной по форме.

ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?

В самой повести есть упоминание сразу двух сект, в основе идеологии которых лежат взгляды, сходные с теми, что излагает Позднышев. Прежде всего это шекеры (шейкеры), и действительно в процессе работы над текстом Толстой интересуется жизнью этой американской общины, участники которой проповедовали целомудрие и безбрачие. «И как всегда бывает, когда чем занят хорошим, в этом направлении, поддерживая его, складываются внешние события», — сообщает Толстой Черткову весной 1889 года, добавляя, что вступил в переписку с некоторыми из шекеров и получил от них несколько полезных книг. Также в третьем эпиграфе из Евангелия от Матфея упоминаются скопцы. К моменту

работы над повестью эта секта была известна в Российской империи уже много десятилетий. Власти боролись с ее идеями, которые предполагали оскопление в целях борьбы за спасение души, а приверженцы скопчества наказывались и ссылались в Сибирь. Но если про шекеров известно, что Толстой интересовался их учением непосредственно во время написания «Крейцеровой сонаты», то про скопцов такой уверенности нет. В дальнейшем писатель даже будет состоять в переписке с одним из представителей секты, но это будет происходить уже спустя несколько лет после публикации повести.

В дневнике Толстой также писал о том, что большое влияние на характер повести оказало письмо, полученное им еще в феврале 1886 года: «Основная мысль, скорее сказать чувство, “Крейцеровой сонаты” принадлежит одной женщине, славянке, писавшей мне комическое по языку письмо, но замечательное по содержанию об угнетении женщин половыми требованиями». В этом письме, автор которого подписался как «славянка», содержались жалобы на положение юных невинных девушек, которые выходят замуж и в браке попадают во власть уже немолодых мужчин с их привычками к аморальному

образу жизни, в результате чего теряют и нравственность, и здоровье. Поскольку повесть в этот момент еще даже не была задумана, вполне может быть, что это письмо наряду с рассказом Андреева-Бурлака стало импульсом для Толстого.

Свою роль могли сыграть и семейные обстоятельства: в феврале 1888 года женится второй сын Толстого. Поскольку Илье Львовичу на тот момент было лишь немногим за двадцать, как и его невесте, и он не имел никакого источника дохода, Толстой просит сына подумать над теми основаниями, на которых будет построен его брак. А впоследствии писатель будет высказывать недовольство тем, как молодые ведут хозяйство, как устроен их быт и что рождение первенца их традиционно разделило: невестка погрузилась в заботы о ребенке, предоставив Илье Львовичу заниматься своими делами. Это, по мнению Толстого, тревожный предвестник проблем в браке.

Наконец, с текстом Толстого связывают еще две книги, популярные в те годы, — «Об уходе за малыми детьми» педиатра Егора Покровского и «Токология, или Наука о деторождении» американского врача-гинеколога Алисы Стокхэм.

Писатель был знаком с обоими авторами: первому он посоветовал в 1889 году опубликовать его работу, а второй предложил сделать перевод книги на русский язык и лично написать к нему предисловие — настолько писателю показалась важной затронутая тема. В книгах обоих врачей немало места уделено тому, какими должны быть отношения родителей в браке, чтобы в семье родились и выросли здоровые дети. Но если труд Покровского теоретически мог оказать влияние на Толстого, так как пришелся на период его работы над текстом, то книга Стокхэм даже на английском появилась уже после выхода повести.

КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?

Первая официальная публикация повести состоялась в июне 1891 года в составе тринадцатого тома собрания сочинений Толстого, изданием которого занималась жена писателя. Софья Андреевна Толстая настаивала на том, чтобы «Крейцерова соната» не выходила отдельно, так как это отвлекло бы внимание читающей публики от очередного тома собрания сочинений. Хотя предложения о публикации Толстой начал получать еще с мая 1889 года, когда повесть не была даже готова. Учитывая пожелания Софьи Андре-

евны, Толстой сразу же отказался от идеи отдать «Крейцерову сонату» в издательство «Посредник» Черткова. А вскоре и другие заинтересованные издатели — Александр Эртель и Павел Гайдебуров — сообщили писателю, что получили от цензурного ведомства сигнал о том, что разрешения на публикацию в сборнике или газете им не дадут. В итоге, чтобы напечатать повесть в собрании сочинений, Софье Андреевне пришлось попросить аудиенцию у императора Александра III лично и там 13 апреля 1891 года получить его согласие.

Однако к тому моменту вся читающая публика повесть уже прочла. «Утечка» текста произошла после первых чтений «Крейцеровой сонаты» 28 и 29 октября 1889 года сначала в доме Кузьминских, родственников Толстого, а потом в редакции «Посредника». Тогда, чтобы поскорее вернуть рукопись еще не оконченной повести, несколько человек взялись переписать ее, а спустя несколько дней уже было готово три сотни литографических копий. Некоторые из них легли в основу публикации повести отдельной книжкой в 1890 году в берлинском издательстве «Библиографическое бюро». В нем же вышло и второе издание — уже с послесловием Тол-

стого, написанном по просьбе Черткова. С этого второго издания в Москве были сделаны новые нелегальные копии. Так что едва ли будет преувеличением сказать, что к моменту официального выхода «Крейцеровой сонаты» практически все желающие уже успели прочитать повесть, хотя и не в окончательном виде.

КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?

Бурно. Причем острая реакция проявилась еще до публикации повести. Константин Победоносцев, занимавший в те годы пост обер-прокурора Синода, по прочтении «Крейцеровой сонаты» даже не знал, что делать. Все это мерзко, цинично и, конечно, искажено Толстым, писал он, но многое из высказанного — все-таки правда. А значит, запретить повесть во имя нравственности будет проявлением лицемерия. Ключевым моментом в восприятии «Крейцеровой сонаты» стало то, что реакцию вызвало не столько художественное произведение, сколько высказанные в нем идеи. Это вполне объяснимо тем, что Толстой в тот период уже далеко вышел за рамки писательства и от него ждали высказываний как от идеолога. Но в данном случае идеологический посыл Толстого не понравился никому.

В первых рядах, даже не дожидаясь официальной публикации повести, выступили представители церкви, в частности архиепископ Херсонский и Одесский Никанор, а также священники Федор Преображенский и Александр Разумовский. С одной стороны, столь быстрая реакция церкви понятна, ведь брак находится в ее ведении, а Толстой посягает на таинство, с другой — необычным было то, что церковь инициировала разговор о физической стороне брака, которого прежде избегала. Впрочем, все ее представители высказались в одном ключе: Толстой зря взял на себя роль проповедника, а в Евангелии уже все сказано на тему отношений мужа и жены. Далее в дело вступили богословы, писатели, журналисты, религиозные философы — и волна обсуждения церковного брака, пущенная Толстым, растянулась на несколько десятилетий.

Одновременно высказывала свое негодование и журнальная критика, и в ее фокусе, помимо обсуждения природы брака, оказалась та позиция, которую занял Толстой. Будучи писателем, он зашел на поле публицистики, а это значит, что «Крейцерова соната» не могла рассматриваться как художественное произведение. Позднышев

в этом случае уже не полноценный персонаж, а лишь марионетка в руках автора, который транслирует через него собственные идеи.

Наконец, засыпали Толстого письмами и обычные читатели: кто-то спешил поделиться своей историей, кто-то просил совета — девушки сомневались, стоит ли выходить замуж, молодые люди хотели понять, нужно ли отказываться от женитьбы после обнаружения небезупречных эпизодов в прошлом невесты. Получал Толстой и письма негодования, в которых его упрекали, что он лишил юношей и девушек свойственных их возрасту мечтаний о счастье, что он просто не любил по-настоящему и сам же своими действиями разрушает брак.

Негодовали абсолютно все, и даже Антон Чехов, поначалу оценивший повесть, после прочтения «Послесловия» изменил свое мнение. Если путаницу в заболеваниях он еще был готов простить, то отношение Толстого к врачам его откровенно возмутило: «Черт бы побрал философию великих мира сего! Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности».

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

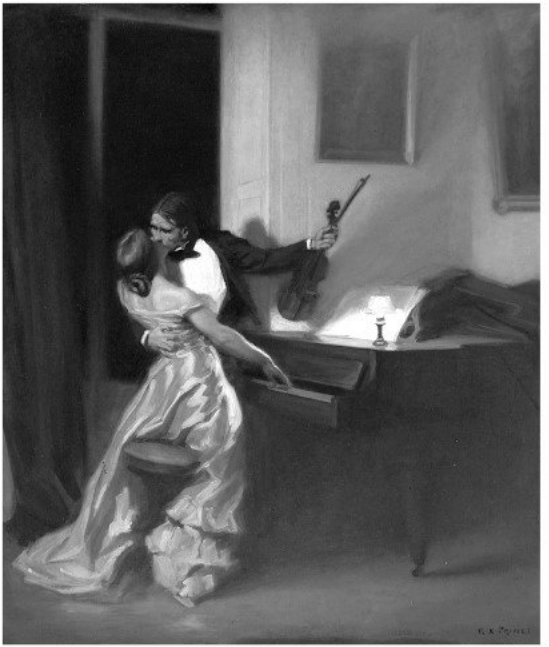
Помимо десятилетий обсуждения проблем брака и с церковной, и с философской точек зрения, вслед за «Крейцеровой сонатой» появился поток художественных текстов, авторы которых решили с Толстым поспорить. В частности, самым значительным высказыванием называют рассказ «По поводу “Крейцеровой сонаты”» Николая Лескова. В нем к писателю приходит незнакомая дама и просит у него совета относительно своей семейной ситуации: она много лет изменяет мужу и теперь хочет наконец разорвать порочный круг лжи и во всем признаться. Писатель же отговаривает даму от опрометчивого шага, так как он принесет всем — и ей самой, и ее мужу, и ее детям — лишь несчастье. Вероятно, дама следует его совету, и спустя несколько лет писатель встречает ее семейство в полном составе на отдыхе, где разыгрывается совсем другая драма. По сути, Лесков выбирает сторону общественной морали и сохранения внешней пристойности — позиция, которая доминировала в обществе многие годы, пока Толстой не поставил вопрос радикально и остро.

Полемические ответы на повесть Толстого

возникли и внутри его семьи. В 1898 году был опубликован текст сына писателя, Льва Львовича Толстого, под названием «Прелюдия Шопена». Полемичным было не только название. В произведении прямо упоминалась и развернуто критиковалась «Крейцерова соната», а позитивный смысл, который хотел донести сын Толстого, заключался в том, что брак приносит счастье, а все сомнения и соблазны — от тумана в голове, который, впрочем, развеивается, стоит зазвучать произведению Шопена. Считать так у Льва Львовича, вероятно, были все основания, так как он лишь недавно женился и разочарования отца в браке не понимал. Впрочем, Лев Толстой отказался считать это серьезным высказыванием, прямо сообщив сыну, что тот поступил некультурно, глупо и бездарно. С тем, что у Льва Львовича недостает таланта и ума спорить с произведением отца, согласилась и Софья Андреевна, правда, молча записав это в дневнике. Сама она к тому моменту уже тоже написала свой полемический ответ — повесть «Чья вина?», но публиковать ее, в отличие от Льва Львовича, не стала.

ПОЧЕМУ ИМЕННО «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»?

Есть несколько эпизодов, с которыми обычно связывают выбор Толстым именно этого музыкального произведения. Один относится к лету 1876 года, когда в Ясной Поляне гостил дальний родственник Толстого — скрипач Ипполит Нагорнов. Интересно, что Софья Толстая описывает его как не очень приятного человека, однако стоило ему взять в руки скрипку, как талант преображал его настолько, что в итоге все в доме были в него влюблены. В частности, Нагорнов исполнял «Крейцерову сонату», и сам Толстой ему аккомпанировал. Второй эпизод предположительно произошел весной 1888 года уже в доме писателя в Хамовниках, в Москве, где Лев Толстой, художник Илья Репин и актер Василий Андреев-Бурлак слушали «Крейцерову сонату» в исполнении уже другого скрипача — по-видимому, Юлиана Лясоты. Его игра произвела на Толстого большое впечатление, и он предложил Репину и Андрееву-Бурлаку, чтобы каждый из них троих создал произведение на эту тему доступными ему средствами. Правда, в итоге сделал это лишь Толстой.



Рене-Ксавье Прине. Крейцерова соната[4]

Однако, если ориентироваться на эволюцию замысла повести, совершенно не очевидно, что выбор произведения имел какое-то особенное значение. Скорее для Толстого было важно то,

[4] Сноски: 4
Рене-Ксавье Прине. Крейцерова соната. 1901 год. Частная коллекция.

какие чувства оно может внушать. Его взгляд на музыку предполагал, что это своего рода слепок с эмоций, которые вкладывает композитор и которые при исполнении ощущает слушатель. Позднее, правда, писатель пришел к выводу, что все-таки может быть передана и внушена не конкретная эмоция, а эмоция в целом. Возможно, поэтому, как вспоминает сын Толстого Сергей, во время работы над повестью писатель много расспрашивал других людей о том, какие чувства в них вызывает «Крейцерова соната». Свою роль в выборе произведения могло сыграть и то, что Толстой относился к музыке Бетховена в целом неодобрительно, поскольку она отличалась, по его мнению, излишним драматизмом, тогда как «музыка должна умилять, утишать, а не возбуждать страсти». Примерно так же воспринимает «Крейцерову сонату» и Позднышев, который видит острое несоответствие между произведением и той обстановкой, в которой оно исполняется. Люди собрались в гостиной, чтобы приятно провести время, а не испытать сильные эмоции, требующие немедленного выплеска. Но в этом смысле на месте «Крейцеровой сонаты» могло оказаться любое другое эмоциональное произведение.



Людвиг ван Бетховен. Соната № 9 для скрипки и фортепиано (титульный лист первого издания)[5]

ТАК ЖЕНА ИЗМЕНИЛА ПОЗДНЫШЕВУ ИЛИ НЕТ?

Скорее всего, нет. Во всяком случае в тексте нет никаких указаний на это. В пользу этого вывода говорит и то, как Толстой трансформировал сюжет повести в процессе работы. Если верить, что импульс для замысла дал рассказ

[5] Сноски: 5

Людвиг ван Бетховен. Соната № 9 для скрипки и фортепиано (титульный лист первого издания). King Library, San Jose State University.

Андреева-Бурлака об исповеди попутчика, которому изменила жена, то Толстой отталкивался от факта, что измена была. В первых вариантах повести также есть детали, которые указывают на это. Изначально речь идет не о музыканте, а о художнике, и тот поселяется в деревне, куда перебираются Позднышевы, муж видит его убегающим из их дома в ночи через балконную дверь, а жена Позднышева рожает ребенка, несмотря на запреты врачей, и с этим-то ребенком, девочкой, в отношении которой Позднышев не уверен, что она от него, он и едет в поезде. Но в финальной версии повести все эти детали отсутствуют, и едва ли это случайное решение. Так что можно утверждать, что как минимум Толстому становится не важно, была ли измена вообще — фокус переносится на размышления о том, что при имеющемся отношении к браку женщина неизбежно будет испытывать соблазн.

Именно в этой связи можно трактовать и первый эпиграф из Евангелия от Матфея: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Сам Толстой объяснял, что для него в этом эпиграфе ключевой момент заключался в том, что это относится не только к чужой жене,

но и к своей собственной. Тем не менее высказывание включает в себя обе возможности. По сути, измена физическая Толстому и не нужна — достаточно чувств, а они, судя по размышлениям Позднышева, которые разделяет и Толстой, просто не могут не возникнуть, когда в дело вступает такое будоражащее музыкальное произведение, как «Крейцерова соната».

ЕСТЬ ЛИ КАКОЙ-ТО ОСОБЫЙ СМЫСЛ В НАБОРЕ ПАССАЖИРОВ, С КОТОРЫМИ В ВАГОНЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ ГЕРОЙ?

Да, они представляют все возможные взгляды на семью и брак в то время. К моменту, когда между попутчиками завязывается диалог, пассажиров, помимо Позднышева и рассказчика, четверо: адвокат, дама, приказчик и купец. Разговор начинается с реплики адвоката, который представляет точку зрения закона и практики. В частности, адвокат говорит о том, что теперь в России стало больше разводов, но все равно ситуация пока еще отстает от европейской, так как действует прежнее законодательство и оно вступает в противоречие с изменившимися потребностями. Присутствующая дама берется горячо отстаивать право заключать брак и жить

в нем исключительно на основании чувств. При этом про даму сразу же говорится, что она курит, носит мужское пальто и в целом ведет себя эмансипированно. Ее точка зрения как раз принадлежит той изменившейся практике, которую имеет в виду адвокат, когда люди хотят свободно заключать и расторгать брак на основании чувств, — неслучайно дама и адвокат едут вместе. Купец в этом споре находится на другом полюсе и представляет традиционную модель, в которой брак держится на божественном законе, жена должна бояться мужа, а муж должен уметь управлять женой так, чтобы в доме не завелся «грех». Приказчик же, вступая в диалог, рассказывает историю одного своего знакомого, который как раз не сумел вовремя поставить себя правильно в семье, в итоге жена бросила его и живет с другим человеком. Тоже принадлежа купеческому сословию, приказчик, по сути, говорит о том, что традиционная система начала давать сбои.

На фоне этого спектра мнений Позднышев и рассказывает историю своего брака. Он принял решение жениться не по расчету и не из патриархальных соображений, как это сделал бы купец, то есть это не его модель. Напротив,

при выборе будущей жены Позднышев следовал за своими чувствами, как это предлагает делать дама — именно ее он спрашивает, чувства какой продолжительности она называет любовью и считает достаточными для брака. Но в итоге это завело его в те драматические обстоятельства, которые хорошо понимает адвокат: брак не приносит больше радости, но закон настаивает на его продолжении. По факту случай Позднышева становится иллюстрацией происходящих изменений в отношении общества к браку, когда ни одна система не работает безукоризненно и непонятно, в какой из них лучше жить.

ПОЧЕМУ ПОЗДНЫШЕВ НЕ МОГ ПРОСТО РАЗВЕСТИСЬ С ЖЕНОЙ?

В то время, на которое приходится работа над повестью, в обществе идут активные дискуссии о разводах, но ситуация непростая. Брак находится одновременно в ведении церкви и государства, но эти системы не отделены одна от другой. Для церкви брак означает таинство, и развод возможен в очень редких случаях — например, когда супруги не могут иметь детей. Измена также является основанием для расторжения брака, но это преступление против

таинства, и его для начала необходимо доказать перед Синодом, предоставив свидетелей. Сам этот процесс сильно ударяет по репутации всех сторон, и в итоге признанный виновным не сможет вступить в новый брак, воспитывать детей и лишается всех прав состояния. Собственно, в силу этих причин в «Анне Карениной» заходит в тупик развод Алексея Александровича и Анны: для него важна его репутация, без которой он не может продолжать карьеру, а Анне нужна возможность дальше заключить новый брак и быть со своим сыном.

Однако, судя по статистике, во второй половине XIX века количество разводов, когда супруги решают пройти через процедуру доказательства измены, в России все-таки растет. В 1867 году их число не превышает 2 %, а к 1886-му увеличивается до 12,7 % без каких бы то ни было сопутствующих изменений в законодательстве. Исходя из этого, можно сделать вывод, что общественная мораль и церковные нормы перестают быть такими сильными сдерживающими факторами для супругов, не желающих больше быть друг с другом.

Тем не менее Позднышев ни разу по ходу рассказа про такую возможность не упоминает. Хотя

многократно говорит о том, что на каждом из этапов его истории у него был выбор — например, после первого же визита больше не приглашать Трухачевского в свой дом. Но Позднышев не рассматривает альтернативы в принципе, вероятно, потому что действует эмоционально, а не рационально. Это подтверждает и тот факт, что и по завершении истории, рассказывая ее, он не находится в стабильном состоянии — даже в диалог с попутчиками он вступает то ли смеясь, то ли рыдая и уж определенно волнуясь.

ПОЧЕМУ ГЕРОЙ НЕ В ТЮРЬМЕ, ВЕДЬ ОН УБИЛ ЖЕНУ?

Сам Позднышев говорит, что его оправдали в суде, так как было решено, что он обманутый муж и защищал свою поруганную честь. Вероятно, речь идет об уголовном суде, который рассматривал дело об убийстве, но в ведении этого же суда тогда находились и дела об измене, поступавшие туда после рассмотрения Синодом. В этом смысле вполне возможно, что суд интерпретировал дело Позднышева таким образом, что его преступление стало следствием другого преступления, совершенного против него. Также могла сыграть свою роль и разница восприятия

измены со стороны мужа, для которого это было вполне допустимое поведение, и со стороны жены, которая, с точки зрения общественной морали, не имела аналогичных прав. При этом сам Позднышев к такому решению отнесся очень скептически, заметив, что это суд так представил дело, как будто это про честь — «так ведь это называется по-ихнему», а сам-то он пытался донести другую позицию, которая заключалась, видимо, в том, что в случившемся виновата вся система брака.

ЗАЧЕМ ТОЛСТОЙ ДОБАВИЛ К ПОВЕСТИ ЭПИГРАФЫ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ?

Использование эпиграфов из священных текстов в «Крейцеровой сонате» не уникальное решение для Толстого. Еще в «Анне Карениной», где сюжет складывается также вокруг супружеской измены, писатель использовал для эпиграфа переиначенную цитату из Послания к римлянам апостола Павла. А для романа «Воскресение», который появится спустя десять лет после повести, Толстой подберет сразу четыре цитаты из Евангелий от Матфея, Иоанна и Луки. В случае «Крейцеровой сонаты» писатель останавливается на трех эпиграфах из Евангелия

от Матфея: первый говорит о прелюбодеянии, второй — о браке, третий — о целомудрии. Они подсказывают проблематику, в контексте которой необходимо воспринимать рассказанную историю, и одновременно задают уровень дискуссии: здесь важен разговор не о конкретном случае или общественных нормах, а о религиозном понимании природы брака.

Стремление Толстого поговорить о несостоятельности брака как таинства можно, в свою очередь, объяснить в целом отношениями писателя с религией в тот момент. На рубеже 1870–1880-х он переживает серьезный духовный кризис, по итогам которого переосмысляет и свои религиозные представления. Еще через два десятилетия это приведет его к открытому конфликту с церковью и окончательному разладу с ней. Толстой предполагает, что религия должна содержать в себе ядро моральных предписаний и требований к человеку по их исполнению, и, на его взгляд, православие здесь заняло слишком мягкую позицию, прощая любой грех. Одновременно Толстой берется заново перевести Евангелие, исключив из него все «чудесное» и прочтя соответствующие эпизоды в рациональном ключе. В первую очередь это переосмысление касается

таинств. Церковь же считает брак одним из них. В этом смысле повесть становится еще одним разоблачением «чудесного» и продолжением разговора о моральных предписаниях. Все подобранные Толстым цитаты из Евангелия касаются как раз тех правил, которые предъявляются к христианину в отношении целомудрия и семейных отношений.

В ЭТОЙ ПОВЕСТИ ТОЛСТОЙ ВЫРАЗИЛ СОБСТВЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА БРАК?

Да, и тому есть несколько доказательств. В первую очередь сложно не заметить, что Толстой при написании повести воспроизвел как многие эпизоды из своей биографии, так и мысли, которые им владели в разное время. Подобно самому писателю, его герой перед свадьбой дает прочитать невесте дневник, из которого она должна узнать о его связях до брака. Как и Толстой, Позднышев боится, что после этого невеста его бросит, но этого не происходит. Как и жене Позднышева, Софье Андреевне после пятой беременности врачи не советуют больше рожать — правда, жена Толстого этим советом пренебрегла, после чего трое ее детей подряд умерли в младенчестве. Толстой вкладывает

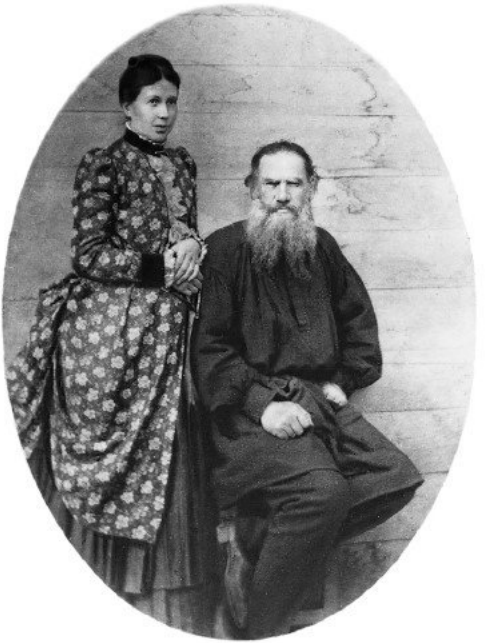
в размышления Позднышева свою мысль о том, что только рождение детей может оправдывать физическую сторону брака, которая в противном случае становится постыдной и животной. Кроме того, есть прямое указание Софьи Андреевны на то, что повесть Толстого довольно сильно пересекается с его жизненными обстоятельствами. «Какая видимая нить связывает старые дневники Левочки с его “Крейцеровой сонатой”! — записывает она. — А я в этой паутине жужжащая муха, случайно попавшая, из которой паук сосал кровь». Наконец, сам Толстой пишет послесловие к повести, в котором повторяет ключевые положения размышлений Позднышева уже от своего имени, и тем самым фактически ставит знак равенства между своими взглядами и взглядами своего героя.

А ЧТО ПРО ЭТО ДУМАЛА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА?

Софья Андреевна Толстая, которая переписывала это произведение Толстого, как и все остальные, и добывала разрешение на его публикацию, тем не менее сразу же восприняла повесть как обидный выпад в свой адрес. «Я сама в сердце своем почувствовала, что эта повесть направлена в меня, что она сразу нанесла мне рану,

унизила меня в глазах всего мира и разрушила последнюю любовь между нами», — писала она. Унижение оказалось настолько болезненным, что Софья Андреевна даже решилась написать ответ — в 1895 году появилась ее повесть «Чья вина?». Однако опубликовать ее она так и не решилась, сказав, что это произойдет после ее смерти.

Как и Толстой, его жена использует при написании повести множество деталей из своей личной жизни. Ее героиня Анна, чистая и возвышенная 18-летняя девушка, выходит замуж за князя Прозоровского, который старше ее почти в два раза и известен своими не слишком нравственными холостяцкими приключениями. Девушка неопытна, совершенно не готова к семейной жизни, да и о жизни в целом знает не слишком много, даже не вполне понимая, какие чувства она испытывает к князю. Сложно не угадать в этом обстоятельства замужества самой Софьи Андреевны.



Л. Н. Толстой с женой Софьей в Ясной Поляне в 1887 г.[6]

Повесть «Чья вина?» фактически копирует сюжет «Крейцеровой сонаты», но ситуация

[6] Сноски: 6

Л. Н. Толстой с женой Софьей в Ясной Поляне в 1887 г. Государственный музей Л. Н. Толстого.

показана зеркально, глазами женщины. Суть истории при таком ракурсе оказывается банально в том, что Анна не видит со стороны своего мужа интереса к ней как человеку, страдает от душевного одиночества и не может реализовать себя как личность. Возможно, поэтому вместо музыканта Трухачевского в доме Прозоровских появляется давний друг князя Дмитрий Бехметьев — человек ничем не примечательный, кроме того, что он относится к Анне с участием, проявляет интерес к ее мыслям и разделяет с ней ее переживания по поводу детей. Этого оказывается достаточно, чтобы между ними действительно зародилось чувство, но не мысли об измене. Впрочем, как и в случае с повестью Толстого, это не уберегает Анну от припадка ревности со стороны мужа и трагической развязки.

Парадокс в том, что, обвиняя мужчин в интересе только к физической, а не духовной стороне брака, Софья Андреевна подходит и к измене с «мужской» меркой, то есть физической. В частности, ощущая обиду, нанесенную ей «Крейцеровой сонатой», Толстая восклицает, что это тем более несправедливо, что она не давала никакого повода мужу заподозрить ее в чем бы то ни было. «Была ли в сердце моем возможность любить

другого, была ли борьба — это вопрос другой, — продолжает Софья Андреевна, — это дело только мое, это моя святая святых, и до нее коснуться не имеет права никто в мире, если я осталась чиста». Впрочем, этот «другой» вопрос сегодня вполне разрешают дневники Софьи Андреевны, в которых она признается, какое удовольствие ей доставляло общество поэта Афанасия Фета или же пианиста Сергея Танеева — настолько, что по поводу последнего между супругами даже произошла ссора и возникла идея развода.



Сергей Танеев в 1889 г.[7]

[7] Сноски: 7

Сергей Танеев в 1889 г. Научная музыкальная библиотека им. С. И. Танеева.

НАСКОЛЬКО ПОЗДНЫШЕВСКОЕ ОПИСАНИЕ БРАКА СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ТОГО ВРЕМЕНИ?

«Да, надо сказать — ведь всё, что тут писано, — правда, как в зеркале, хотя я написал бы то же самое совсем иначе, а так, как у него написано, хоть и зеркало, но с пузырем — и от этого кривит», — писал после прочтения повести Константин Победоносцев. Как ни странно, хотя обер-прокурор Синода был лицом, заинтересованным в том, чтобы повесть не была опубликована, его слова довольно точно отражают реальную ситуацию. Действительно, на брак в тот момент можно было смотреть и так. Мужчины, как правило, женились уже не юными, тогда как девушке общественные нормы предписывали выходить замуж как можно раньше, и выгодность союза была не менее, а иногда и более важна, чем наличие чувств. Церковный брак заключался однажды, и развод был фактически невозможен. При этом известно много случаев, когда совместная жизнь не задавалась с самого начала. Но в подавляющем большинстве муж и жена принимали решение оставаться в браке и сохранять внешние приличия, зачастую

при этом заводя связи на стороне, что уже едва ли могло считаться соблюдением церковных заветов. Это и правда можно называть обманом, как это делает Позднышев.

Однако в момент, когда Толстой пишет повесть, представление о браке меняется, и Позднышев во многом действует уже в новой парадигме. Всё большую роль начинают играть чувства, возникающие между людьми, и они становятся решающим аргументом для женитьбы. Это видно хотя бы на примере семьи Толстого, двое сыновей которого женились в очень молодом возрасте, еще не будучи в состоянии самостоятельно обеспечивать семью. Но такой эмоциональный подход к созданию семьи повлиял и на требования, которые вступающие в брак люди стали предъявлять к семейной жизни: если это союз не для выгоды, а по взаимному влечению и для обоюдной радости, то трудно понять, почему его нельзя расторгнуть, если он перестал все это приносить. В итоге одновременно растет число разводов, уменьшается количество браков, люди чаще выбирают отношения вне брака, хотя общественная мораль по-прежнему плохо приемлет такой выбор со стороны женщины. Церковь же пытается рьяно удержать свои позиции. В чем

зеркало Толстого, как сказал Победоносцев, кривит, так это в том, что единственной альтернативой брака писатель видит безбрачие, а не пересмотр самого института брака. Хотя уже спустя десять лет после выхода «Крейцеровой сонаты» законодательство признает право рожденных вне брака детей носить фамилию отца и наследовать его имущество, а еще через десять виновный в измене получит право после развода снова вступать в брак. Брак станет выбором, а не императивом, приводящим к таким драматическим последствиям.

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Матфея V, 28

Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.

Он же сказал им: не все вмещают слово сие: но кому дано.

Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для царства небесного. Кто может вместить, да вместит.

Матфея XIX, 10, 11, 12

I

Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили едущие на короткие расстояния, но трое ехало, так же как и я, с самого места отхода поезда: некрасивая и немолодая дама, курящая, с измученным лицом, в полумужском пальто и шапочке, ее знакомый, разговорчивый человек лет сорока, с аккуратными новыми вещами, и еще державшийся особняком небольшого роста господин с порывистыми движениями, еще не старый, но с очевидно преждевременно поседевшими курчавыми волосами и с необыкновенно блестящими глазами, быстро перебегавшими с предмета на предмет. Он был одет в старое, от дорогого портного пальто с барашковым воротником и высокую барашковую шапку. Под пальто, когда он расстегивался, видна была поддевка и русская вышитая рубаха. Особенность этого господина состояла еще в том, что он изредка издавал странные звуки, похожие на откашливание или на начатый и оборванный смех.

Господин этот во все время путешествия старательно избегал общения и знакомства с пас-

сажирами. На заговариванья соседей он отвечал коротко и резко и или читал, или, глядя в окно, курил, или, достав провизию из своего старого мешка, пил чай, или закусывал.

Мне казалось, что он тяготится своим одиночеством, и я несколько раз хотел заговорить с ним, но всякий раз, когда глаза наши встречались, что случалось часто, так как мы сидели наискоски друг против друга, он отворачивался и брался за книгу или смотрел в окно.

Во время остановки, перед вечером второго дня, на большой станции нервный господин этот сходил за горячей водой и заварил себе чай. Господин же с аккуратными новыми вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, с своей соседкой, курящей дамой в полумужском пальто, пошли пить чай на станцию.

Во время отсутствия господина с дамой в вагон вошло несколько новых лиц, и в том числе высокий бритый морщинистый старик, очевидно купец, в ильковой шубе и суконном картузе с огромным козырьком. Купец сел против места дамы с адвокатом и тотчас же вступил в разговор с молодым человеком, по виду купеческим приказчиком, вошедшим в вагон тоже на этой станции.

Я сидел наискоски и, так как поезд стоял, мог в те минуты, когда никто не проходил, слышать урывками их разговор. Купец объявил сначала о том, что он едет в свое имение, которое отстоит только на одну станцию; потом, как всегда, заговорили сначала о ценах, о торговле, говорили, как всегда, о том, как Москва нынче торгует, потом заговорили о Нижегородской ярманке. Приказчик стал рассказывать про кутежи какого-то известного обоим богача-купца на ярманке, но старик не дал ему договорить и стал сам рассказывать про былые кутежи в Кунавине, в которых он сам участвовал. Он, видимо, гордился своим участием в них и с видимой радостью рассказывал, как он вместе с этим самым знакомым сделали раз пьяные в Кунавине такую штуку, что ее надо было рассказать шепотом и что приказчик захохотал на весь вагон, а старик тоже засмеялся, оскалив два желтых зуба.

Не ожидая услышать ничего интересного, я встал, чтобы походить по платформе до отхода поезда. В дверях мне встретились адвокат с дамой, на ходу про что-то оживленно разговаривавшие.

— Не успеете, — сказал мне общительный адвокат, — сейчас второй звонок.

И точно, я не успел дойти до конца вагонов, как раздался звонок. Когда я вернулся, между дамой и адвокатом продолжался оживленный разговор. Старый купец молча сидел напротив них, строго глядя перед собой и изредка неодобрительно жуя зубами.

— Затем она прямо объявила своему супругу, — улыбаясь, говорил адвокат в то время, как я проходил мимо него, — что она не может, да и не желает жить с ним, так как…

И он стал рассказывать далее что-то, чего я не мог расслышать. Вслед за мной прошли еще пассажиры, прошел кондуктор, вбежал артельщик, и довольно долго был шум, из-за которого не слышно было разговора. Когда все затихло и я опять услыхал голос адвоката, разговор, очевидно, с частного случая перешел уже на общие соображения.

Адвокат говорил о том, как вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе и как у нас все чаще и чаще являлись такие же случаи. Заметив, что его голос один слышен, адвокат прекратил свою речь и обратился к старику.

— В старину этого не было, не правда ли? — сказал он, приятно улыбаясь.

Старик хотел что-то ответить, но в это время

поезд тронулся, и старик, сняв картуз, начал креститься и читать шепотом молитву. Адвокат, отведя в сторону глаза, учтиво дожидался. Окончив свою молитву и троекратное крещение, старик надел прямо и глубоко свой картуз, поправился на месте и начал говорить.

— Бывало, сударь, и прежде, только меньше, — сказал он. — По нынешнему времени нельзя этому не быть. Уж очень образованны стали.

Поезд, двигаясь все быстрее и быстрее, погромыхивал на стычках, и мне трудно было расслышать, а интересно было, и я пересел ближе. Сосед мой, нервный господин с блестящими глазами, очевидно, тоже заинтересовался и, не вставая с места, прислушивался.

— Да чем же худо образование? — чуть заметно улыбаясь, сказала дама. — Неужели же лучше так жениться, как в старину, когда жених и невеста и не видали даже друг друга? — продолжала она, по привычке многих дам отвечая не на слова своего собеседника, а на те слова, которые она думала, что он скажет. — Не знали, любят ли, могут ли любить, а выходили за кого попало, да всю жизнь и мучались; так, по-вашему, это лучше? — говорила она, очевидно обращая речь ко мне и к адвокату, но менее всего к старику,

с которым говорила.

— Уж очень образованны стали, — повторил купец, презрительно глядя на даму и оставляя ее вопрос без ответа.

— Желательно бы знать, как вы объясняете связь между образованием и несогласием в супружестве, — чуть заметно улыбаясь, сказал адвокат.

Купец что-то хотел сказать, но дама перебила его.

— Нет, уж это время прошло, — сказала она. Но адвокат остановил ее:

— Нет, позвольте им выразить свою мысль.

— Глупости от образованья, — решительно сказал старик.

— Женят таких, которые не любят друг друга, а потом удивляются, что несогласно живут, — торопилась говорить дама, оглядываясь на адвоката и на меня и даже на приказчика, который, поднявшись с своего места и облокотившись на спинку, улыбаясь, прислушивался к разговору. — Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет, а люди имеют свои склонности, привязанности, — очевидно желая уязвить купца, говорила она.

— Напрасно так говорите, сударыня, — сказал

старик, — животное скот, а человеку дан закон.

— Ну да как же жить с человеком, когда любви нет? — все торопилась дама высказывать свои суждения, которые, вероятно, ей казались очень новыми.

— Прежде этого не разбирали, — внушительным тоном сказал старик, — нынче только завелось это. Как что, она сейчас и говорит: «Я от тебя уйду». У мужиков на что, и то эта самая мода завелась. «На, говорит, вот тебе твои рубахи и портки, а я пойду с Ванькой, он кудрявей тебя». Ну вот и толкуй. А в женщине первое дело страх должен быть.

Приказчик посмотрел и на адвоката, и на даму, и на меня, очевидно удерживая улыбку и готовый и осмеять и одобрить речь купца, смотря по тому, как она будет принята.

— Какой же страх? — сказала дама.

— А такой: да убоится своего му-у-ужа! Вот какой страх.

— Ну, уж это, батюшка, время прошло, — даже с некоторой злобой сказала дама.

— Нет, сударыня, этому времени пройти нельзя. Как была она, Ева, женщина, из ребра мужнина сотворена, так и останется до скончания века, — сказал старик, так строго и победительно тряхнув

головой, что приказчик тотчас же решил, что победа на стороне купца, и громко засмеялся.

— Да это вы, мужчины, так рассуждаете, — говорила дама, не сдаваясь и оглядываясь на нас, — сами себе дали свободу, а женщину хотите в терему держать. Сами небось себе все позволяете.

— Позволенья никто не дает, а только что от мужчины в доме ничего не прибудет, а женщина-жена — утлый сосуд, — продолжал внушать купец.

Внушительность интонаций купца, очевидно, побеждала слушателей, и дама даже чувствовала себя подавленной, но все еще не сдавалась.

— Да, но я думаю, вы согласитесь, что женщина — человек, и имеет чувства, как и мужчина. Ну что же ей делать, если она не любит мужа?

— Не любит! — грозно повторил купец, двинув бровями и губами. — Небось полюбит!

Этот неожиданный аргумент особенно понравился приказчику, и он издал одобрительный звук.

— Да нет, не полюбит, — заговорила дама, — а если любви нет, то ведь к этому нельзя же принудить.

— Ну, а как жена изменит мужу, тогда как? —

сказал адвокат.

— Этого не полагается, — сказал старик, — за этим смотреть надо.

— А как случится, тогда как? Ведь бывает же.

— У кого бывает, а у нас не бывает, — сказал старик.

Все помолчали. Приказчик пошевелился, еще подвинулся и, видимо не желая отстать от других, улыбаясь, начал:

— Да-с, вот тоже у нашего молодца скандал один вышел. Тоже рассудить слишком трудно. Тоже попалась такая женщина, что распутевая. И пошла чертить. А малый степенный и с развитием. Сначала с конторщиком. Уговаривал он тоже добром. Не унялась. Всякие пакости делала. Его деньги стала красть. И бил он ее. Что ж, все хужела. С некрещеным, с евреем, с позволенья сказать, свела шашни. Что ж ему делать? Бросил ее совсем. Так и живет холостой, а она слоняется.

— Потому он дурак, — сказал старик. — Кабы он спервоначала не дал ей ходу, а укороту бы дал настоящую, жила бы небось. Волю не давать надо сначала. Не верь лошади в поле, а жене в доме.

В это время пришел кондуктор спрашивать билеты до ближайшей станции. Старик отдал свой билет.

— Да-с, загодя укорачивать надо женский пол, а то все пропадет.

— Ну, а как же вы сами сейчас рассказывали, как женатые люди на ярманке в Кунавине веселятся? — сказал я, не выдержав.

— Эта статья особая, — сказал купец и погрузился в молчанье. Когда раздался свисток, купец поднялся, достал из-под лавки мешок, запахнулся и, приподняв картуз, вышел на тормоз.

II

Только что старик ушел, поднялся разговор в несколько голосов.

— Старого Завета папаша, — сказал приказчик.

— Вот Домострой живой, — сказала дама. — Какое дикое понятие о женщине и о браке!

— Да-с, далеки мы от европейского взгляда на брак, — сказал адвокат.

— Ведь главное то, чего не понимают такие люди, — сказала дама, — это то, что брак без любви не есть брак, что только любовь освящает брак и что брак истинный только тот, который освящает любовь.

Приказчик слушал и улыбался, желая запомнить для употребления сколько можно больше из умных разговоров.

В середине речи дамы позади меня послышался звук как бы прерванного смеха или рыдания, и, оглянувшись, мы увидали моего соседа, седого одинокого господина с блестящими глазами, который во время разговора, очевидно интересовавшего его, незаметно подошел к нам. Он стоял, положив руки на спинку сиденья, и, очевидно, очень волновался: лицо его было красно и на

щеке вздрагивал мускул.

— Какая же это любовь… любовь… любовь… освящает брак? — сказал он, запинаясь.

Видя взволнованное состояние собеседника, дама постаралась ответить ему как можно мягче и обстоятельнее.

— Истинная любовь… Есть эта любовь между мужчиной и женщиной, возможен и брак, — сказала дама.

— Да-с, но что разуметь под любовью истинной? — неловко улыбаясь и робея, сказал господин с блестящими глазами.

— Всякий знает, что такое любовь, — сказала дама, очевидно желая прекратить с ним разговор.

— А я не знаю, — сказал господин. — Надо определить, что вы разумеете…

— Как? очень просто, — сказала дама, но задумалась. — Любовь? Любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными, — сказала она.

— Предпочтение на сколько времени? На месяц? На два дни, на полчаса? — проговорил седой господин и засмеялся.

— Нет, позвольте, вы, очевидно, не про то говорите.

— Нет-с, я про то самое.

— Они говорят, — вступился адвокат, указывая на даму, — что брак должен вытекать, во-первых, из привязанности, любви, если хотите, и что если налицо есть таковая, то только в этом случае брак представляет из себя нечто, так сказать, священное. Затем, что всякий брак, в основе которого не заложены естественные привязанности — любовь, если хотите, — не имеет в себе ничего нравственно обязательного. Так ли я понимаю? — обратился он к даме.

Дама движением головы выразила одобрение разъяснению своей мысли.

— Засим… — продолжал речь адвокат, но нервный господин с горевшими огнем теперь глазами, очевидно, с трудом удерживался и, не дав адвокату договорить, начал:

— Нет, я про то самое, про предпочтение одного или одной перед всеми другими, но я только спрашиваю: предпочтение на сколько времени?

— На сколько времени? надолго, на всю жизнь иногда, — сказала дама, пожимая плечами.

— Да ведь это только в романах, а в жизни никогда. В жизни бывает это предпочтение одного перед другими на года, что очень редко, чаще на месяцы, а то на недели, на дни, на часы, — говорил он, очевидно зная, что он удивляет всех

своим мнением, и довольный этим.

— Ах, что вы! Да нет. Нет, позвольте, — в один голос заговорили мы все трое. Даже приказчик издал какой-то неодобрительный звук.

— Да-с, я знаю, — перекрикивал нас седой господин, — вы говорите про то, что считается существующим, а я говорю про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью, к каждой красивой женщине.

— Ах, это ужасно, что вы говорите; но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь?

— Нет, нету. Если допустить даже, что мужчина и предпочел бы известную женщину на всю жизнь, то женщина-то, по всем вероятиям, предпочтет другого, и так всегда было и есть на свете, — сказал он и достал папиросочницу и стал закуривать.

— Но может быть и взаимность, — сказал адвокат.

— Нет-с, не может быть, — возразил он, — так же как не может быть, что в возу гороха две замеченные горошины легли бы рядом. Да кроме того, тут не невероятность одна, тут, наверное, пресыщение. Любить всю жизнь одну или одно-

го — это все равно, что сказать, что одна свечка будет гореть всю жизнь, — говорил он, жадно затягиваясь.

— Но вы всё говорите про плотскую любовь. Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном сродстве? — сказала дама.

— Духовное сродство! Единство идеалов! — повторил он, издавая свой звук. — Но в таком случае незачем спать вместе (простите за грубость). А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе, — сказал он и нервно засмеялся.

— Но позвольте, — сказал адвокат, — факт противоречит тому, что вы говорите. Мы видим, что супружества существуют, что все человечество или большинство его живет брачной жизнью и многие честно проживают продолжительную брачную жизнь.

Седой господин опять засмеялся.

— То вы говорите, что брак основывается на любви, когда же я выражаю сомнение в существовании любви, кроме чувственной, вы мне доказываете существование любви тем, что существуют браки. Да брак-то в наше время один обман!

— Нет-с, позвольте, — сказал адвокат, — я го-

ворю только, что существовали и существуют браки.

— Существуют. Да только отчего они существуют? Они существовали и существуют у тех людей, которые в браке видят нечто таинственное, таинство, которое обязывает перед Богом. У тех они существуют, а у нас их нет. У нас люди женятся, не видя в браке ничего, кроме совокупления, и выходит или обман, или насилие. Когда обман, то это легче переносится. Муж и жена только обманывают людей, что они в единобрачии, а живут в многоженстве и в многомужестве. Это скверно, но еще идет; но когда, как это чаще всего бывает, муж и жена приняли на себя внешнее обязательство жить вместе всю жизнь и со второго месяца уж ненавидят друг друга, желают разойтись и все-таки живут, тогда это выходит тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга, — говорил он все быстрее, не давая никому вставить слова и все больше и больше разгорячаясь. Все молчали. Было неловко.

— Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни, — сказал адвокат, желая прекратить неприлично горячий разговор.

— Вы, как я вижу, узнали, кто я? — тихо и как будто спокойно сказал седой господин.

— Нет, я не имею удовольствия.

— Удовольствие небольшое. Я Позднышев, тот, с которым случился тот критический эпизод, на который вы намекаете, тот эпизод, что он жену убил, — сказал он, оглядывая быстро каждого из нас.

Никто не нашелся, что сказать, и все молчали.

— Ну, все равно, — сказал он, издавая свой звук. — Впрочем, извините! А!.. не буду стеснять вас.

— Да нет, помилуйте… — сам не зная, что «помилуйте», сказал адвокат.

Но Позднышев, не слушая его, быстро повернулся и ушел на свое место. Господин с дамой шептались. Я сидел рядом с Позднышевым и молчал, не умея придумать, что сказать. Читать было темно, и потому я закрыл глаза и притворился, что хочу заснуть. Так мы проехали молча до следующей станции.

На станции этой господин с дамой перешли в другой вагон, о чем они переговаривались еще раньше с кондуктором. Приказчик устроился на лавочке и заснул. Позднышев же все курил и пил заваренный еще на той станции чай.

Когда я открыл глаза и взглянул на него, он вдруг с решительностью и раздражением обратился ко мне:

— Вам, может быть, неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду.

— О нет, помилуйте.

— Ну, так не угодно ли? Только крепок. — Он налил мне чаю.

— Они говорят… И всё лгут… — сказал он.

— Вы про что? — спросил я.

— Да все про то же: про эту любовь ихнюю и про то, что это такое. Вы не хотите спать?

— Совсем не хочу.

— Так хотите, я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было?

— Да, если вам не тяжело.

— Нет, мне тяжело молчать. Пейте ж чай. Или слишком крепок?

Чай действительно был как пиво, но я выпил стакан. В это время прошел кондуктор. Он проводил его молча злыми глазами и начал только тогда, когда тот ушел.

III

— Ну, так я расскажу вам... Да вы точно хотите?

Я повторил, что очень хочу. Он помолчал, потер руками лицо и начал:

— Коли рассказывать, то надо рассказывать все с начала: надо рассказать, как и отчего я женился и каким я был до женитьбы.

Жил я до женитьбы, как живут все, то есть в нашем кругу. Я помещик и кандидат университета и был предводителем. Жил до женитьбы, как все живут, то есть развратно, и, как все люди нашего круга, живя развратно, был уверен, что я живу, как надо. Про себя я думал, что я милашка, что я вполне нравственный человек. Я не был соблазнителем, не имел неестественных вкусов, не делал из этого главной цели жизни, как это делали многие из моих сверстников, а отдавался разврату степенно, прилично, для здоровья. Я избегал тех женщин, которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети и были привязанности, но я делал, как будто их не было. И это-то я считал не только нравственным, но я

гордился этим.

Он остановился, издал свой звук, как он делал всегда, когда ему приходила, очевидно, новая мысль.

— А ведь в этом-то и главная мерзость, — вскрикнул он. — Разврат ведь не в чем-нибудь физическом, ведь никакое безобразие физическое не разврат; а разврат, истинный разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение. А это-то освобождение я и ставил себе в заслугу. Помню, как я мучался раз, не успев заплатить женщине, которая, вероятно полюбив меня, отдалась мне. Я успокоился только тогда, когда послал ей деньги, показав этим, что я нравственно ничем не считаю себя связанным с нею. Вы не качайте головой, как будто вы согласны со мной, — вдруг крикнул он на меня. — Ведь я знаю эту штуку. Вы все, и вы, вы, в лучшем случае, если вы не редкое исключение, вы тех самых взглядов, каких я был. Ну, все равно, вы простите меня, — продолжал он, — но дело в том, что это ужасно, ужасно, ужасно!

— Что ужасно? — спросил я.

— Та пучина заблуждения, в которой мы живем относительно женщин и отношений к ним.

Да-с, не могу спокойно говорить про это, и не потому, что со мной случился этот эпизод, как он говорил, а потому, что с тех пор, как случился со мной этот эпизод, у меня открылись глаза и я увидал все совсем в другом свете. Все навыворот, все навыворот!..

Он закурил папироску и, облокотившись на свои колени, начал говорить.

В темноте мне не видно было его лицо, только слышен был из-за дребезжания вагона его внушительный и приятный голос.

IV

— Да-с, только перемучавшись, как я перемучался, только благодаря этому я понял, где корень всего, понял, что должно быть, и потому увидал весь ужас того, что есть.

Так изволите видеть, вот как и когда началось то, что привело меня к моему эпизоду. Началось это тогда, когда мне было невступно шестнадцать лет. Случилось это, когда я был еще в гимназии, а брат мой старший был студент первого курса. Я не знал еще женщин, но я, как и все несчастные дети нашего круга, уже не был невинным мальчиком: уже второй год я был развращен мальчишками; уже женщина, не какая-нибудь, а женщина, как сладкое нечто, женщина, всякая женщина, нагота женщины уже мучала меня. Уединения мои были нечистые. Я мучался, как мучаются 0,99 наших мальчиков. Я ужасался, я страдал, я молился и падал. Я уже был развращен в воображении и в действительности, но последний шаг еще не был сделан мною. Я погибал один, но еще не налагая руки на другое человеческое существо. Но вот товарищ брата, студент, весельчак, так называемый добрый

малый, то есть самый большой негодяй, выучивший нас и пить и в карты играть, уговорил после попойки ехать туда. Мы поехали. Брат тоже еще был невинен и пал в эту же ночь. И я, пятнадцатилетний мальчишка, осквернил себя самого и содействовал осквернению женщины, вовсе не понимая того, что я делал. Я ведь ни от кого от старших не слыхал, чтоб то, что я делал, было дурно. Да и теперь никто не услышит. Правда, есть это в заповеди, но заповеди ведь нужны только на то, чтобы отвечать на экзамене батюшке, да и то не очень нужны, далеко не так, как заповедь об употреблении ut в условных предложениях.

Так от тех старших людей, мнения которых я уважал, я ни от кого не слыхал, чтобы это было дурно. Напротив, я слыхал от людей, которых я уважал, что это было хорошо. Я слышал, что мои борьбы и страдания утишатся после этого, я слышал это и читал, слышал от старших, что для здоровья это будет хорошо; от товарищей же слышал, что в этом есть некоторая заслуга, молодечество. Так что вообще, кроме хорошего, тут ничего не виделось. Опасность болезней? Но и та ведь предвидена. Попечительное правительство заботится об этом. Оно следит

за правильной деятельностью домов терпимости и обеспечивает разврат для гимназистов. И доктора за жалованье следят за этим. Так и следует. Они утверждают, что разврат бывает полезен для здоровья, они же и учреждают правильный, аккуратный разврат. Я знаю матерей, которые заботятся в этом смысле о здоровье сыновей. И наука посылает их в дома терпимости.

— Отчего же наука? — сказал я.

— Да кто же доктора? Жрецы науки. Кто развращает юношей, утверждая, что это нужно для здоровья? Они. А потом с ужасной важностью лечат сифилис.

— Да отчего же не лечить сифилис?

— А оттого, что если бы 0,01 тех усилий, которые положены на лечение сифилиса, были положены на искоренение разврата, сифилиса давно не было бы и помину. А то усилия употреблены не на искоренение разврата, а на поощрение его, на обеспечение безопасности разврата. Ну, да не в том дело. Дело в том, что со мной, да и с 0,9, если не больше, не только нашего сословия, но всех, даже крестьян, случилось то ужасное дело, что я пал не потому, что я подпал естественному соблазну прелести известной женщины. Нет, никакая женщина не соблазнила меня, а я

пал потому, что окружающая меня среда видела в том, что было падение, одни — самое законное и полезное для здоровья отправление, другие — самую естественную и не только простительную, но даже невинную забаву для молодого человека. Я и не понимал, что тут есть падение, я просто начал предаваться тем отчасти удовольствиям, отчасти потребностям, которые свойственны, как мне было внушено, известному возрасту, начал предаваться этому разврату, как я начал пить, курить. А все-таки в этом первом падении было что-то особенное и трогательное. Помню, мне тотчас же, там же, не выходя из комнаты, сделалось грустно, грустно, так что хотелось плакать, плакать о погибели своей невинности, о навеки погубленном отношении к женщине. Да-с, естественное, простое отношение к женщине было погублено навеки. Чистого отношения к женщине уж у меня с тех пор не было и не могло быть. Я стал тем, что называют блудником. А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик уже не нормальный человек, так и человек, познавший нескольких женщин для своего удовольствия, уже не нормальный, а испорченный навсегда

человек — блудник. Как пьяницу и морфиниста можно узнать тотчас же по лицу, по приемам, точно так же и блудника. Блудник может воздерживаться, бороться; но простого, ясного, чистого отношения к женщине, братского, у него уже никогда не будет. По тому, как он взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас можно узнать блудника. И я стал блудником и остался таким, и это-то и погубило меня.

V

— Да, так-с. Потом пошло дальше, дальше, были всякого рода отклонения. Боже мой! как вспомню я все мои мерзости в этом отношении, ужас берет! О себе, над которым товарищи смеялись за мою так называемую невинность, я так вспоминаю. А как послышишь о золотой молодежи, об офицерах, о парижанах! И все эти господа и я, когда мы, бывало, тридцатилетние развратники, имеющие на душе сотни самых разнообразных ужасных преступлений относительно женщин, когда мы, тридцатилетние развратники, входим чисто-начисто вымытые, выбритые, надушенные, в чистом белье, во фраке или в мундире в гостиную или на бал — эмблема чистоты — прелесть!

Ведь вы подумайте, что бы должно быть и что есть. Должно бы быть то, что, когда в общество к моей сестре, дочери вступит такой господин, я, зная его жизнь, должен подойти к нему, отозвать в сторону и тихо сказать: «Голубчик, ведь я знаю, как ты живешь, как проводишь ночи и с кем. Тебе здесь не место. Здесь чистые, невинные девушки. Уйди!» Так должно бы быть; а есть то, что, когда такой господин является и танцует,

обнимая ее, с моей сестрой, дочерью, мы ликуем, если он богат и с связями. Авось он удостоит после Ригольбош и мою дочь. Если даже и остались следы, нездоровье, — ничего. Нынче хорошо лечат. Как же, я знаю, несколько высшего света девушек выданы родителями с восторгом за сифилитиков. О! о мерзость! Да придет же время, что обличится эта мерзость и ложь!

И он несколько раз издал свои странные звуки и взялся за чай. Чай был страшно крепкий, не было воды, чтобы его разбавить. Я чувствовал, что меня волновали особенно выпитые мною два стакана. Должно быть, и на него действовал чай, потому что он становился все возбужденнее и возбужденнее. Голос его становился все более и более певучим и выразительным. Он беспрестанно менял позы, то снимал шапку, то надевал ее, и лицо его странно изменялось в той полутьме, в которой мы сидели.

— Ну, вот так я и жил до тридцати лет, ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь, и с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушке, — продолжал он. — Я гваздался в гное разврата и вместе с тем разглядывал девушек, по своей чистоте достойных

меня. Многих я забраковывал именно потому, что они были недостаточно чисты для меня; наконец я нашел такую, которую счел достойной себя. Это была одна из двух дочерей когда-то очень богатого, но разорившегося пензенского помещика.

В один вечер, после того как мы ездили в лодке и ночью, при лунном свете, ворочались домой и я сидел рядом с ней и любовался ее стройной фигурой, обтянутой джерси, и ее локонами, я вдруг решил, что это она. Мне показалось в этот вечер, что она понимает все, все, что я чувствую и думаю, а что чувствую я и думаю самые возвышенные вещи. В сущности же, было только то, что джерси было ей особенно к лицу, также и локоны, и что после проведенного в близости с нею дня захотелось еще большей близости.

Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна.

Я вернулся в восторге домой и решил, что она верх нравственного совершенства и что потому-

то она достойна быть моей женой, и на другой день сделал предложение.

Ведь что это за путаница! Из тысячи женящихся мужчин не только в нашем быту, но, к несчастью, и в народе, едва ли есть один, который бы не был женат уже раз десять, а то и сто или тысячу, как Дон Жуан, прежде брака. (Есть теперь, правда, я слышу и наблюдаю, молодые люди чистые, чувствующие и знающие, что это не шутка, а великое дело. Помоги им Бог! Но в мое время не было ни одного такого на десять тысяч.) И все знают это и притворяются, что не знают. Во всех романах до подробностей описаны чувства героев, пруды, кусты, около которых они ходят; но, описывая их великую любовь к какой-нибудь девице, ничего не пишется о том, что было с ним, с интересным героем, прежде: ни слова о его посещениях домов, о горничных, кухарках, чужих женах. Если же есть такие неприличные романы, то их не дают в руки, главное, тем, кому нужнее всего это знать, — девушкам. Сначала притворяются перед девушками в том, что того распутства, которое наполняет половину жизни наших городов и деревень даже, что этого распутства совсем нет. Потом так приучаются к этому притворству, что наконец, как англичане, сами начинают

искренно верить, что мы все нравственные люди и живем в нравственном мире. Девушки же, те, бедные, верят в это совсем серьезно. Так верила и моя несчастная жена. Помню, как, уже будучи женихом, я показал ей свой дневник, из которого она могла узнать хотя немного мое прошедшее, главное — про последнюю связь, которая была у меня и о которой она могла узнать от других и про которую я потому-то и чувствовал необходимость сказать ей. Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда. И отчего она не бросила!

Он издал свой звук, помолчал и отпил еще глоток чаю.

VI

— Нет, впрочем, так лучше, так лучше! — вскрикнул он. — Поделом мне! Но не в том дело. Я хотел сказать, что обмануты тут ведь только одни несчастные девушки. Матери же знают это, особенно матери, воспитанные своими мужьями, знают это прекрасно. И притворяясь, что верят в чистоту мужчин, они на деле действуют совсем иначе. Они знают, на какую удочку ловить мужчин для себя и для своих дочерей.

Ведь мы, мужчины, только не знаем, и не знаем потому, что не хотим знать, женщины же знают очень хорошо, что самая возвышенная, поэтическая, как мы ее называем, любовь зависит не от нравственных достоинств, а от физической близости и притом прически, цвета, покроя платья. Скажите опытной кокетке, задавшей себе задачу пленить человека, чем она скорее хочет рисковать: тем, чтобы быть в присутствии того, кого она прельщает, изобличенной во лжи, жестокости, даже распутстве, или тем, чтобы показаться при нем в дурно сшитом и некрасивом платье, — всякая всегда предпочтет первое. Она знает, что наш брат все врет о высоких чувствах — ему нуж-

но только тело, и потому он простит все гадости, а уродливого, безвкусного, дурного тона костюма не простит. Кокетка знает это сознательно, но всякая невинная девушка знает это бессознательно, как знают это животные.

От этого эти джерси мерзкие, эти нашлепки на зады, эти голые плечи, руки, почти груди. Женщины, особенно прошедшие мужскую школу, очень хорошо знают, что разговоры о высоких предметах — разговорами, а что нужно мужчине тело и все то, что выставляет его в самом заманчивом свете; и это самое и делается. Ведь если откинуть только ту привычку к этому безобразию, которая стала для нас второй природой, а взглянуть на жизнь наших высших классов как она есть, со всем ее бесстыдством, ведь это один сплошной дом терпимости. Вы не согласны? Позвольте, я докажу, — заговорил он, перебивая меня. — Вы говорите, что женщины в нашем обществе живут иными интересами, чем женщины в домах терпимости, а я говорю, что нет, и докажу. Если люди различны по целям жизни, по внутреннему содержанию жизни, то это различие непременно отразится и во внешности, и внешность будет различная. Но посмотрите на тех, на несчастных презираемых, и на самых

высших светских барынь: те же наряды, те же фасоны, те же духи, то же оголение рук, плеч, грудей и обтягивание выставленного зада, та же страсть к камушкам, к дорогим, блестящим вещам, те же увеселения, танцы и музыка, пенье. Как те заманивают всеми средствами, так и эти. Никакой разницы. Строго определяя, надо только сказать, что проститутки на короткие сроки — обыкновенно презираемы, проститутки на долгие — уважаемы.

VII

— Да, так вот меня эти джерси, и локоны, и нашлепки поймали. Поймать же меня легко было, потому что я воспитан был в тех условиях, при которых, как огурцы на парах, выгоняются влюбляющиеся молодые люди. Ведь наша возбуждающая излишняя пища при совершенной физической праздности есть не что иное, как систематическое разжигание похоти. Удивляйтесь не удивляйтесь, а так. Ведь я сам этого до последнего времени ничего не видал. А теперь увидал. От этого-то меня и мучает то, что никто этого не знает, а говорит такие глупости, как вон та барыня.

Да-с, около меня нынче весной работали мужики на насыпи железной дороги. Обыкновенная пища малого из крестьян — хлеб, квас, лук; он жив, бодр, здоров, работает легкую полевую работу. Он поступает на железную дорогу, и харчи у него — каша и один фунт мяса. Но зато он и выпускает это мясо на шестнадцатичасовой работе с тачкой в тридцать пудов. И ему как раз так. Ну а мы, поедающие по два фунта мяса, дичи и всякие горячительные яства и напитки, — куда это

идет? На чувственные эксессы. И если идет туда, спасительный клапан открыт, все благополучно; но прикройте клапан, как я прикрывал его временно, и тотчас же получается возбуждение, которое, проходя через призму нашей искусственной жизни, выразится влюбленьем самой чистой воды, иногда даже платоническим. И я влюбился, как все влюбляются. И все было налицо: и восторги, и умиленье, и поэзия. В сущности же, эта моя любовь была произведением, с одной стороны, деятельности мамаши и портних, с другой — избытка поглощавшейся мной пищи при праздной жизни. Не будь, с одной стороны, катаний на лодках, не будь портних с талиями и т. п., а будь моя жена одета в нескладный капот и сиди она дома, а будь я, с другой стороны, в нормальных условиях человека, поглощающего пищи столько, сколько нужно для работы, и будь у меня спасительный клапан открыт, — а то он случайно прикрылся как-то на это время, — я бы не влюбился, и ничего бы этого не было.

VIII

— Ну, а тут так подошло: и мое состояние, и платье хорошо, и катанье на лодках удалось. Двадцать раз не удавалось, а тут удалось. Вроде как капкан. Я не смеюсь. Ведь теперь браки так и устраиваются, как капканы. Ведь естественно что? Девка созрела, надо ее выдать. Кажется, как просто, когда девка не урод и есть мужчины, желающие жениться. Так и делалось в старину. Вошла в возраст дева, родители устраивали брак. Так делалось, делается во всем человечестве: у китайцев, индейцев, магометан, у нас в народе; так делается в роде человеческом по крайней мере в 0,99 его части. Только в 0,01 или меньше нас, распутников, нашли, что это нехорошо, и выдумали новое. Да что же новое-то? А новое то, что девы сидят, а мужчины, как на базар, ходят и выбирают. А девки ждут и думают, но не смеют сказать: «Батюшка, меня! нет, меня. Не ее, а меня: у меня, смотри, какие плечи и другое». А мы, мужчины, похаживаем, поглядываем и очень довольны. «Знаю, мол, я не попадусь». Похаживают, посматривают, очень довольны, что это для них все устроено. Глядь, не поберегся, — хлоп,

тут и есть!

— Так как же быть? — сказал я. — Что же, женщине делать предложение?

— Да уж я не знаю как; только если равенство, так равенство. Если нашли, что сватовство унизительно, то уж это в тысячу раз больше. Там права и шансы равны, а здесь женщина или раба на базаре, или привада в капкан. Скажите какой-нибудь матушке или самой девушке правду, что она только тем и занята, чтобы ловить жениха. Боже, какая обида! А ведь они все только это и делают, и больше им делать нечего. И что ведь ужасно — это видеть занятых этим иногда совершенно молоденьких бедных невинных девушек. И опять, если бы это открыто делалось, а то все обман. «Ах, происхождение видов, как это интересно! Ах, Лиза очень интересуется живописью! А вы будете на выставке? Как поучительно! А на тройках, а спектакль, а симфония? Ах, как замечательно! Моя Лиза без ума от музыки. А вы почему не разделяете эти убеждения? А на лодках!..» А мысль одна: «Возьми, возьми меня, мою Лизу! Нет, меня! Ну, хоть попробуй!..» О мерзость! ложь! — заключил он и, допив последний чай, принялся убирать чашки и посуду.

IX

— Да вы знаете, — начал он, укладывая в мешок чай и сахар, — то властвованье женщин, от которого страдает мир, все это происходит от этого.

— Как властвованье женщин? — сказал я. — Правда, преимущества прав на стороне мужчин.

— Да, да, это, это самое, — перебил он меня. — Это самое, то, что я хочу сказать вам, это-то и объясняет то необыкновенное явление, что, с одной стороны, совершенно справедливо то, что женщина доведена до самой низкой степени унижения, с другой стороны — что она властвует. Точно так же как евреи, как они своей денежной властью отплачивают за свое угнетение, так и женщины. «А, вы хотите, чтобы мы были только торговцы. Хорошо, мы, торговцы, завладеем вами», — говорят евреи. «А, вы хотите, чтобы мы были только предмет чувственности, хорошо, мы, как предмет чувственности, и поработим вас», — говорят женщины. Не в том отсутствие прав женщины, что она не может вотировать или быть судьей — заниматься этими делами не составляет никаких прав, — а в том, чтобы в половом общении быть равной мужчине, иметь

право пользоваться мужчиной и воздерживаться от него по своему желанию, по своему желанию избирать мужчину, а не быть избираемой. Вы говорите, что это безобразно. Хорошо. Тогда чтоб и мужчина не имел этих прав. Теперь же женщина лишена того права, которое имеет мужчина. И вот, чтоб возместить это право, она действует на чувственность мужчины, через чувственность покоряет его так, что он только формально выбирает, а в действительности выбирает она. А раз овладев этим средством, она уже злоупотребляет им и приобретает страшную власть над людьми.

— Да где же эта особенная власть? — спросил я.

— Где власть? Да везде, во всем. Пройдите в каждом большом городе по магазинам. Миллионы тут, не оценишь положенных туда трудов людей, а посмотрите, в 0,9 этих магазинов есть ли хоть что-нибудь для мужского употребления? Вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами. Сочтите все фабрики. Огромная доля их работает бесполезные украшения, экипажи, мебели, игрушки на женщин. Миллионы людей, поколения рабов гибнут в этом каторжном труде на фабриках только для прихоти женщин. Женщины, как царицы, в плену рабства и тяжелого труда держат 0,9 рода человеческого.

А все оттого, что их унизили, лишили их равных прав с мужчинами. И вот они мстят действием на нашу чувственность, уловлением нас в свои сети. Да, все от этого. Женщины устроили из себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. Как только мужчина подошел к женщине, так и подпал под ее дурман и ошалел. И прежде мне всегда бывало неловко, жутко, когда я видал разряженную даму в бальном платье, но теперь мне прямо страшно, я прямо вижу нечто опасное для людей и противузаконное, и хочется крикнуть полицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет.

— Да, вы смеетесь! — закричал он на меня. — А это вовсе не шутка. Я уверен, что придет время, и, может быть, очень скоро, что люди поймут это и будут удивляться, как могло существовать общество, в котором допускались такие нарушающие общественное спокойствие поступки, как те прямо вызывающие чувственность украшения своего тела, которые допускаются для женщин в нашем обществе. Ведь это все равно, что расставить по гуляньям, по дорожкам всякие капканы, — хуже! Отчего азартная игра

запрещена, а женщины в проституточных, вызывающих чувственность нарядах не запрещены? Они опаснее в тысячу раз!

X

— Ну вот, так-то и меня поймали. Я был то, что называется влюблен. Я не только представлял ее себе верхом совершенства, я и себя за это время моего жениховства представлял тоже верхом совершенства. Ведь нет того негодяя, который, поискав, не нашел бы негодяев в каком-нибудь отношении хуже себя и который поэтому не мог бы найти повода гордиться и быть довольным собой. Так и я: я женился не на деньгах — корысть была ни при чем, не так, как большинство моих знакомых женились из-за денег или связей, — я был богат, она бедна. Это одно. Другое, чем я гордился, было то, что другие женились с намерением вперед продолжать жить в таком же многоженстве, в каком они жили до брака; я же имел твердое намерение держаться после свадьбы единобрачия, и не было пределов моей гордости перед собой за это. Да, свинья я был ужасная и воображал себе, что я ангел.

Время, пока я был женихом, продолжалось недолго. Без стыда теперь не могу вспомнить это время жениховства! Какая гадость! Ведь подразумевается любовь духовная, а не чувственная.

Ну, если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего же этого не было. Говорить бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была сизифова работа. Только выдумаешь, что сказать, скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было. Все, что можно было сказать о жизни, ожидавшей нас, устройстве, планах, было сказано, а дальше что? Ведь если бы мы были животные, то так бы и знали, что говорить нам не полагается; а тут, напротив, говорить надо и нечего, потому что занимает не то, что разрешается разговорами. А при этом еще этот безобразный обычай конфет, грубого обжорства сладким и все эти мерзкие приготовления к свадьбе: толки о квартире, спальне, постелях, капотах, халатах, белье, туалетах. Ведь вы поймите, что если женятся по Домострою, как говорил этот старик, то пуховики, приданое, постель — все это только подробности, сопутствующие таинству. Но у нас, когда из десяти брачующихся едва ли есть один, который не только не верит в таинство, но не верит даже в то, что то, что он делает, есть некоторое обязательство, когда из ста мужчин едва ли один есть уже неженатый

прежде и из пятидесяти один, который вперед не готовился бы изменять своей жене при всяком удобном случае, когда большинство смотрит на поездку в церковь только как на особенное условие обладания известной женщиной, — подумайте, какое ужасное значение получают при этом все эти подробности. Выходит, что дело-то все только в этом. Выходит что-то вроде продажи. Развратнику продают невинную девушку и обставляют эту продажу известными формальностями.

XI

— Так все женятся, так и я женился, и начался хваленый медовый месяц. Ведь название-то одно какое подлое! — с злобой прошипел он. — Я ходил раз в Париже по всем зрелищам и зашел смотреть по вывеске женщину с бородой и водяную собаку. Оказалось, что это было больше ничего, как мужчина декольте в женском платье и собака, засунутая в моржовую кожу и плавающая в ванне с водой. Все было очень мало интересно; но когда я выходил, то меня учтиво провожал показыватель и, обращаясь к публике у входа, указывая на меня, говорил: «Вот спросите господина, стоит ли смотреть? Заходите, заходите, по франку с человека!» Мне совестно было сказать, что смотреть не стоит, и показывающий, вероятно, рассчитывал на это. Так, вероятно, бывает и с теми, которые испытали всю мерзость медового месяца и не разочаровывают других. Я тоже не разочаровывал никого, но теперь не вижу, почему не говорить правду. Даже считаю, что необходимо говорить об этом правду. Неловко, стыдно, гадко, жалко и, главное, скучно, до невозможности скучно! Это нечто вроде того,

что я испытывал, когда приучался курить, когда меня тянуло рвать и текли слюни, а я глотал их и делал вид, что мне очень приятно. Наслажденье от куренья, так же как и от этого, если будет, то будет потом: надо, чтоб супруги воспитали в себе этот порок, для того чтоб получить от него наслажденье.

— Как порок? — сказал я. — Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве.

— Естественном? — сказал он. — Естественном? Нет, я скажу вам, напротив, что я пришел к убеждению, что это не… естественно. Да, совершенно не… естественно. Спросите у детей, спросите у неразвращенной девушки. Моя сестра очень молодая вышла замуж за человека вдвое старше ее и развратника. Я помню, как мы были удивлены в ночь свадьбы, когда она, бледная и в слезах, убежала от него и, трясясь всем телом, говорила, что она ни за что, ни за что, что она не может даже сказать того, чего он хотел от нее.

Вы говорите: естественно! Естественно есть. И есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала; здесь же мерзко, и стыдно, и больно. Нет, это неестественно! И девушка неиспорченная, я убедился, всегда ненавидит это.

— Как же, — сказал я, — как же бы продолжал-

ся род человеческий?

— Да вот как бы не погиб род человеческий! — сказал он злобно-иронически, как бы ожидая этого знакомого ему и недобросовестного возражения. — Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы английским лордам всегда можно было обжираться, — это можно. Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы больше было приятности, — это можно; а заикнись только о том, чтобы воздерживаться от деторождения во имя нравственности, — батюшки, какой крик: род человеческий как бы не прекратился оттого, что десяток-другой хочет перестать быть свиньями. Впрочем, извините. Мне неприятен этот свет, можно закрыть? — сказал он, указывая на фонарь.

Я сказал, что мне все равно, и тогда он поспешно, как все, что он делал, встал на сиденье и задернул шерстяной занавеской фонарь.

— Все-таки, — сказал я, — если бы все признали это для себя законом, род человеческий прекратился бы.

Он не сейчас ответил.

— Вы говорите, род человеческий как будет продолжаться? — сказал он, усевшись опять против меня и широко раскрыв ноги и низко

опершись на них локтями. — Зачем ему продолжаться, роду-то человеческому? — сказал он.

— Как зачем? иначе бы нас не было.

— Да зачем нам быть?

— Как зачем? Да чтобы жить.

— А жить зачем? Если нет цели никакой, если жизнь для жизни нам дана, незачем жить. И если так, то Шопенгауэры и Гартманы, да и все буддисты совершенно правы. Ну, а если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнется цель. Так оно и выходит, — говорил он с видимым волнением, очевидно очень дорожа своей мыслью. — Так оно и выходит. Вы заметьте: если цель человечества — благо, добро, любовь, как хотите; если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что все люди соединятся воедино любовью, что раскуют копья на серпы и так далее, то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная, и злая, и упорная — половая, плотская любовь, и потому если уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить. Пока же человечество живет, перед ним стоит идеал и, ра-

зумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно утонченнее пользоваться удовольствиями половой страсти, а идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотою. К нему всегда стремились и стремятся люди. И посмотрите, что выходит.

Выходит, что плотская любовь — это спасительный клапан. Не достигло теперь живущее поколение человечества цели, то не достигло оно только потому, что в нем есть страсти и сильнейшая из них — половая. А есть половая страсть, и есть новое поколение, стало быть, и есть возможность достижения цели в следующем поколении. Не достигло и то, опять следующее, и так до тех пор, пока не достигнется цель, не исполнится пророчество, не соединятся люди воедино. А то ведь что бы вышло? Если допустить, что Бог сотворил людей для достижения известной цели, и сотворил бы их или смертными, без половой страсти, или вечными. Если бы они были смертны, но без половой страсти, то вышло бы что? То, что они пожили бы и, не достигнув цели, умерли бы; а чтобы достигнуть цели, Богу надо бы сотворять новых людей. Если же бы они были вечны, то положим (хотя это и труднее

тем же людям, а не новым поколениям исправлять ошибки и приближаться к совершенству), положим, они бы достигли после многих тысяч лет цели, но тогда зачем же они? Куда ж их деть? Именно так, как есть, лучше всего… Но, может быть, вам не нравится эта форма выражения и вы эволюционист? То и тогда выходит то же самое. Высшая порода животных — людская, для того чтобы удержаться в борьбе с другими животными, должна сомкнуться воедино, как рой пчел, а не бесконечно плодиться; должна так же, как пчелы, воспитывать бесполых, то есть опять должна стремиться к воздержанию, а никак не к разжиганию похоти, к чему направлен весь строй нашей жизни. — Он помолчал. — Род человеческий прекратится? Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это так же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира, и по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что же странного, что по учению нравственному выходит то же самое?

Он долго молчал после этого, выпил еще чаю, докурил папироску и, достав из мешка новые, положил их в свою старую запачканную папиросочницу.

— Я понимаю вашу мысль, — сказал я, — нечто подобное утверждают шекеры.

— Да, да, и они правы, — сказал он. — Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло, с которым надо бороться, а не поощрять, как у нас. Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим женам, а именно — и главное — к своей жене.

XII

— В нашем же мире как раз обратное: если человек еще думал о воздержании, будучи холостым, то, женившись, всякий считает, что теперь воздержание уже не нужно. Ведь эти отъезды после свадьбы, уединения, в которые с разрешения родителей отправляются молодые, — ведь это не что иное, как разрешение на разврат. Но нравственный закон сам за себя отплачивает, когда нарушаешь его. Сколько я ни старался устроить себе медовый месяц, ничего не выходило. Все время было гадко, стыдно и скучно. Но очень скоро стало еще мучительно тяжело. Началось это очень скоро. Кажется, на третий или на четвертый день я застал жену скучною, стал спрашивать о чем, стал обнимать ее, что, по-моему, было все, чего она могла желать, а она отвела мою руку и заплакала. О чем? Она не умела сказать. Но ей было грустно, тяжело. Вероятно, ее измученные нервы подсказали ей истину о гадости наших сношений; но она не умела сказать. Я стал допрашивать, она что-то сказала, что ей грустно без матери. Мне показалось, что это неправда. Я стал уговаривать ее, промолчав

о матери. Я не понял, что ей просто было тяжело, а мать была только отговорка. Но она тотчас же обиделась за то, что я умолчал о матери, как будто не поверив ей. Она сказала мне, что видит, что я не люблю ее. Я упрекнул ее в капризе, и вдруг лицо ее совсем изменилось, вместо грусти выразилось раздражение, и она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на нее. Все лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность, ненависть почти ко мне. Помню, как я ужаснулся, увидав это. «Как? что? — думал я. — Любовь — союз душ, и вместо этого вот что! Да не может быть, да это не она!» Я попробовал было смягчить ее, но наткнулся на такую непреодолимую стену холодной, ядовитой враждебности, что не успел я оглянуться, как раздражение захватило и меня, и мы наговорили друг другу кучу неприятностей. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора, а это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу, то есть два совершенно чуждые друг другу

эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого. Я называл ссорой то, что произошло между нами; но это была не ссора, а это было только вследствие прекращения чувственности обнаружившееся наше действительное отношение друг к другу. Я не понимал, что это холодное и враждебное отношение было нашим нормальным отношением, не понимал этого потому, что это враждебное отношение в первое время очень скоро опять закрылось от нас вновь поднявшеюся перегонной чувственностью, то есть влюблением.

И я подумал, что мы поссорились и помирились и что больше этого уже не будет. Но в этот же первый медовый месяц очень скоро наступил опять период пресыщения, опять мы перестали быть нужными друг другу, и произошла опять ссора. Вторая ссора эта поразила меня еще больнее, чем первая. Стало быть, первая не была случайностью, а это так и должно быть и так и будет, думал я. Вторая ссора тем более поразила меня, что она возникла по самому невозможному поводу. Что-то такое из-за денег, которых я никогда не жалел и уж никак не мог жалеть для жены. Помню только, что она так как-то повернула дело, что какое-то мое замечание оказалось вы-

ражением моего желания властвовать над ней через деньги, на которых я утверждал будто бы свое исключительное право, что-то невозможное, глупое, подлое, несвойственное ни мне, ни ей. Я раздражился, стал упрекать ее в неделикатности, она меня, — и пошло опять. И в словах и в выражении ее лица и глаз я увидал опять ту же, прежде так поразившую меня, жестокую, холодную враждебность. С братом, с приятелями, с отцом, я помню, я ссорился, но никогда между нами не было той особенной, ядовитой злобы, которая была тут. Но прошло несколько времени, и опять эта взаимная ненависть скрылась под влюбленностью, то есть чувственностью, и я еще утешался мыслью, что эти две ссоры были ошибки, которые можно исправить. Но вот наступила третья, четвертая ссора, и я понял, что это не случайность, а что это так должно быть, так и будет, и я ужаснулся тому, что предстоит мне. При этом мучила меня еще та ужасная мысль, что это один я только так дурно, непохоже на то, что я ожидал, живу с женой, тогда как в других супружествах этого не бывает. Я не знал еще тогда, что это общая участь, но что все так же, как я, думают, что это их исключительное несчастие, скрывают это исключительное, постыдное свое

несчастие не только от других, но и от самих себя, сами себе не признаются в этом.

Началось с первых дней и продолжалось все время, и все усиливаясь и ожесточаясь. В глубине души я с первых же недель почувствовал, что я *попался*, что вышло не то, чего я ожидал, что женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое, но я, как и все, не хотел признаться себе (я бы не признался себе и теперь, если бы не конец) и скрывал не только от других, но от себя. Теперь я удивляюсь, как я не видал своего настоящего положения. Его можно бы уже видеть потому, что ссоры начинались из таких поводов, что невозможно бывало после, когда они кончались, вспомнить из-за чего. Рассудок не поспевал подделать под постоянно существующую враждебность друг к другу достаточных поводов. Но еще поразительнее была недостаточность предлогов примиренья. Иногда бывали слова, объяснения, даже слезы, но иногда… ох! гадко и теперь вспомнить — после самых жестоких слов друг другу вдруг молча взгляды, улыбки, поцелуи, объятия… Фу, мерзость! Как я мог не видеть всей гадости этого тогда…

XIII

Взошли два пассажира и стали усаживаться на дальней лавочке. Он молчал, пока они усаживались, но как только они затихли, он продолжал, очевидно ни на минуту не теряя нити своей мысли.

— Ведь что, главное, погано, — начал он, — предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить и вспоминать мерзко и стыдно. Ведь недаром же природа сделала то, что это мерзко и стыдно. А если мерзко и стыдно, то так и надо понимать. А тут, напротив, люди делают вид, что мерзкое и стыдное прекрасно и возвышенно. Какие были первые признаки моей любви? А те, что я предавался животным излишествам, не только не стыдясь их, но почему-то гордясь возможности этих физических излишеств, не думая притом нисколько не только о ее духовной жизни, но даже и об ее физической жизни. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу, а дело было совершенно ясно: озлобление это было не что иное, как протест человеческой природы против

животного, которое подавляло ее.

Я удивлялся нашей ненависти друг к другу. А ведь это и не могло быть иначе. Эта ненависть была не что иное, как ненависть взаимная сообщников преступления — и за подстрекательство и за участие в преступлении. Как же не преступление, когда она, бедная, забеременела в первый же месяц, а наша свиная связь продолжалась? Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько! Это я все рассказываю вам, как я убил жену. На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену. Дурачье! думают, что я убил ее тогда, ножом, пятого октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше. Так точно, как они теперь убивают, все, все…

— Да чем же? — спросил я.

— Вот это-то и удивительно, что никто не хочет знать того, что так ясно и очевидно, того, что должны знать и проповедовать доктора, но про что они молчат. Ведь дело ужасно просто. Мужчина и женщина сотворены так, как животное, так что после плотской любви начинается беременность, потом кормление, такие состояния, при которых для женщины, так же как и для ее ребенка, плотская любовь вредна. Женщин и мужчин равное число. Что же из этого следует?

Кажется, ясно. И не нужно большой мудрости, чтобы сделать из этого тот вывод, который делают животные, то есть воздержание. Но нет. Наука дошла до того, что нашла каких-то лейкоцитов, которые бегают в крови, и всякие ненужные глупости, а этого не могла понять. По крайней мере, не слыхать, чтобы она говорила это.

И вот для женщины только два выхода: один — сделать из себя урода, уничтожить или уничтожать в себе по мере надобности способность быть женщиной, то есть матерью, для того чтобы мужчина мог спокойно и постоянно наслаждаться; или другой выход, даже не выход, а простое, грубое, прямое нарушение законов природы, который совершается во всех так называемых честных семьях. А именно тот, что женщина, наперекор своей природе, должна быть одновременно и беременной, и кормилицей, и любовницей, должна быть тем, до чего не спускается ни одно животное. И сил не может хватить. И оттого в нашем быту истерики, нервы, а в народе — кликуши. Вы заметьте, у девушек, у чистых, нет кликушества, только у баб, и у баб, живущих с мужьями. Так у нас. Точно так же и в Европе. Все больницы истеричных полны женщин, нарушающих закон природы.

Но ведь кликуши и пациентки Шарко — это совсем увечные, а полукалек женщин полон мир. Ведь только подумать, какое великое дело совершается в женщине, когда она понесла плод или когда кормит родившегося ребенка. Растет то, что продолжает, заменяет нас. И это-то святое дело нарушается — чем же? — страшно подумать! И толкуют о свободе, правах женщин. Это все равно, что людоеды откармливали бы людей пленных на еду и вместе с тем уверяли бы, что они заботятся о их правах и свободе.

Все это было ново и поразило меня.

— Так как же? Если так, то, — сказал я, — выходит, что любить жену можно раз в два года, а мужчина…

— Мужчине необходимо, — подхватил он. — Опять милые жрецы науки уверили всех. Я бы им, этим волхвам, велел исполнять должность тех женщин, которые, по их мнению, необходимы мужчинам, что бы они тогда заговорили? Внушите человеку, что ему необходимы водка, табак, опиум, и все это будет необходимо. Выходит, что Бог не понимал того, что нужно, и потому, не спросившись у волхвов, дурно устроил. Извольте видеть, дело не сходится. Мужчине нужно и необходимо, так решили они, удовлетворять

свою похоть, а тут замешалось деторождение и кормление детей, мешающие удовлетворению этой потребности. Как же быть-то? Обратиться к волхвам, они устроят. Они и придумали. Ох, когда это развенчаются эти волхвы с своими обманами? Пора! Дошло уже вот докуда, с ума сходят и стреляются, и все от этого. Да как же иначе? Животные как будто знают, что потомство продолжает их род, и держатся известного закона в этом отношении. Только человек этого знать не знает и не хочет. И озабочен только тем, чтобы иметь как можно больше удовольствия. И это кто же? Царь природы, человек. Ведь вы заметьте, животные сходятся только тогда, когда могут производить потомство, а поганый царь природы — всегда, только бы приятно. И мало того, возводит это обезьянье занятие в перл создания, в любовь. И во имя этой любви, то есть пакости, губит — что же? — половину рода человеческого. Из всех женщин, которые должны бы быть помощницами в движении человечества к истине и благу, он во имя своего удовольствия делает не помощниц, но врагов. Посмотрите, что тормозит повсюду движение человечества вперед? Женщины. А отчего они такие? А только от этого. Да-с, да-с, — повторил он несколько раз

и стал шевелиться, доставать папиросы и курить, очевидно желая несколько успокоиться.

XIV

— Вот такой-то свиньей я и жил, — продолжал он опять прежним тоном. — Хуже же всего было то, что, живя этой скверной жизнью, я воображал, что потому, что я не соблазняюсь другими женщинами, что поэтому я живу честной семейной жизнью, что я нравственный человек и что я ни в чем не виноват, а что если у нас происходят ссоры, то виновата она, ее характер.

Виновата же была, разумеется, не она. Она была такая же, как и все, как большинство. Воспитана она была, как того требует положение женщины в нашем обществе, и поэтому как и воспитываются все без исключения женщины обеспеченных классов и как они не могут не воспитываться. Толкуют о каком-то новом женском образовании. Все пустые слова: образование женщины точно такое, какое должно быть при существующем не притворном, а истинном всеобщем взгляде на женщину.

И образование женщины будет всегда соответствовать взгляду на нее мужчины. Ведь все мы знаем, как мужчина смотрит на женщину:

«Wein, Weiber und Gesang»[8], и так в стихах поэты говорят. Возьмите всю поэзию, всю живопись, скульптуру, начиная с любовных стихов и голых Венер и Фрин, вы видите, что женщина есть орудие наслаждения; она такова на Трубе, и на Грачевке, и на придворном бале. И заметьте хитрость дьявола: ну, наслажденье, удовольствие, так так бы и знать, что удовольствие, что женщина сладкий кусок. Нет, сначала рыцари уверяли, что они боготворят женщину (боготворят, а все-таки смотрят на нее как на орудие наслаждения). Теперь уже уверяют, что уважают женщину. Одни уступают ей место, поднимают ей платки; другие признают ее права на занимание всех должностей, на участие в правлении и т. д. Это всё делают, а взгляд на нее всё тот же. Она орудие наслаждения. Тело ее есть средство наслаждения. И она знает это. Все равно как рабство. Рабство ведь есть не что иное, как пользованье одних подневольным трудом многих. И потому, чтобы рабства не было, надо, чтобы люди не желали пользоваться подневольным трудом других, считали бы это грехом или стыдом. А между тем возьмут отменят внешнюю форму рабства,

[8] Сноски: 8
Вино, женщины и песни (*нем.*).

устроят так, что нельзя больше совершать купчих на рабов, и воображают и себя уверяют, что рабства уже нет, и не видят и не хотят видеть того, что рабство продолжает быть, потому что люди точно так же любят и считают хорошим и справедливым пользоваться трудами других. А как скоро они считают это хорошим, то всегда найдутся люди, которые сильнее или хитрее других и сумеют это сделать. То же и с эмансипацией женщины. Рабство женщины ведь только в том, что люди желают и считают очень хорошим пользоваться ею как орудием наслаждения. Ну, и вот освобождают женщину, дают ей всякие права, равные мужчине, но продолжают смотреть на нее как на орудие наслаждения, так воспитывают ее и в детстве и общественным мнением. И вот она все такая же приниженная, развращенная раба, и мужчина все такой же развращенный рабовладелец.

Освобождают женщину на курсах и в палатах, а смотрят на нее как на предмет наслаждения. Научите ее, как она научена у нас, смотреть так на самую себя, и она всегда останется низшим существом. Или она будет с помощью мерзавцев-докторов предупреждать зарождение плода, то есть будет вполне проститутка, спустившаяся

не на ступень животного, но на ступень вещи, или она будет то, что она есть в большей части случаев, — больной душевно, истеричной, несчастной, какие они и есть, без возможности духовного развития.

Гимназии и курсы не могут изменить этого. Изменить это может только перемена взгляда мужчин на женщин и женщин самих на себя. Переменится это только тогда, когда женщина будет считать высшим положением положение девственницы, а не так, как теперь, высшее состояние человека — стыдом, позором. Пока же этого нет, идеал всякой девушки, какое бы ни было ее образование, будет все-таки тот, чтобы привлечь к себе как можно больше мужчин, как можно больше самцов, с тем чтобы иметь возможность выбора.

А то, что одна побольше знает математики, а другая умеет играть на арфе, — это ничего не изменит. Женщина счастлива и достигает всего, чего она может желать, когда она обворожит мужчину. И потому главная задача женщины — уметь обвораживать его. Так это было и будет. Так это в девичьей жизни в нашем мире, так продолжается и в замужней. В девичьей жизни это нужно для выбора, в замужней — для власт-

ванья над мужем.

Одно, что прекращает или хоть подавляет на время это, это — дети, и то тогда, когда женщина не урод, то есть сама кормит. Но тут опять доктора.

С моей женой, которая сама хотела кормить и кормила следующих пятерых детей, случилось с первым же ребенком нездоровье. Доктора эти, которые цинически раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги, — доктора эти милые нашли, что она не должна кормить, и она на первое время лишена была того единственного средства, которое могло избавить ее от кокетства. Кормила кормилица, то есть мы воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины, сманили ее от ее ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами. Но не в этом дело. Дело в том, что в это самое время ее свободы от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее это женское кокетство. И во мне, соответственно этому, с особенной же силой проявились мучения ревности, которые не переставая терзали меня во все время моей женатой жизни, как они и не могут не терзать всех тех супругов, которые живут с женами, как я

жил, то есть безнравственно.

XV

— Я во все время моей женатой жизни никогда не переставал испытывать терзания ревности. Но были периоды, когда я особенно резко страдал этим. И один из таких периодов был тот, когда после первого ребенка доктора запретили ей кормить. Я особенно ревновал в это время, во-первых, потому, что жена испытывала то свойственное матери беспокойство, которое должно вызывать беспричинное нарушение правильного хода жизни; во-вторых, потому, что, увидав, как она легко отбросила нравственную обязанность матери, я справедливо, хотя и бессознательно, заключил, что ей так же легко будет отбросить и супружескую, тем более что она была совершенно здорова и, несмотря на запрещение милых докторов, кормила следующих детей сама и выкормила прекрасно.

— Однако вы не любите докторов, — сказал я, заметив особенно злое выражение голоса всякий раз, как он упоминал только о них.

— Тут не дело любви и не любви. Они погубили мою жизнь, как они губили и губят жизнь тысяч, сотен тысяч людей, а я не могу не связывать

следствия с причиной. Я понимаю, что им хочется, так же как и адвокатам и другим, наживать деньги, и я бы охотно отдал им половину своего дохода, и каждый, если бы понимал то, что они делают, охотно бы отдал им половину своего достатка, только чтобы они не вмешивались в вашу семейную жизнь, никогда бы близко не подходили к вам. Я ведь не собирал сведений, но я знаю десятки случаев — их пропасть, — в которых они убили то ребенка в утробе матери, уверяя, что мать не может разродиться, а мать потом рожает прекрасно, то матерей под видом каких-то операций. Ведь никто не считает этих убийств, как не считали убийств инквизиции, потому что предполагалось, что это на благо человечества. Перечесть нельзя преступлений, совершаемых ими. Но все эти преступления ничто в сравнении с тем нравственным растлением материализма, которое они вносят в мир, особенно через женщин. Уж не говорю про то, что если только следовать их указаниям, то благодаря заразам везде, во всем, людям надо не идти к единению, а к разъединению: всем надо, по их учению, сидеть врозь и не выпускать изо рта спринцовки с карболовой кислотой (впрочем, открыли, что и она не годится). Но и это ничего. Яд главный —

в развращении людей, женщин в особенности.

Нынче уж нельзя сказать: «Ты живешь дурно, живи лучше», — нельзя этого сказать ни себе, ни другому. А если дурно живешь, то причина в ненормальности нервных отправлений или т. п. И надо пойти к ним, а они пропишут на тридцать пять копеек в аптеке лекарства, и вы принимайте. Вы сделаетесь еще хуже, тогда еще лекарства и еще доктора. Отличная штука!

Но не в этом дело. Я только говорил про то, что она прекрасно сама кормила детей и что это ношение и кормление детей одно спасало меня от мук ревности. Если бы не это, все случилось бы раньше. Дети спасали меня и ее. В восемь лет у ней родилось пять человек детей. И всех она кормила сама.

— Где же они теперь, ваши дети? — спросил я.

— Дети? — испуганно переспросил он.

— Извините меня, может быть, вам тяжело вспоминать?

— Нет, ничего. Детей моих взяла моя свояченица и ее брат. Они не дали их мне. Я им отдал состояние, а их они мне не дали. Ведь я вроде сумасшедшего. Я теперь еду от них. Я видел их, но мне их не дадут. А то я воспитаю их так, что они не будут такими, как их родители. А надо,

чтоб были такие же. Ну, да что делать! Понятно, что мне их не дадут и не поверят. Да я и не знаю, был ли бы я в силах воспитать их. Я думаю, нет. Я — развалина, калека. Одно во мне есть. Я знаю. Да, это верно, что я знаю то, что все не скоро еще узнают.

Да, дети живы и растут такими же дикарями, как и все вокруг них. Я видел их, три раза видел. Ничего я не могу для них сделать. Ничего. Еду к себе теперь на юг. У меня там домик и садик.

Да, не скоро еще люди узнают то, что я знаю. Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах — это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство, это трудно, ужасно трудно…

Вы хоть слушаете, я и то благодарен.

XVI

— Вот вы напомнили про детей. Опять какое страшное лганье идет про детей. Дети — благословенье Божие, дети — радость. Ведь это все ложь. Все это было когда-то, но теперь ничего подобного нет. Дети — мученье, и больше ничего. Большинство матерей так прямо и чувствуют и иногда нечаянно прямо так и говорят это. Спросите у большинства матерей нашего круга достаточных людей, они вам скажут, что от страха того, что дети их могут болеть и умирать, они не хотят иметь детей, не хотят кормить, если уж родили, для того чтобы не привязаться и не страдать. Наслажденье, которое доставляет им ребенок прелестью его, этих ручек, ножек, тельца всего, удовольствие, доставляемое ребенком, — меньше страданья, которое они испытывают — не говоря уже от болезни или потери ребенка, но от одного страха за возможность болезней и смерти. Взвесив выгоды и невыгоды, оказывается, что невыгодно и потому нежелательно иметь детей. Они это прямо, смело говорят, воображая, что эти чувства происходят в них от любви к детям, чувства хорошего

и похвального, которым они гордятся. Они не замечают того, что этим рассуждением они прямо отрицают любовь, а утверждают только свой эгоизм. Для них меньше удовольствия от прелести ребенка, чем страданий от страха за него, и потому не надо того ребенка, которого они будут любить. Они жертвуют не собою для любимого существа, а имеющим быть любимым существом для себя.

Ясно, что это не любовь, а эгоизм. Но и осудить их, матерей достаточных семей, за этот эгоизм — не поднимается рука, когда вспомнишь все то, что они перемучаются от здоровья детей благодаря опять тем же докторам в нашей господской жизни. Как вспомню только, даже теперь, жизнь и состояние жены в первое время, когда было трое, четверо детей и она вся была поглощена ими, — ужас берет. Жизни нашей не было совсем. Это была какая-то вечная опасность, спасенье от нее, вновь наступившая опасность, вновь отчаянные усилия и вновь спасенье — постоянно такое положение, как на гибнущем корабле. Иногда мне казалось, что это нарочно делалось, что она прикидывалась беспокоящейся о детях, для того чтобы победить меня. Так это заманчиво, просто разрешало в ее пользу все

вопросы. Мне казалось иногда, что все, что она в этих случаях делала и говорила, — она делала и говорила нарочно. Но нет, она сама страшно мучалась и казнилась постоянно с детьми, с их здоровьем и болезнями. Это была пытка для нее и для меня тоже. И нельзя ей было не мучаться. Ведь влечение к детям, животная потребность кормить, лелеять, защищать их — была, как она и есть у большинства женщин, но не было того, что есть у животных, — отсутствия воображения и рассудка. Курица не боится того, что может случиться с ее цыпленком, не знает всех тех болезней, которые могут постигнуть его, не знает всех тех средств, которыми люди воображают, что они могут спасать от болезней и смерти. И дети для нее, для курицы, не мученье. Она делает для своих цыплят то, что ей свойственно и радостно делать; дети для нее радость. И когда цыпленок начинает болеть, ее заботы очень определенные: она греет, кормит его. И, делая это, знает, что она делает все, что нужно. Издохнет цыпленок, она не спрашивает себя, зачем он умер, куда он ушел, поквохчет, потом перестанет и продолжает жить по-прежнему. Но для наших несчастных женщин и для моей жены было не то. Уж не говоря о болезнях — как лечить, о том,

как воспитывать, растить, она со всех сторон слышала и читала бесконечно разнообразные и постоянно изменяющиеся правила. Кормить так, тем; нет, не так, не тем, а вот этак; одевать, поить, купать, класть спать, гулять, воздух, — на все это мы, она преимущественно, узнавала всякую неделю новые правила. Точно со вчерашнего дня начали рожаться дети. А не так накормили, не так искупали, не вовремя, и заболел ребенок, и оказывается, что виновата она, сделала не то, что надо делать.

Это пока здоровье. И то мученье. Но уж если заболел, тогда кончено. Совершенный ад. Предполагается, что болезнь можно лечить и что есть такая наука и такие люди — доктора, и они знают. Не все, но самые лучшие знают. И вот ребенок болен, и надо попасть на этого самого лучшего, того, который спасает, и тогда ребенок спасен; а не захватил этого доктора или живешь не в том месте, где живет этот доктор, — и ребенок погиб. И это не ее исключительная вера, а это вера всех женщин ее круга, и со всех сторон она слышит только это: у Екатерины Семеновны умерло двое, потому что не позвали вовремя Ивана Захарыча, а у Марьи Ивановны Иван Захарыч спас старшую девочку; а вот у Петровых вовремя, по совету док-

тора, разъехались по гостиницам — и остались живы, а не разъехались — и померли дети. А у той был слабый ребенок, переехали, по совету доктора, на юг — и спасли ребенка. Как же тут не мучаться и не волноваться всю жизнь, когда жизнь детей, к которым она животно привязана, зависит от того, что она вовремя узнает то, что скажет об этом Иван Захарыч. А что скажет Иван Захарыч, никто не знает, менее всего он сам, потому что он очень хорошо знает, что он ничего не знает и ничему помочь не может, а сам только виляет как попало, чтобы только не перестали верить, что он что-то знает. Ведь если бы она была совсем животное, она так бы не мучалась; если же бы она была совсем человек, то у ней была бы вера в Бога, и она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы: «Бог дал, Бог и взял, от Бога не уйдешь». Она бы думала, что жизнь и смерть как всех людей, так и ее детей вне власти людей, а во власти только Бога, и тогда бы она не мучалась тем, что в ее власти было предотвратить болезни и смерти детей, а она этого не сделала. А то для нее положение было такое: даны самые хрупкие, подверженные самым бесчисленным бедствиям, слабые существа. К существам этим она чувствует страстную,

животную привязанность. Кроме того, существа эти поручены ей, а вместе с тем средства сохранения этих существ скрыты от нас и открыты совсем чужим людям, услуги и советы которых можно приобретать только за большие деньги, и то не всегда.

Вся жизнь с детьми и была для жены, а потому и для меня, не радость, а мука. Как же не мучаться? Она и мучалась постоянно. Бывало, только что успокоимся от какой-нибудь сцены ревности или просто ссоры и думаем пожить, почитать и подумать; только возьмешься за какое-нибудь дело, вдруг получается известие, что Васю рвет, или Маша сходила с кровью, или у Андрюши сыпь, ну и, конечно, жизни уж нет. Куда скакать, за какими докторами, куда отделить? И начинаются клистиры, температуры, микстуры и доктора. Не успеет это кончиться, как начинается что-нибудь другое. Правильной, твердой семейной жизни не было. А было, как я вам говорил, постоянное спасение от воображаемых и действительных опасностей. Так ведь это теперь в большинстве семей. В моей же семье было особенно резко. Жена была чадолюбива и легковерна, так что присутствие детей не только не улучшало нашей жизни, но отравляло ее.

Кроме того, дети — это был для нас новый повод к раздору. С тех пор как были дети и чем больше они росли, тем чаще именно сами дети были и средством и предметом раздора. Не только предметом раздора, но дети были орудием борьбы; мы как будто дрались друг с другом детьми. У каждого из нас был свой любимый ребенок — орудие драки. Я дрался больше Васей, старшим, а она Лизой. Кроме того, когда дети стали подрастать и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекли каждый на свою сторону. Они страшно страдали от этого, бедняжки, но нам, в нашей постоянной войне, не до того было, чтобы думать о них. Девочка была моя сторонница, мальчик же старший, похожий на нее, ее любимец, часто был ненавистен мне.

XVII

— Ну-с, так и жили. Отношения становились все враждебнее и враждебнее. И, наконец, дошли до того, что уже не разногласие производило враждебность, но враждебность производила разногласие: что бы она ни сказала, я уж вперед был не согласен, и точно так же и она.

На четвертый год с обеих сторон решено было как-то само собой, что понять друг друга, согласиться друг с другом мы не можем. Мы перестали уже пытаться договориться до конца. О самых простых вещах, в особенности о детях, мы оставались неизменно каждый при своем мнении. Как я теперь вспоминаю, мнения, которые я отстаивал, были вовсе мне не так дороги, чтобы я не мог поступиться ими; но она была противного мнения, и уступить — значило уступить ей. А этого я не мог. Она тоже. Она, вероятно, считала себя всегда совершенно правой передо мной, а уж я в своих глазах был всегда свят перед нею. Вдвоем мы были почти обречены на молчание или на такие разговоры, которые, я уверен, животные могут вести между собой: «Который час? Пора спать. Какой нынче обед? Куда ехать? Что

написано в газете? Послать за доктором. Горло болит у Маши». Стоило на волосок выступить из этого до невозможного сузившегося кружка разговоров, чтобы вспыхнуло раздражение. Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку, за ход в винте, — всё дела, которые ни для того, ни для другого не могли иметь никакой важности. Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная! Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви — период злобы; энергический период любви — длинный период злобы, более слабое проявление любви — короткий период злобы. Тогда мы не понимали, что эта любовь и злоба были то же самое животное чувство, только с разных концов. Жить так было бы ужасно, если бы мы понимали свое положение; но мы не понимали и не видали его. В этом и спасенье и казнь человека, что, когда он живет неправильно, он может себя затуманивать, чтобы не видать

бедственности своего положения. Так делали и мы. Она старалась забыться напряженными, всегда поспешными занятиями хозяйством, обстановкой, нарядами своими и детей, учением, здоровьем детей. У меня же было свое пьянство — пьянство службы, охоты, карт. Мы оба постоянно были заняты. Мы оба чувствовали, что чем больше мы заняты, тем злее мы можем быть друг к другу. «Тебе хорошо гримасничать, — думал я на нее, — а ты вот меня промучала сценами всю ночь, а мне заседанье». — «Тебе хорошо, — не только думала, но и говорила она, — а я всю ночь не спала с ребенком».

Так мы и жили, в постоянном тумане не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил еще до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все; я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался.

А мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видать этого. Я еще не знал тогда, что 0,99 супружества живут в таком же аду, как и я жил, и что это не может

быть иначе. Тогда я еще не знал этого ни про других, ни про себя.

Удивительно, какие совпадения и в правильной и даже неправильной жизни! Как раз когда родителям жизнь становится невыносимой друг от друга, необходимы делаются и городские условия для воспитывания детей. И вот является потребность переезда в город.

Он замолчал и раза два издал свои странные звуки, которые теперь уже совсем похожи были на сдержанные рыдания. Мы подходили к станции.

— Который час? — спросил он.

Я взглянул, было два часа.

— Вы не устали? — спросил он.

— Нет, но вы устали.

— Меня душит. Позвольте, я пройдусь, выпью воды.

И он, шатаясь, пошел через вагон. Я сидел один, перебирая все, что он сказал мне, и так задумался, что и не заметил, как он вернулся из другой двери.

XVIII

— Да, я все увлекаюсь, — начал он. — Много я передумал, на многое я смотрю по-иному, и все это хочется сказать. Ну, и стали жить в городе. В городе несчастным людям жить лучше. В городе человек может прожить сто лет и не хватиться того, что он давно умер и сгнил. Разбираться с самим собой некогда, все занято. Дела, общественные отношения, здоровье, искусства, здоровье детей, их воспитанье. То надо принимать тех и этих, ехать к тем и этим; то надо посмотреть эту, послушать этого или эту. Ведь в городе во всякий данный момент есть одна, а то сразу две, три знаменитости, которые нельзя никак пропустить. То надо лечить себя, того или этого, то учителя, репетиторы, гувернантки, а жизнь пустым-пустешенька. Ну, так мы и жили и меньше чувствовали боль от сожития. Кроме того, первое время было чудесное занятие — устройство в новом городе, на новой квартире, и еще занятие — переездов из города в деревню и из деревни в город.

Прожили одну зиму, и в другую зиму случилось еще следующее никому не заметное, кажущееся

ничтожным обстоятельство, но такое, которое и произвело все то, что произошло. Она была нездорова, и мерзавцы не велели ей рожать и научили средству. Мне это было отвратительно. Я боролся против этого, но она с легкомысленным упорством настояла на своем, и я покорился; последнее оправдание свиной жизни — дети — было отнято, и жизнь стала еще гаже.

Мужику, работнику, дети нужны, хотя и трудно ему выкормить, но они ему нужны, и потому его супружеские отношения имеют оправдание. Нам же, людям, имеющим детей, еще дети не нужны, они — лишняя забота, расход, сонаследники, они тягость. И оправдания свиной жизни для нас уже нет никакого. Или мы искусственно избавляемся от детей, или смотрим на детей как на несчастье, последствие неосторожности, что еще гаже. Оправданий нет. Но мы так нравственно пали, что мы даже не видим надобности в оправдании. Большинство теперешнего образованного мира предается этому разврату без малейшего угрызения совести.

Нечему угрызать, потому что совести в нашем быту нет никакой, кроме, если можно так назвать, совести общественного мнения и уголовного закона. А тут и та и другая не нарушаются:

совеститься перед обществом нечего, *все* это делают: и Марья Павловна и Иван Захарыч. А то что ж разводить нищих или лишать себя возможности общественной жизни? Совеститься перед уголовным законом или бояться его тоже нечего. Это безобразные девки и солдатки бросают детей в пруды и колодцы; тех, понятно, надо сажать в тюрьму, а у нас все делается своевременно и чисто.

Так прожили мы еще два года. Средство мерзавцев, очевидно, начинало действовать; она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе тридцатилетней нерожающей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 0,99 наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно.

XIX

Он вдруг приподнялся и пересел к самому окну.

— Извините меня, — проговорил он и, устремив глаза в окно, молча просидел так минуты три. Потом он тяжело вздохнул и опять сел против меня. Лицо его стало совсем другое, глаза жалкие, и какая-то странная почти улыбка морщила его губы. — Я устал немножко, но я расскажу. Еще времени много, не рассветало еще. Да-с, — начал он опять, закурив папиросу. — Она пополнела с тех пор, как перестала рожать, и болезнь эта — страдание вечное о детях — стала проходить; не то что проходить, но она как будто очнулась от пьянства, опомнилась и увидала, что есть целый мир Божий с его радостями, про который она забыла, но в котором она жить не умела, мир Божий, которого она совсем не понимала. «Как бы не пропустить! Уйдет время, не воротишь!» Так мне представляется, что она думала или скорее чувствовала, да и нельзя ей было думать и чувствовать иначе: ее воспитали в том, что есть в мире только одно достойное внимания — любовь. Она вышла замуж, получила

кое-что из этой любви, но не только далеко не то, что обещалось, что ожидалось, но и много разочарований, страданий и тут же неожиданную муку — детей! Мука эта истомила ее. И вот благодаря услужливым докторам она узнала, что можно обойтись и без детей. Она обрадовалась, испытала это и ожила опять для одного того, что она знала, — для любви. Но любовь с огаженным и ревностью и всякой злостью мужем была уже не то. Ей стала представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь, по крайней мере, я так думал про нее. И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего-то. Я видел это и не мог не тревожиться. Сплошь да рядом стало случаться то, что она, как и всегда, разговаривая со мной через посредство других, то есть говоря с посторонними, но обращая речь ко мне, выражала смело, совсем не думая о том, что она час тому назад говорила противоположное, выражала полусерьезно, что материнская забота — это обман, что не стоит того — отдавать свою жизнь детям, когда есть молодость и можно наслаждаться жизнью. Она занималась детьми меньше, не с таким отчаянием, как прежде, но больше и больше занималась собой, своей наружностью, хотя она и скрывала это, и своими удовольствиями,

и даже усовершенствованием себя. Она опять с увлечением взялась за фортепиано, которое прежде было совершенно брошено. С этого все и началось.

Он опять повернулся к окну устало смотревшими глазами, но тотчас же опять, видимо сделав над собою усилие, продолжал:

— Да-с, явился этот человек. — Он замялся и раза два произвел носом свои особенные звуки.

Я видел, что ему мучительно было называть этого человека, вспоминать, говорить о нем. Но он сделал усилие и, как будто порвав то препятствие, которое мешало ему, решительно продолжал:

— Дрянной он был человечек, на мои глаза, на мою оценку. И не потому, какое он значение получил в моей жизни, а потому, что он действительно был такой. Впрочем, то, что он был плох, служило только доказательством того, как невменяема была она. Не он, так другой, это должно было быть. — Он опять замолчал. — Да-с, это был музыкант, скрипач; не профессиональный музыкант, а полупрофессиональный, полуобщественный человек.

Отец его — помещик, сосед моего отца. Он — отец — разорился, и дети — три было мальчи-

ка — все устроились; один только, меньшой этот, отдан был к своей крестной матери в Париж. Там его отдали в консерваторию, потому что был талант к музыке, и он вышел оттуда скрипачом и играл в концертах. Человек он был… — Очевидно, желая сказать что-то дурное про него, он воздержался и быстро сказал: — Ну, уж там я не знаю, как он жил, знаю только, что в этот год он явился в Россию и явился ко мне.

Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуаренные усики, прическа последняя, модная, лицо пошло-хорошенькое, то, что женщины называют недурен, сложения слабого, хотя и не уродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у готтентотов, говорят. Они, говорят, тоже музыкальны. Лезущий в фамильярность насколько возможно, но чуткий и всегда готовый остановиться при малейшем отпоре, с соблюдением внешнего достоинства и с тем особенным парижским оттенком ботинок с пуговками и ярких цветов галстука и другого, что усвоивают себе иностранцы в Париже и что по своей особенности, новизне, всегда действует на женщин. В манерах деланная, внешняя веселость. Манера, знаете, про все говорить намеками и отрывками,

как будто вы все это знаете, помните и можете сами дополнить.

Вот он-то с своей музыкой был причиной всего. Ведь на суде было представлено дело так, что все случилось из ревности. Ничуть не бывало, то есть не то, что ничуть не бывало, а то, да не то. На суде так и решено было, что я обманутый муж и что я убил, защищая свою поруганную честь (так ведь это называется по-ихнему). И от этого меня оправдали. Я на суде старался выяснить смысл дела, но они понимали так, что я хочу реабилитировать честь жены.

Отношения ее с этим музыкантом, какие бы они ни были, для меня это не имеет смысла, да и для нее тоже. Имеет же смысл то, что я вам рассказал, то есть мое свинство. Все произошло оттого, что между нами была та страшная пучина, о которой я вам говорил, то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу, при которой первого повода было достаточно для произведения кризиса. Ссоры между нами становились в последнее время чем-то страшным и были особенно поразительны, сменяясь тоже напряженной животной страстностью.

Если бы явился не он, то другой бы явился. Если бы не предлог ревности, то другой. Я на-

стаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать, или разойтись, или убить самих себя или своих жен, как я сделал. Если с кем этого не случилось, то это особенно редкое исключение. Я ведь, прежде чем кончить, как я кончил, был несколько раз на краю самоубийства, а она тоже отравлялась.

XX

— Да, это так было, и недолго перед тем.

Жили мы как будто в перемирье, и нет никаких причин нарушать его; вдруг начинается разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит: «Не медаль, а похвальный отзыв». Начинается спор. Начинается перепрыгиванье с одного предмета на другой, попреки: «Ну, да это давно известно, всегда так: ты сказал…» — «Нет, я не говорил». — «Стало быть, я лгу!..» Чувствуешь, что вот-вот начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить. Знаешь, что сейчас начнется, и боишься этого, как огня, и потому хотел бы удержаться, но злоба охватывает все твое существо. Она в том же, еще худшем положении, нарочно перетолковывает всякое твое слово, придавая ему ложное значение; каждое же ее слово пропитано ядом; где только она знает, что мне больнее всего, туда-то она и колет. Дальше — больше. Я кричу: «Молчи!» — или что-то в этом роде. Она выскакивает из комнаты, бежит в детскую. Я стараюсь удержать ее, чтобы договорить и доказать, и схватываю ее за руку. Она прики-

дывается, что сделал ей больно, и кричит: «Дети, ваш отец бьет меня!» Я кричу: «Не лги!» — «Ведь это уж не в первый раз!» — кричит она, или что-нибудь подобное. Дети бросаются к ней. Она успокаивает их. Я говорю: «Не притворяйся!» Она говорит: «Для тебя все притворство; ты убьешь человека и будешь говорить, что он притворяется. Теперь я поняла тебя. Ты этого-то и хочешь!» — «О, хоть бы ты издохла!» — кричу я. Помню я, как ужаснули меня эти страшные слова. Я никак не ожидал, чтобы я мог сказать такие страшные, грубые слова, и удивляюсь тому, что они могли выскочить из меня. Я кричу эти страшные слова и убегаю в кабинет, сажусь и курю. Слышу, что она выходит в переднюю и собирается уезжать. Я спрашиваю куда. Она не отвечает. «Ну, и черт с ней», — говорю я себе, возвращаюсь в кабинет, опять ложусь и курю. Тысячи разных планов о том, как отомстить ей и избавиться от нее и как поправить все это и сделать так, как будто бы ничего не было, приходят мне в голову. Я все это думаю и курю, курю, курю. Думаю убежать от нее, скрыться, уехать в Америку. Дохожу до того, что мечтаю о том, как я избавлюсь от нее и как это будет прекрасно, как сойдусь с другой, прекрасной женщиной, совсем новой. Избавлюсь тем, что она

умрет, или тем, что разведусь, и придумываю, как это сделать. Вижу, что я путаюсь, что я не то думаю, что нужно, но и для того, чтобы не видеть, что я не то думаю, что нужно, для этого-то курю.

А жизнь дома идет. Приходит гувернантка, спрашивает: «Где madame? когда вернется?» Лакей спрашивает, подавать ли чай. Прихожу в столовую; дети, в особенности старшая Лиза, которая уж понимает, вопросительно и недоброжелательно смотрит на меня. Пьем молча чай. Ее все нет. Проходит весь вечер, ее нет, и два чувства сменяются в душе: злоба к ней за то, что она мучает меня и всех детей своим отсутствием, которое кончится же тем, что она приедет, и страх того, что она не приедет и что-нибудь сделает над собой. Я бы поехал за ней. Но где искать ее? У сестры? Но это глупо приехать спрашивать. Да и Бог с ней; если она хочет мучать, пускай сама мучается. А то ведь она этого и ждет. И в следующий раз будет еще хуже. А что, как она не у сестры, а что-нибудь делает или уже сделала над собой?.. Одиннадцать, двенадцать, час. Не иду в спальню, глупо одному там лежать и ждать, и тут же ложусь. Хочу чем-нибудь заняться, написать письма, читать; ничего не могу. Сижу один в кабинете, мучаюсь, злюсь и прислу-

шиваюсь. Три, четыре часа — ее все нет. К утру засыпаю. Просыпаюсь — ее нет.

Все в доме идет по-старому, но все в недоумении и все вопросительно и укоризненно смотрят на меня, предполагая, что все это от меня. А во мне все та же борьба — злобы за то, что она меня мучает, и беспокойства за нее.

Около одиннадцати приезжает ее сестра послом от нее. И начинается обычное: «Она в ужасном положении. Ну что же это!» — «Да ведь ничего не случилось». Я говорю про невозможность ее характера и говорю, что я ничего не сделал.

— Да ведь не может же это так оставаться, — говорит сестра.

— Все ее дело, а не мое, — говорю я. — Я первого шага не сделаю. Разойтись так разойтись.

Свояченица уезжает ни с чем. Я смело сказал, говоря с ней, что не сделаю первого шага, но как она уехала и я вышел и увидел детей жалких, испуганных, я уже готов делать первый шаг. И рад бы его сделать, но не знаю как. Опять хожу, курю, выпиваю за завтраком водки и вина и достигаю того, чего бессознательно желаю: не вижу глупости, подлости своего положения.

Около трех приезжает она. Встречая меня, она ничего не говорит. Я воображаю, что она смири-

лась, начинаю говорить о том, что я был вызван ее укоризнами. Она с тем же строгим и страшно измученным лицом говорит, что она приехала не объясняться, а взять детей, что жить вместе мы не можем. Я начинаю говорить, что виноват не я, что она вывела меня из себя. Она строго, торжественно смотрит на меня и потом говорит:

— Не говори больше, ты раскаешься.

Я говорю, что терпеть не могу комедий. Тогда она вскрикивает что-то, чего я не разбираю, и убегает в свою комнату. И за ней звенит ключ: она заперлась. Я толкаюсь, нет ответа, и я с злостью отхожу. Через полчаса Лиза прибегает в слезах.

— Что? что-нибудь сделалось?

— Мамы не слышно.

Идем. Я дергаю изо всех сил дверь. Задвижка плохо задвинута, и обе половинки отворяются. Я подхожу к кровати. Она в юбках и высоких ботинках лежит неловко на кровати без чувств. На столике пустая склянка с опиумом. Приводим в чувство. Еще слезы и, наконец, примирение. И не примирение: в душе у каждого та же старая злоба друг против друга с прибавкой еще раздражения за ту боль, которая сделана этой ссорой и которую всю каждый ставит на счет другого. Но надо же как-нибудь кончить все это,

и жизнь идет по-старому. Так, такие-то ссоры и хуже бывали беспрестанно, то раз в неделю, то раз в месяц, то каждый день. И все одно и то же. Один раз я уже взял заграничный паспорт — ссора продолжалась два дня, — но потом опять полуобъяснение, полупримирение — и я остался.

XXI

— Так вот в таких-то мы были отношениях, когда явился этот человек. Приехал в Москву этот человек — фамилия его Трухачевский — и явился ко мне. Это было утром. Я принял его. Были мы когда-то на «ты». Он попытался серединными фразами между «ты» и «вы» удержаться на «ты», но я прямо дал тон на «вы», и он тотчас же подчинился. Он мне очень не понравился с первого взгляда. Но, странное дело, какая-то странная, роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а, напротив, приблизить. Ведь что могло быть проще того, чтобы поговорить с ним холодно, проститься, не знакомя с женою. Но нет, я, как нарочно, заговорил об его игре, сказал, что мне говорили, что он бросил скрипку. Он сказал, что, напротив, он играет теперь больше прежнего. Он стал вспоминать о том, что я играл прежде. Я сказал, что не играю больше, но что жена моя хорошо играет.

Удивительное дело! Мои отношения к нему в первый день, в первый час моего свиданья с ним были такие, какие они могли быть только после того, что случилось. Что-то было напряжен-

ное в моих отношениях с ним: я замечал всякое слово, выражение, сказанное им или мною, и приписывал им важность.

Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда это последнее время, была очень элегантна и заманчива, беспокояще красива. Он, видимо, понравился ей с первого взгляда. Кроме того, она обрадовалась тому, что будет иметь удовольствие играть со скрипкой, что она очень любила, так что нанимала для этого скрипача из театра, и на лице ее выразилась эта радость. Но, увидав меня, она тотчас же поняла мое чувство и изменила свое выражение, и началась эта игра взаимного обманыванья. Я приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно. Он, глядя на жену так, как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид, что его интересует только предмет разговора, именно то, что уже совсем не интересовало его. Она старалась казаться равнодушной, но знакомое ей мое фальшиво-улыбающееся выражение ревнивца и его похотливый взгляд, очевидно, возбуждали ее. Я видел, что с первого же свиданья у ней особенно заблестели глаза, и, вероятно вследствие моей ревности, между ним и ею тот-

час же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Она краснела — и он краснел, она улыбалась — он улыбался. Поговорили о музыке, о Париже, о всяких пустяках. Он встал, чтобы уезжать, и, улыбаясь, со шляпой на подрагивающей ляжке стоял, глядя то на нее, то на меня, как бы ожидая, что мы сделаем. Помню я эту минуту именно потому, что в эту минуту я мог не позвать его, и тогда ничего бы не было. Но я взглянул на него, на нее. «И не думай, чтоб я ревновал тебя, — мысленно сказал я ей, — или чтоб я боялся тебя», — мысленно сказал я ему и пригласил его привозить как-нибудь вечером скрипку, чтобы играть с женой. Она с удивлением взглянула на меня, вспыхнула и, как будто испугавшись, стала отказываться, говорила, что она недостаточно хорошо играет. Этот отказ ее еще более раздражил меня, и я еще больше настаивал. Помню то странное чувство, с которым я смотрел на его затылок, белую шею, отделявшуюся от черных, расчесанных на обе стороны волос, когда он своей подпрыгивающей, какой-то птичьей походкой выходил от нас. Я не мог не признаться себе, что присутствие этого человека мучало меня. «От меня зависит, — думал я, — сделать

так, чтобы никогда не видать его». Но сделать так — значило признаться, что я боюсь его. Нет, я не боюсь его! Это было бы слишком унизительно, говорил я себе. И тут же, в передней, зная, что жена слышит меня, я настоял на том, чтобы он нынче же вечером приехал со скрипкой. Он обещал мне и уехал.

Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без приготовлений. Я очень любил музыку и сочувствовал их игре, устраивал ему пюпитр, переворачивал страницы. И кое-что они сыграли, какие-то песни без слов и сонатку Моцарта. Он играл превосходно, и у него было в высшей степени то, что называется тоном. Кроме того, тонкий, благородный вкус, совсем несвойственный его характеру.

Он был, разумеется, гораздо сильнее жены и помогал ей и вместе с тем учтиво хвалил ее игру. Он держал себя очень хорошо. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и естественна. Я же, хотя и притворялся заинтересованным музыкой, весь вечер не переставая мучался ревностью.

С первой минуты, как он встретился глазами

с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: «Можно?» — и ответил: «О да, очень». Я видел, что он никак не ожидал встретить в моей жене, в московской даме, такую привлекательную женщину, и был очень рад этому. Потому что сомнения в том, что она согласна, у него не было никакого. Весь вопрос был в том, чтобы только не помешал несносный муж. Если бы я был чист, я бы не понимал этого, но я, так же как и большинство, думал так про женщин, пока я не был женат, и потому читал в его душе как по-писаному. Мучался я особенно тем, что я видел несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прерываемого привычной чувственностью, а что этот человек, и по своей внешней элегантности и новизне, и, главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему от совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительные натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то что нравиться, а несомненно без малейшего колебания должен был победить, смять, перекрутить ее, свить из нее веревку, сделать из нее все, что захочет. Я этого

не мог не видеть, и я страдал ужасно. Но, несмотря на то или, может быть, вследствие этого, какая-то сила против моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивым, но ласковым с ним. Для жены ли, или для него я это делал, чтоб показать, что я не боюсь его, для себя ли, чтоб обмануть самого себя, — не знаю, только я не мог с первых же сношений моих с ним быть прост. Я должен был, для того чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогим вином, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женою. Я сказал, что позову кое-кого из моих знакомых, любителей музыки, послушать его. Да так и кончилось.

И Позднышев в сильном волнении переменил положение и издал свой особенный звук.

— Странное дело, как действовало на меня присутствие этого человека, — начал он опять, очевидно делая усилие, для того чтобы быть спокойным. — Возвращаюсь с выставки домой на второй или на третий день после этого, вхожу в переднюю и вдруг чувствую, что-то тяжелое, как камень, наваливается мне на сердце, и не могу дать себе отчета, чтó это. Это что-то было то,

что, проходя через переднюю, я заметил что-то напоминавшее его. Только в кабинете я дал себе отчет в том, что́ это было, и вернулся в переднюю, чтобы проверить себя. Да, я не ошибся: это была его шинель. Знаете, модная шинель. (Все, что его касалось, хотя я и не отдавал себе в том отчета, я замечал с необыкновенной внимательностью.) Спрашиваю, — так и есть, он тут. Прохожу не через гостиную, а через классную, в залу. Лиза, дочь, сидит за книжкой, и няня с маленькой у стола вертит какой-то крышкой. Дверь в залу затворена, и слышу оттуда равномерное arpeggio и голос его и ее. Прислушиваюсь, но не могу разобрать. Очевидно, звуки на фортепиано нарочно для того, чтобы заглушить их слова, поцелуи, может быть. Боже мой! что тут поднялось во мне! Как вспомню только про того зверя, который жил во мне тогда, ужас берет. Сердце вдруг сжалось, остановилось и потом заколотило, как молотком. Главное чувство, как и всегда, во всякой злости, было — жалость к себе. «При детях, при няне!» — думал я. Должно быть, я был страшен, потому что и Лиза смотрела на меня странными глазами. «Что ж мне делать? — спросил я себя. — Войти? Я не могу, я Бог знает что сделаю». Но не могу и уйти. Няня глядит на меня так, как будто она

понимает мое положение. «Да нельзя не войти», — сказал я себе и быстро отворил дверь. Он сидел за фортепиано, делал эти arpeggio своими изогнутыми кверху большими белыми пальцами. Она стояла в углу рояля над раскрытыми нотами. Она первая увидала или услыхала и взглянула на меня. Испугалась ли она и притворилась, что не испугалась, или точно не испугалась, но она не вздрогнула, не пошевелилась, а только покраснела, и то после.

— Как я рада, что ты пришел; мы не решили, что играть в воскресенье, — сказала она таким тоном, которым не говорила бы со мной, если бы мы были одни. Это и то, что она сказала «мы» про себя и его, возмутило меня. Я молча поздоровался с ним.

Он пожал мне руку и тотчас же с улыбкой, которая мне прямо казалась насмешливой, начал объяснять мне, что он принес ноты для приготовления к воскресенью и что вот между ними несогласие, что играть: более трудное и классическое, именно Бетховенскую сонату со скрипкой, или маленькие вещицы? Все было так естественно и просто, что нельзя было ни к чему придраться, а вместе с тем я был уверен, что все это было неправда, что они сговаривались о том,

как обмануть меня.

Одно из самых мучительнейших отношений для ревнивцев (а ревнивцы все в нашей общественной жизни) — это известные светские условия, при которых допускается самая большая и опасная близость между мужчиной и женщиной. Надо сделаться посмешищем людей, если препятствовать близости на балах, близости докторов с своей пациенткой, близости при занятиях искусством, живописью, а главное — музыкой. Люди занимаются вдвоем самым благородным искусством, музыкой; для этого нужна известная близость, и близость эта не имеет ничего предосудительного, и только глупый, ревнивый муж может видеть тут что-либо нежелательное. А между тем все знают, что именно посредством этих самых занятий, в особенности музыкой, и происходит большая доля прелюбодеяний в нашем обществе. Я, очевидно, смутил их тем смущением, которое выражалось во мне: я долго ничего не мог сказать. Я был как перевернутая бутылка, из которой вода не идет оттого, что она слишком полна. Я хотел изругать, выгнать его, но я чувствовал, что я должен был опять быть любезным и ласковым с ним. Я так и сделал. Я сделал вид, что одобряю все, и опять по тому

странному чувству, которое заставляло меня обращаться с ним с тем большей лаской, чем мучительнее мне было его присутствие, я сказал ему, что полагаюсь на его вкус и ей советую то же. Он побыл настолько еще, насколько нужно было, чтобы сгладить неприятное впечатление, когда я вдруг с испуганным лицом вошел в комнату и замолчал, — и уехал, притворяясь, что теперь решили, что играть завтра. Я же был вполне уверен, что в сравнении с тем, что занимало их, вопрос о том, что играть, был для них совершенно безразличен.

Я с особенной учтивостью проводил его до передней (как не провожать человека, который приехал с тем, чтобы нарушить спокойствие и погубить счастье целой семьи!). Я жал с особенной лаской его белую, мягкую руку.

XXII

— Целый день этот я не говорил с ней, не мог. Близость ее вызывала во мне такую ненависть к ней, что я боялся себя. За обедом она при детях спросила меня о том, когда я еду. Мне надо было на следующей неделе ехать на съезд в уезд. Я сказал когда. Она спросила, не нужно ли мне чего на дорогу. Я не сказал ничего и молча просидел за столом и молча же ушел в кабинет. Последнее время она никогда не приходила ко мне в комнату, особенно в это время. Лежу в кабинете и злюсь. Вдруг знакомая походка. И в голову мне приходит страшная, безобразная мысль о том, что она, как жена Урии, хочет скрыть уже совершенный грех свой и что она затем в такой неурочный час идет ко мне. «Неужели она идет ко мне?» — думал я, слушая ее приближающиеся шаги. Если ко мне, то я прав, значит. И в душе поднимается невыразимая ненависть к ней. Ближе, ближе шаги. Неужели не пройдет мимо, в залу? Нет, дверь скрипнула, и в дверях ее высокая, красивая фигура, и в лице, в глазах — робость и заискивание, которое она хочет скрыть, но которое я вижу и значение которого я знаю. Я чуть

не задохнулся, так долго я удерживал дыханье, и, продолжая глядеть на нее, схватился за папиросочницу и стал закуривать.

— Ну что это, к тебе придешь посидеть, а ты закуриваешь, — и она села близко ко мне на диван, прислоняясь ко мне.

Я отстранился, чтоб не касаться ее.

— Я вижу, что ты недоволен тем, что я хочу играть в воскресенье, — сказала она.

— Я нисколько не недоволен, — сказал я.

— Разве я не вижу?

— Ну, поздравляю тебя, что ты видишь. Я же ничего не вижу, кроме того, что ты ведешь себя, как кокотка…

— Да если ты хочешь браниться, как извозчик, то я уйду.

— Уходи, только знай, что если тебе не дорога честь семьи, то мне не ты дорога (черт с тобой), но честь семьи.

— Да что, что?

— Убирайся, ради Бога убирайся!

Притворялась она, что не понимает, о чем, или действительно не понимала, но только она обиделась и рассердилась. Она встала, но не ушла, а остановилась посередине комнаты.

— Ты решительно стал невозможен, — нача-

ла она. — Это такой характер, с которым ангел не уживется, — и, как всегда, стараясь уязвить меня как можно больнее, она напомнила мне мой поступок с сестрой (это был случай с сестрой, когда я вышел из себя и наговорил сестре своей грубости; она знала, что это мучит меня, и в это место кольнула меня). — После этого меня уж ничто не удивит от тебя, — сказала она.

«Да, оскорбить, унизить, опозорить и поставить меня же в виноватых», — сказал я себе, и вдруг меня охватила такая страшная злоба к ней, какой я никогда еще не испытывал.

Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней; но в ту же минуту, как я вскочил, я помню, что я сознал свою злобу и спросил себя, хорошо ли отдаться этому чувству, и тотчас же ответил себе, что это хорошо, что это испугает ее, и тотчас же, вместо того чтобы противиться этой злобе, я еще стал разжигать ее в себе и радоваться тому, что она больше и больше разгорается во мне.

— Убирайся, или я тебя убью! — закричал я, подойдя к ней и схватив ее за руку. Я сознательно усиливал интонации злости своего голоса, говоря это. И, должно быть, я был страшен, потому что она так заробела, что даже не имела силы уйти,

а только говорила:

— Вася, что ты, что с тобой?

— Уходи! — заревел я еще громче. — Только ты можешь довести меня до бешенства. Я не отвечаю за себя!

Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, показывающее высшую степень этого моего бешенства. Мне страшно хотелось бить, убить ее, но я знал, что этого нельзя, и потому, чтобы все-таки дать ход своему бешенству, схватил со стола пресс-папье, еще раз прокричав: «Уходи!» — швырнул его оземь мимо нее. Я очень хорошо целил мимо. Тогда она пошла из комнаты, но остановилась в дверях. И тут же, пока еще она видела (я сделал это для того, чтобы она видела), я стал брать со стола вещи, подсвечники, чернильницу, и бросать оземь их, продолжая кричать:

— Уйди! убирайся! Я не отвечаю за себя!

Она ушла — и я тотчас же перестал.

Через час ко мне пришла няня и сказала, что у жены истерика. Я пришел; она рыдала, смеялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всем телом. Она не притворялась, но была истинно больна.

К утру она успокоилась, и мы помирились под влиянием того чувства, которое мы называли любовью.

Утром, когда после примирения я признался ей, что ревновал ее к Трухачевскому, она нисколько не смутилась и самым естественным образом засмеялась. Так странна даже ей казалась, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку.

— Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь, кроме удовольствия, доставляемого музыкой? Да если хочешь, я готова никогда не видать его. Даже в воскресенье, хотя и позваны все. Напиши ему, что я нездорова, и кончено. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное он сам, что он опасен. А я слишком горда, чтобы позволить думать это.

И она ведь не лгала, она верила в то, что говорила; она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему и защитить им себя от него, но ей не удалось это. Все было направлено против нее, в особенности эта проклятая музыка. Так все и кончилось, и в воскресенье собрались гости, и они опять играли.

XXIII

— Я думаю, что излишне говорить, что я был очень тщеславен: если не быть тщеславным в обычной нашей жизни, то ведь нечем жить. Ну, и в воскресенье я со вкусом занялся устройством обеда и вечера с музыкой. Я сам накупил вещей для обеда и позвал гостей.

К шести часам собрались гости, и явился и он во фраке с бриллиантовыми запонками дурного тона. Он держал себя развязно, на все отвечал поспешно с улыбочкой согласия и понимания, знаете, с тем особенным выражением, что все, что вы сделаете или скажете, есть то самое, чего он ожидал. Все, что было в нем непорядочного, все это я замечал теперь с особенным удовольствием, потому что это все должно было успокоить меня и показывать, что он стоял для моей жены на такой низкой ступени, до которой, как она и говорила, она не могла унизиться. Я теперь уже не позволял себе ревновать. Во-первых, я перемучался уже этой мукой, и мне надо было отдохнуть; во-вторых, я хотел верить уверениям жены и верил им. Но, несмотря на то, что я не ревновал, я все-таки был ненатурален с ним

и с нею и во время обеда и первую половину вечера, пока не началась музыка. Я все еще следил за движениями и взглядами их обоих.

Обед был как обед, скучный, притворный. Довольно рано началась музыка. Ах, как я помню все подробности этого вечера; помню, как он принес скрипку, отпер ящик, снял вышитую ему дамой покрышку, достал и стал строить. Помню, как жена села с притворно равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость — робость преимущественно перед своим умением, — с притворным видом села за рояль, и начались обычные la на фортепиано, пиччикато скрипки, установка нот. Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживавшихся и потом сказали что-то друг другу, и началось. Он взял первый аккорд. У него сделалось серьезное, строгое, симпатичное лицо, и, прислушиваясь к своим звукам, он осторожными пальцами дернул по струнам, и рояль ответил ему. И началось…

Он остановился и несколько раз сряду произвел свои звуки. Хотел начать говорить, но засопел носом и опять остановился.

— Они играли Крейцерову сонату Бетховена. Знаете ли вы первое престо? Знаете?! — вскрик-

нул он. — У!.. Страшная вещь эта соната. Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом, — вздор, неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует, как зевота, как смех: мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего, смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося.

Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, — Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии, — это состояние

привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, — нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с ними что хочет. И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек.

А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо. Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки. Сыграть и сделать то, на что

настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно; мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. Да вот как, совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как, как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета, но сознание этого нового состояния было очень радостно. Все те же лица, и в том числе и жена и он, представлялись совсем в другом свете.

После этого престо они доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое andante с пошлыми варьяциями и совсем слабый финал. Потом еще играли по просьбе гостей то «Элегию» Эрнста, то еще разные вещицы. Все это было хорошо, но все это не произвело на меня и 0,01 того впечатления, которое произвело первое. Все это происходило уже на фоне того впечатления, которое произвело первое. Мне было легко, весело весь вечер. Жену же я никогда не видал такою, какою она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла,

и эта совершенная растаянность какая-то, слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как они кончили. Я все это видел, но не приписывал этому никакого другого значения, кроме того, что она испытывала то же, что и я, что и ей, как и мне, открылись, как будто вспомнились новые, неиспытанные чувства. Вечер кончился благополучно, и все разъехались.

Зная, что я должен был через два дня ехать на съезд, Трухачевский, прощаясь, сказал, что он надеется в свой другой приезд повторить еще удовольствие нынешнего вечера. Из этого я мог заключить, что он не считал возможным бывать у меня без меня, и это было мне приятно. Оказывалось, что так как я не вернусь до его отъезда, то мы с ним больше не увидимся.

Я в первый раз с истинным удовольствием пожал ему руку и благодарил его за удовольствие. Он также совсем простился с женой. И их прощанье показалось мне самым натуральным и приличным. Все было прекрасно. Мы оба с женой были очень довольны вечером.

XXIV

— Через два дня я уехал в уезд, в самом хорошем, спокойном настроении простившись с женой. В уезде всегда бывало пропасть дела и совсем особенная жизнь, особенный мирок. Два дня я по десяти часов проводил в присутствии. На другой день мне в присутствие принесли письмо от жены. Я тут же прочел его. Она писала о детях, о дяде, о нянюшке, о покупках и между прочим, как о вещи самой обыкновенной, о том, что Трухачевский заходил, принес обещанные ноты и обещал играть еще, но что она отказалась. Я не помнил, чтобы он обещал принести ноты: мне казалось, что он тогда простился совсем, и потому это неприятно поразило меня. Но дела было столько, что некогда было подумать, и я только вечером, вернувшись на квартиру, перечел письмо. Кроме того, что Трухачевский без меня был еще раз, весь тон письма показался мне натянутым. Бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре и хотел выскочить, но я боялся этого зверя и запер его скорей. «Какое мерзкое чувство эта ревность! — сказал я себе. — Что может быть естественнее того, что она пишет?»

И я лег в постель и стал думать о делах, предстоящих на завтра. Мне всегда долго не спалось во время этих съездов, на новом месте, но тут я заснул очень скоро. И как это бывает, знаете, вдруг толчок электрический, и просыпаешься. Так я проснулся, и проснулся с мыслью о ней, о моей плотской любви к ней, и о Трухачевском, и о том, что между нею и им все кончено. Ужас и злоба стиснули мне сердце. Но я стал образумливать себя. «Что за вздор, — говорил я себе, — нет никаких оснований, ничего нет и не было. И как я могу так унижать ее и себя, предполагая такие ужасы. Что-то вроде наемного скрипача, известный за дрянного человека, и вдруг женщина почтенная, уважаемая мать семейства, моя жена! Что за нелепость!» — представлялось мне с одной стороны. «Как же этому не быть?» — представлялось мне с другой. Как же могло не быть то самое простое и понятное, во имя чего я женился на ней, то самое, во имя чего я с нею жил, чего одного в ней нужно было и мне и чего поэтому нужно было и другим и этому музыканту. Он человек неженатый, здоровый (помню, как он хрустел хрящом в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином), сытый, гладкий, и не только без правил, но, очевидно,

с правилами о том, чтобы пользоваться теми удовольствиями, которые представляются. И между ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств. Что же может удержать его? Ничто. Все, напротив, привлекает его. Она? Да кто она? Она тайна, как была, так и есть. Я не знаю ее. Знаю ее только как животное. А животное ничто не может, не должно удержать.

Только теперь я вспомнил их лица в тот вечер, когда они после Крейцеровой сонаты сыграли какую-то страстную вещицу, не помню кого, какую-то до похабности чувственную пьесу. «Как я мог уехать? — говорил я себе, вспоминая их лица. — Разве не ясно было, что между ними все совершилось в этот вечер? и разве не видно было, что уже в этот вечер между ними не только не было никакой преграды, но что они оба, главное она, испытывали некоторый стыд после того, что случилось с ними?» Помню, как она слабо, жалобно и блаженно улыбалась, утирая пот с раскрасневшегося лица, когда я подошел к фортепиано. Они уже тогда избегали смотреть друг на друга, и только за ужином, когда он наливал ей воды, они взглянули друг на друга и чуть улыбнулись. Я с ужасом вспомнил теперь этот перехваченный мною их взгляд с чуть заметной

улыбкой. «Да, все кончено», — говорил мне один голос, и тотчас же другой голос говорил совсем другое. «Это что-то нашло на тебя, этого не может быть», — говорил этот другой голос. Мне жутко стало лежать в темноте, я зажег спичку, и мне как-то страшно стало в этой маленькой комнатке с желтыми обоями. Я закурил папироску и, как всегда бывает, когда вертишься в одном и том же кругу неразрешающихся противоречий, — куришь, и я курил одну папироску за другой, для того чтобы затуманить себя и не видать противоречий.

Я не заснул всю ночь, и в пять часов, решив, что не могу оставаться более в этом напряжении и сейчас же поеду, я встал, разбудил сторожа, который мне прислуживал, и послал его за лошадью. В заседание я послал записку о том, что я по экстренному делу вызван в Москву; потому прошу, чтобы меня заменил член. В восемь часов я сел в тарантас и поехал.

XXV

Вошел кондуктор и, заметив, что свеча наша догорела, потушил ее, не вставляя новой. На дворе начинало светать. Позднышев молчал, тяжело вздыхая все время, пока в вагоне был кондуктор. Он продолжал свой рассказ, только когда вышел кондуктор и в полутемном вагоне послышался только треск стекол двигающегося вагона и равномерный храп приказчика. В полусвете зари мне совсем уже не видно его было. Слышен был только его все более и более взволнованный, страдающий голос.

— Ехать надо было тридцать пять верст на лошадях и восемь часов по чугунке. На лошадях ехать было прекрасно. Была морозная осенняя пора с ярким солнцем. Знаете, эта пора, когда шипы выпечатываются на масленой дороге. Дороги гладкие, свет яркий и воздух бодрящий. В тарантасе ехать было хорошо. Когда рассвело и я поехал, мне стало легче. Глядя на лошадей, на поля, на встречных, забывал, куда я еду. Иногда мне казалось, что я просто еду и что ничего того, что вызвало меня, ничего этого не было. И мне особенно радостно бывало так забывать-

ся. Когда же я вспоминал, куда я еду, я говорил себе: «Тогда видно будет, не думай». На середине дороги сверх того случилось событие, задержавшее меня в дороге и еще больше развлекшее меня: тарантас сломался, и надо было чинить его. Поломка эта имела большое значение тем, что она сделала то, что я приехал в Москву не в пять часов, как я рассчитывал, а в двенадцать часов и домой — в первом часу, так как я не попал на курьерский, а должен был уже ехать на пассажирском. Поездка за телегой, починка, расплата, чай на постоялом дворе, разговоры с дворником — все это еще больше развлекло меня. Сумерками все было готово, и я опять поехал, и ночью еще лучше было ехать, чем днем. Был молодой месяц, маленький мороз, еще прекрасная дорога, лошади, веселый ямщик, и я ехал и наслаждался, почти совсем не думая о том, что меня ожидает, или именно потому особенно наслаждался, что знал, что меня ожидает, и прощался с радостями жизни. Но это спокойное состояние мое, возможность подавлять свое чувство кончилось поездкой на лошадях. Как только я вошел в вагон, началось совсем другое. Этот восьмичасовой переезд в вагоне был для меня что-то ужасное, чего я не забуду во всю жизнь.

Оттого ли, что, сев в вагон, я живо представил себя уже приехавшим, или оттого, что железная дорога так возбуждающе действует на людей, но только, с тех пор как я сел в вагон, я уже не мог владеть своим воображением, и оно не переставая с необычайной яркостью начало рисовать мне разжигающие мою ревность картины, одну за другой и одну циничнее другой, и все о том же, о том, что происходило там, без меня, как она изменяла мне. Я сгорал от негодования, злости и какого-то особенного чувства упоения своим унижением, созерцая эти картины, и не мог оторваться от них; не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызывать их. Мало того, чем более я созерцал эти воображаемые картины, тем более я верил в их действительность. Яркость, с которой представлялись мне эти картины, как будто служила доказательством тому, что то, что я воображал, было действительностью. Какой-то дьявол, точно против моей воли, придумывал и подсказывал мне самые ужасные соображения. Давнишний разговор с братом Трухачевского вспомнился мне, и я с каким-то восторгом раздирал себе сердце этим разговором, относя его к Трухачевскому и моей жене.

Это было очень давно, но я вспомнил это. Брат

Трухачевского, я помню, раз на вопрос о том, посещает ли он публичные дома, сказал, что порядочный человек не станет ходить туда, где можно заболеть, да и грязно и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину. И вот он, его брат, нашел мою жену. «Правда, она уже не первой молодости, зуба одного нет сбоку и есть пухлость некоторая, — думал я за него, — но что же делать, надо пользоваться тем, что есть». — «Да, он делает снисхождение ей, что берет ее своей любовницей, — говорил я себе. — Притом она безопасна». — «Нет, это невозможно! Что я думаю! — ужасаясь, говорил я себе. — Ничего, ничего подобного нет. И нет даже никаких оснований что-нибудь предполагать подобное. Разве она не говорила мне, что ей унизительна даже мысль о том, что я могу ревновать к нему? Да, но она лжет, все лжет!» — вскрикивал я — и начиналось опять… Пассажиров в нашем вагоне было только двое — старушка с мужем, оба очень неразговорчивые, и те вышли на одной из станций, и я остался один. Я был как зверь в клетке: то я вскакивал, подходил к окнам, то, шатаясь, начинал ходить, стараясь подогнать вагон; но вагон со всеми лавками и стеклами все точно так же подрагивал, вот как наш…

И Позднышев вскочил и сделал несколько шагов и опять сел.

— Ох, боюсь я, боюсь я вагонов железной дороги, ужас находит на меня. Да, ужасно! — продолжал он. — Я говорил себе: «Буду думать о другом. Ну, положим, о хозяине постоялого двора, у которого я пил чай». Ну вот, в глазах воображения возникает дворник с длинной бородой и его внук — мальчик одних лет с моим Васей. Мой Вася! Он увидит, как музыкант целует его мать. Что сделается в его бедной душе? Да ей что! Она любит… И опять поднималось то же. Нет, нет… Ну, буду думать об осмотре больницы. Да, как вчера больной жаловался на доктора. А доктор с усами, как у Трухачевского. И как он нагло… Они оба обманывали меня, когда говорил, что он уезжает. И опять начиналось. Все, о чем я думал, имело связь с ним. Я страдал ужасно. Страдание главное было в неведении, в сомнениях, в раздвоении, в незнании того, что — любить или ненавидеть надо ее. Страдания были так сильны, что, я помню, мне пришла мысль, очень понравившаяся мне, выйти на путь, лечь на рельсы под вагон и кончить. Тогда, по крайней мере, не будешь больше колебаться, сомневаться. Одно, что мешало это сделать, была жалость к себе, тотчас же

непосредственно за собой вызывавшая ненависть к ней. К нему же было какое-то странное чувство и ненависти и сознания своего унижения и его победы, но к ней страшная ненависть. «Нельзя покончить с собой и оставить ее; надо, чтоб она пострадала хоть сколько-нибудь, хоть поняла бы, что я страдал», — говорил я себе. Я выходил на всех станциях, чтобы развлекаться. На одной станции я в буфете увидал, что пьют, и тотчас же сам выпил водки. Рядом со мной стоял еврей и тоже пил. Он разговорился, и я, чтобы только не оставаться одному в своем вагоне, пошел с ним в его грязный, накуренный и забрызганный шелухой от семечек вагон третьего класса. Там я сел с ним рядом, и он много что-то болтал и рассказывал анекдоты. Я слушал его, но не мог понимать того, что он говорит, потому что продолжал думать о своем. Он заметил это и стал требовать к себе внимания; тогда я встал и ушел опять в свой вагон. «Надо обдумать, — говорил я себе, — правда ли то, что я думаю, и есть ли основание мне мучаться». Я сел, желая спокойно обдумать, но тотчас же вместо спокойного обдумыванья началось опять то же: вместо рассуждений — картины и представления. «Сколько раз я так мучался, — говорил я

себе (я вспоминал прежние подобные припадки ревности), — и потом все кончалось ничем. Так и теперь, может быть, даже наверное, я найду ее спокойно спящею; она проснется, обрадуется мне, и по словам, по взгляду я почувствую, что ничего не было и что все это вздор. О, как хорошо бы это!» — «Но нет, это слишком часто было, и теперь этого уже не будет», — говорил мне какой-то голос, и опять начиналось. Да, вот где была казнь! Не в сифилитическую больницу я сводил бы молодого человека, чтобы отбить у него охоту от женщин, но в душу к себе, посмотреть на тех дьяволов, которые раздирали ее! Ведь ужасно было то, что я признавал за собой несомненное, полное право над ее телом, как будто это было мое тело, и вместе с тем чувствовал, что владеть я этим телом не могу, что оно не мое и что она может распоряжаться им как хочет, а хочет распорядиться им не так, как я хочу. И я ничего не могу сделать ни ему, ни ей. Он, как Ванька-ключничек перед виселицей, споет песенку о том, как в сахарные уста было поцеловано и прочее. И верх его. А с ней еще меньше я могу что-нибудь сделать. Если она не сделала, но хочет, а я знаю, что хочет, то еще хуже: уж лучше бы сделала, чтоб я знал, чтоб не было

неизвестности. Я не мог бы сказать, чего я хотел. Я хотел, чтоб она не желала того, что она должна желать. Это было полное сумасшествие!

XXVI

— На предпоследней станции, когда кондуктор пришел собирать билеты, я, собрав свои вещи, вышел на тормоз, и сознание того, что близко, вот оно, решение, еще усилило мое волнение. Мне стало холодно, и я стал дрожать челюстями так, что стучал зубами. Я машинально с толпой вышел из вокзала, взял извозчика, сел и поехал. Я ехал, оглядывая редких прохожих, и дворников, и тени, бросаемые фонарями и моей пролеткой то спереди, то сзади, ни о чем не думая. Отъехав с полверсты, мне стало холодно ногам, и я подумал о том, что снял в вагоне шерстяные чулки и положил их в сумку. Где сумка? тут ли? Тут. А где корзина? Я вспомнил, что я забыл совсем о багаже, но, вспомнив и достав расписку, решил, что не стоит возвращаться за этим, и поехал дальше.

Сколько я ни стараюсь вспомнить теперь, я никак не могу вспомнить моего тогдашнего состояния: что я думал? чего хотел? ничего не знаю. Помню только, что у меня было сознание того, что готовится что-то страшное и очень важное в моей жизни. Оттого ли произошло то важное,

что я так думал, или оттого, что предчувствовал, — не знаю. Может быть и то, что после того, что случилось, все предшествующие минуты в моем воспоминании получили мрачный оттенок. Я подъехал к крыльцу. Был первый час. Несколько извозчиков стояло у крыльца, ожидая седоков по освещенным окнам (освещенные окна были в нашей квартире, в зале и гостиной). Не отдавая себе отчета в том, почему есть еще свет так поздно в наших окнах, я в том же состоянии ожидания чего-то страшного взошел на лестницу и позвонил. Лакей, добрый, старательный и очень глупый Егор, отворил. Первое, что бросилось в глаза, в передней была на вешалке рядом с другим платьем его шинель. Я бы должен был удивиться, но не удивился, точно я ждал этого. «Так и есть», — сказал я себе. Когда я спросил Егора, кто здесь, и он назвал мне Трухачевского, я спросил, есть ли еще кто-нибудь. Он сказал:

— Никого-с.

Помню, как он ответил мне это с такой интонацией, как будто желал порадовать меня и рассеять сомнения, что есть еще кто. «Никого-с. Так, так», — как будто говорил я себе.

— А дети?

— Слава Богу, здоровы. Давно спят-с.

Я не мог продохнуть и не мог остановить трясущихся челюстей. «Да, стало быть, не так, как я думал: то прежде я думал — несчастье, а оказалось все хорошо, по-старому. Теперь же вот не по-старому, а вот оно все то, что я представлял себе и думал, что только представлял, а вот оно все в действительности. Вот оно все...»

Я чуть было не зарыдал, но тотчас же дьявол подсказал: «Ты плачь, сентиментальничай, а они спокойно разойдутся, улик не будет, и ты век будешь сомневаться и мучаться». И тотчас чувствительность над собой исчезла, и явилось странное чувство — вы не поверите — чувство радости, что кончится теперь мое мученье, что теперь я могу наказать ее, могу избавиться от нее, что я могу дать волю моей злобе. И я дал волю моей злобе — я сделался зверем, злым и хитрым зверем.

— Не надо, не надо, — сказал я Егору, хотевшему идти в гостиную, — а ты вот что: ты поди, скорее возьми извозчика и поезжай; вот квитанция, получи вещи. Ступай.

Он пошел по коридору за своим пальто. Боясь, что он спугнет их, я проводил его до его каморки и подождал, пока он оделся. В гостиной, за другой комнатой, слышен был говор и звук ножей и та-

релок. Они ели и не слыхали звонка. «Только бы не вышли теперь», — думал я. Егор надел свое пальто с астраханским барашком и вышел. Я выпустил его и запер за ним дверь, и мне стало жутко, когда я почувствовал, что остался один и что мне надо сейчас действовать. Как — я еще не знал. Я знал только, что теперь все кончено, что сомнений в ее невинности не может быть и что я сейчас накажу ее и кончу мои отношения с нею.

Прежде еще были у меня колебания, я говорил себе: «А может быть, это неправда, может быть, я ошибаюсь», — теперь уж этого не было. Все было решено бесповоротно. Тайно от меня, одна с ним, ночью! Это уже совершенное забвение всего. Или еще хуже: нарочно такая смелость, дерзость в преступлении, чтобы дерзость эта служила признаком невинности. Все ясно. Сомнения нет. Я боялся только одного, как бы они не разбежались, не придумали еще нового обмана и не лишили меня тем и очевидности улики, и возможности наказать. И с тем, чтоб скорее застать их, я на цыпочках пошел в залу, где они сидели, не через гостиную, а через коридор и детскую.

В первой детской мальчики спали. Во второй детской няня зашевелилась, хотела проснуть-

ся, и я представил себе то, что она подумает, узнав все, и такая жалость к себе охватила меня при этой мысли, что я не мог удержаться от слез и, чтобы не разбудить детей, выбежал на цыпочках в коридор и к себе в кабинет, повалился на свой диван и зарыдал.

«Я — честный человек, я — сын своих родителей, я — всю жизнь мечтавший о счастье семейной жизни, я — мужчина, никогда не изменявший ей… И вот! пять человек детей, и она обнимает музыканта, оттого что у него красные губы! Нет, это не человек! Это сука, это мерзкая сука! Рядом с комнатой детей, в любви к которым она притворялась всю свою жизнь. И писать мне то, что она писала! И так нагло броситься на шею! Да что я знаю? может быть, все время это так было. Может быть, она давно с лакеями прижила всех детей, которые считаются моими. И завтра я бы приехал, и она в своей прическе, с своей этой талией и ленивыми грациозными движениями (я увидал все ее привлекательное ненавистное лицо) встретила бы меня, и зверь этот ревности навеки сидел бы у меня в сердце и раздирал бы его. Няня что подумает, Егор. И бедная Лизочка! Она уже понимала что-то. И эта наглость! и эта ложь! и эта животная чувственность, которую я

так знаю», — говорил я себе.

Я хотел встать, но не мог. Сердце так билось, что я не мог устоять на ногах. Да, я умру от удара. Она убьет меня. Ей это и надо. Что ж, ей убить? Да нет, это бы ей было слишком выгодно, и этого удовольствия я не доставлю ей. Да, и я сижу, а они там едят и смеются, и… Да, несмотря на то, что она была уж не первой свежести, он не побрезгал ею: все-таки она была недурна, главное же, по крайней мере, было безопасно для его драгоценного здоровья. «И зачем я не задушил ее тогда», — сказал я себе, вспомнив ту минуту, когда я неделю тому назад выталкивал ее из кабинета и потом колотил вещи. Мне живо вспомнилось то состояние, в котором я был тогда; не только вспомнилось, но я ощутил ту же потребность бить, разрушать, которую я ощущал тогда. Помню, как мне захотелось действовать, и всякие соображения, кроме тех, которые нужны были для действия, выскочили у меня из головы. Я вступил в то состояние зверя или человека под влиянием физического возбуждения во время опасности, когда человек действует точно, неторопливо, но и не теряя ни минуты, и все только с одною определенною целью.

XXVII

— Первое, что я сделал, я снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене над диваном, где у меня висели ружья и кинжалы, и взял кривой дамасский кинжал, ни разу не употреблявшийся и страшно острый. Я вынул его из ножен. Ножны, я помню, завалились за диван, и помню, что я сказал себе: «Надо после найти их, а то пропадут». Потом я снял пальто, которое все время было на мне, и, мягко ступая в одних чулках, пошел туда.

И подкравшись тихо, я вдруг отворил дверь. Помню выражение их лиц. Я помню это выражение, потому что выражение это доставило мне мучительную радость. Это было выражение ужаса. Этого-то мне и надо было. Я никогда не забуду выражение отчаянного ужаса, которое выступило в первую секунду на обоих их лицах, когда они увидали меня. Он сидел, кажется, за столом, но, увидав или услыхав меня, вскочил на ноги и остановился спиной к шкафу. На его лице было одно очень несомненное выражение ужаса. На ее лице было то же выражение ужаса, но с ним вместе было и другое. Если бы оно

было одно, может быть, не случилось бы того, что случилось; но в выражении ее лица было, по крайней мере показалось мне в первое мгновенье, было еще огорченье, недовольство тем, что нарушили ее увлечение любовью и ее счастье с ним. Ей как будто ничего не нужно было, кроме того, чтобы ей не мешали быть счастливой теперь. То и другое выражение только мгновение держалось на их лицах. Выражение ужаса в его лице тотчас же сменилось выражением вопроса: можно лгать или нет? Если можно, то надо начинать. Если нет, то начнется еще что-то другое. Но что? Он вопросительно взглянул на нее. На ее лице выражение досады и огорчения сменилось, как мне показалось, когда она взглянула на него, заботою о нем.

На мгновенье я остановился в дверях, держа кинжал за спиною. В это же мгновение он улыбнулся и до смешного равнодушным тоном начал:

— А мы вот музицировали…

— Вот не ждала, — в то же время начала и она, покоряясь его тону.

Но ни тот, ни другой не договорили: то же самое бешенство, которое я испытывал неделю тому назад, овладело мной. Опять я испытал эту

потребность разрушения, насилия и восторга бешенства и отдался ему.

Оба не договорили… Началось то другое, чего он боялся, что разрывало сразу все, что они говорили. Я бросился к ней, все еще скрывая кинжал, чтобы он не помешал мне ударить ее в бок под грудью. Я выбрал это место с самого начала. В ту минуту, как я бросился к ней, он увидал, и, чего я никак не ждал от него, он схватил меня за руку и крикнул:

— Опомнитесь, что вы! Люди!

Я вырвал руку и молча бросился к нему. Его глаза встретились с моими, он вдруг побледнел как полотно, до губ, глаза сверкнули как-то особенно, и, чего я тоже никак не ожидал, он шмыгнул под фортепиано, в дверь. Я бросился было за ним, но на левой руке моей повисла тяжесть. Это была она. Я рванулся. Она еще тяжелее повисла и не выпускала. Неожиданная эта помеха, тяжесть и ее отвратительное мне прикосновение еще больше разожгли меня. Я чувствовал, что я вполне бешеный и должен быть страшен, и радовался этому. Я размахнулся изо всех сил левой рукой и локтем попал ей в самое лицо. Она вскрикнула и выпустила мою руку. Я хотел бежать за ним, но вспомнил,

что было бы смешно бежать в чулках за любовником своей жены, а я не хотел быть смешон, а хотел быть страшен. Несмотря на страшное бешенство, в котором я находился, я помнил все время, какое впечатление я произвожу на других, и даже это впечатление отчасти руководило мною. Я повернулся к ней. Она упала на кушетку и, схватившись рукой за расшибленные мною глаза, смотрела на меня. В лице ее были страх и ненависть ко мне, к врагу, как у крысы, когда поднимают мышеловку, в которую она попалась. Я, по крайней мере, ничего не видел в ней, кроме этого страха и ненависти ко мне. Это был тот самый страх и ненависть ко мне, которые должна была вызвать любовь к другому. Но еще, может быть, я удержался бы и не сделал бы того, что я сделал, если бы она молчала. Но она вдруг начала говорить и хватать меня рукой за руку с кинжалом:

— Опомнись! Что ты? Что с тобой? Ничего нет, ничего, ничего… Клянусь!

Я бы и еще помедлил, но эти последние слова ее, по которым я заключил обратное, то есть, что все было, вызывали ответ. И ответ должен был быть соответствен тому настроению, в ко-

торое я привел себя, которое все шло crescendo[9] и должно было продолжать так же возвышаться. У бешенства есть тоже свои законы.

— Не лги, мерзавка! — завопил я и левой рукой схватил ее за руку, но она вырвалась. Тогда все-таки я, не выпуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло, опрокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была… Она схватилась обеими руками за мои руки, отдирая их от горла, и я как будто этого-то и ждал, изо всех сил ударил ее кинжалом в левый бок, ниже ребер.

Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают, — это вздор, неправда. Я все помнил и ни на секунду не переставал помнить. Чем сильнее я разводил сам в себе пары своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, при котором я не мог не видеть всего того, что я делал. Всякую секунду я знал, что я делаю. Не могу сказать, чтобы я знал вперед, что я буду делать, но в ту секунду, как я делал, даже, кажется, несколько вперед, я знал, что я делаю, как будто для того, чтоб возможно было раскаяться, чтоб я мог себе сказать, что я мог остановиться. Я знал, что я ударяю ниже ребер

---

[9] Сноски: 9
Нарастая (*ит.*).

и что кинжал войдет. В ту минуту, как я делал это, я знал, что я делаю нечто ужасное, такое, какого я никогда не делал и которое будет иметь ужасные последствия. Но сознание это мелькнуло как молния, и за сознанием тотчас же следовал поступок. И поступок сознавался с необычайной яркостью. Я слышал и помню мгновенное противодействие корсета и еще чего-то и потом погружение ножа в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, обрезала их, но не удержала. Я долго потом, в тюрьме, после того как нравственный переворот совершился во мне, думал об этой минуте, вспоминал, что мог, и соображал. Помню на мгновение, только на мгновение, предварявшее поступок, страшное сознание того, что я убиваю и убил женщину, беззащитную женщину, мою жену. Ужас этого сознания я помню и потому заключаю и даже вспоминаю смутно, что, воткнув кинжал, я тотчас же вытащил его, желая поправить сделанное и остановить. Я секунду стоял неподвижно, ожидая, что будет, можно ли поправить. Она вскочила на ноги, вскрикнула:

— Няня! он убил меня!

Услыхавшая шум няня стояла в дверях. Я все стоял, ожидая и не веря. Но тут из-под ее корсета хлынула кровь. Тут только я понял, что попра-

вить нельзя, и тотчас же решил, что и не нужно, что я этого самого и хочу и это самое и должен был сделать. Я подождал, пока она упала и няня с криком: «Батюшки!» — подбежала к ней, и тогда только бросил кинжал прочь и пошел из комнаты.

«Не надо волноваться, надо знать, что я делаю», — сказал я себе, не глядя на нее и няню. Няня кричала, звала девушку. Я прошел коридором и, послав девушку, пошел в свою комнату. «Что теперь надо делать?» — спросил себя и тотчас же понял что. Войдя в кабинет я прямо подошел к стене, снял с нее револьвер, осмотрел его — он был заряжен — и положил на стол. Потом достал ножны из-за дивана и сел на диван.

Долго я сидел так. Я ничего не думал, ничего не вспоминал. Я слышал, что там что-то возились. Слышал, как приехал кто-то, потом еще кто-то. Потом слышал и видел, как Егор внес мою привезенную корзину в кабинет. Точно кому-нибудь это нужно!

— Слышал ты, что случилось? — сказал я. — Скажи дворнику, чтобы дали знать в полицию.

Он ничего не сказал и ушел. Я встал, запер дверь и, достав папироски и спичку, стал курить. Я не докурил папироски, как меня схватил

и повалил сон. Я спал, верно, часа два. Помню, я видел во сне, что мы дружны с ней, поссорились, но миримся и что немножко что-то мешает, но мы дружны. Меня разбудил стук в дверь. «Это полиция, — подумал я, просыпаясь. — Ведь я убил, кажется. А может быть, это она, и ничего не было». В дверь еще постучались. Я ничего не отвечал, решая вопрос: было это или не было? Да, было. Я вспомнил сопротивление корсета и погружение ножа, и мороз пробежал по спине. «Да, было. Да, теперь надо и себя», — сказал я себе. Но я говорил это и знал, что я не убью себя. Однако я встал и взял опять в руки револьвер. Но странное дело: помню, как прежде много раз я был близок к самоубийству, как в тот день даже, на железной дороге, мне это легко казалось, легко именно потому, что я думал, как я этим поражу ее. Теперь я никак не мог не только убить себя, но и подумать об этом. «Зачем я это сделаю?» — спрашивал я себя, и ответа не было. В дверь постучались еще. «Да, прежде надо узнать, кто это стучится. Успею еще». Я положил револьвер и покрыл его газетой. Я подошел к двери и отодвинул задвижку. Это была сестра жены, добрая, глупая вдова.

— Вася! что это? — сказала она, и всегда гото-

вые у ней слезы полились.

— Что надо? — грубо спросил я. Я видел, что совсем не надо было и незачем было быть с ней грубым, но я не мог придумать никакого другого тона.

— Вася, она умирает! Иван Федорович сказал. — Иван Федорович это был доктор, ее доктор, советчик.

— Разве он здесь? — спросил я, и вся злоба на нее поднялась опять. — Ну так что ж?

— Вася, поди к ней. Ах, как это ужасно, — сказала она.

«Пойти к ней?» — задал я себе вопрос. И тотчас же ответил, что надо пойти к ней, что, вероятно, всегда так делается, что когда муж, как я, убил жену, то непременно надо идти к ней. «Если так делается, то надо идти, — сказал я себе. — Да если нужно будет, всегда успею», — подумал я о своем намерении застрелиться и пошел за нею. «Теперь будут фразы, гримасы, но я не поддамся им», — сказал я себе.

— Постой, — сказал я сестре, — глупо без сапог, дай я надену хоть туфли.

XXVIII

— И удивительное дело! Опять, когда я вышел из комнаты и пошел по привычным комнатам, опять во мне явилась надежда, что ничего не было, но запах этой докторской гадости — йодоформ, карболка — поразил меня. Нет, все было. Проходя по коридору мимо детской, я увидал Лизоньку. Она смотрела на меня испуганными глазами. Мне показалось даже, что тут были все пятеро детей и все смотрели на меня. Я подошел к двери, и горничная изнутри отворила мне и вышла. Первое, что бросилось мне в глаза, было ее светло-серое платье на стуле, все черное от крови. На нашей двуспальной постели, на моей даже постели — к ней был легче подход — лежала она с поднятыми коленями. Она лежала очень отлого на одних подушках, в расстегнутой кофте. На месте раны было что-то наложено. В комнате был тяжелый запах йодоформа. Прежде и больше всего поразило меня ее распухшее и синеющее по отекам лицо, часть носа и под глазом. Это было последствие удара моего локтем, когда она хотела удерживать меня. Красоты не было никакой, а что-то гадкое показалось мне в ней. Я

остановился у порога.

— Подойди, подойди к ней, — говорила мне сестра.

«Да, верно, она хочет покаяться», — подумал я. «Простить? Да, она умирает, и можно простить ее», — думал я, стараясь быть великодушным. Я подошел вплоть. Она с трудом подняла на меня глаза, из которых один был подбитый, и с трудом, с запинками проговорила:

— Добился своего, убил… — И в лице ее, сквозь физические страдания и даже близость смерти, выразилась та же старая, знакомая мне холодная животная ненависть. — Детей… я все-таки тебе… не отдам… Она (ее сестра) возьмет…

О том же, что было главным для меня, о своей вине, измене, она как бы считала нестоящим упоминать.

— Да, полюбуйся на то, что ты сделал, — сказала она, глядя в дверь, и всхлипнула. В двери стояла сестра с детьми. — Да, вот что ты сделал.

Я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость, в первый раз увидал в ней человека. И так ничтожно мне показалось все то, что оскорбляло меня, — вся моя ревность, и так значительно то, что я сделал, что я хотел припасть

лицом к ее руке и сказать: «Прости!» — но не смел.

Она молчала, закрыв глаза, очевидно не в силах говорить дальше. Потом изуродованное лицо ее задрожало и сморщилось. Она слабо оттолкнула меня.

— Зачем все это было? Зачем?

— Прости меня, — сказал я.

— Прости? Все это вздор!.. Только бы не умереть!.. — вскрикнула она, приподнялась, и лихорадочно блестящие глаза ее устремились на меня. — Да, ты добился своего!.. Ненавижу!.. Ай! Ах! — очевидно, в бреду, пугаясь чего-то, закричала она. — Ну, убивай, убивай, я не боюсь… Только всех, всех, и его. Ушел, ушел!

Бред продолжался все время. Она не узнавала никого. В тот же день, к полдню, она померла. Меня прежде этого, в восемь часов, отвели в часть и оттуда в тюрьму. И там, просидев одиннадцать месяцев, дожидаясь суда, я обдумал себя и свое прошедшее и понял его. Начал понимать я на третий день. На третий день меня водили туда…

Он что-то хотел сказать и, не в силах будучи удержать рыдания, остановился. Собравшись с силами, он продолжал:

— Я начал понимать только тогда, когда увидал

ее в гробу. — Он всхлипнул, но тотчас же торопливо продолжал: — Только тогда, когда я увидал ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, тот не может понять… У! у! у!.. — вскрикнул он несколько раз и затих.

Мы долго сидели молча. Он всхлипывал и трясся молча передо мной.

— Ну, простите…

Он отвернулся от меня и прилег на лавке, закрывшись пледом. На той станции, где мне надо было выходить, — это было в восемь часов утра, — я подошел к нему, чтобы проститься. Спал ли он или притворялся, но он не шевелился. Я тронул его рукой. Он открылся, и видно было, что он не спал.

— Прощайте, — сказал я, подавая ему руку.

Он подал мне руку и чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось плакать.

— Да, простите, — повторил он то же слово, которым заключил и весь рассказ.

Послесловие к «Крейцеровой сонате»

Я получил и получаю много писем от незнакомых мне лиц, просящих меня объяснить в простых и ясных словах то, что я думаю о предмете написанного мною рассказа под заглавием «Крейцерова соната». Попытаюсь это сделать, то есть в коротких словах выразить, насколько это возможно, сущность того, что я хотел сказать в этом рассказе, и тех выводов, которые, по моему мнению, можно сделать из него.

Хотел я сказать, *во-первых*, то, что в нашем обществе сложилось твердое, общее всем сословиям и поддерживаемое ложной наукой убеждение в том, что половое общение есть дело необходимое для здоровья и что так как женитьба есть дело не всегда возможное, то и половое общение вне брака, не обязывающее мужчину ни к чему, кроме денежной платы, есть дело совершенно естественное и потому долженствующее быть поощряемым. Убеждение это до такой степени стало общим и твердым, что родители, по совету врачей, устраивают разврат для своих детей; правительства, единственный смысл

которых состоит в заботе о нравственном благосостоянии своих граждан, учреждают разврат, то есть регулируют целое сословие женщин, долженствующих погибать телесно и душевно для удовлетворения мнимых потребностей мужчин, а холостые люди с совершенно спокойной совестью предаются разврату.

И вот я хотел сказать, что это нехорошо, потому что не может быть того, чтобы для здоровья одних людей можно бы было губить тела и души других людей, так же как не может быть того, чтобы для здоровья одних людей нужно было пить кровь других.

Вывод же, который, мне кажется, естественно сделать из этого, тот, что поддаваться этому заблуждению и обману не нужно. А для того, чтобы не поддаваться, надо, во-первых, не верить безнравственным учениям, какими бы они ни поддерживались мнимыми науками, а во-вторых, понимать, что вступление в такое половое общение, при котором люди или освобождают себя от возможных последствий его — детей, или сваливают всю тяжесть этих последствий на женщину, или предупреждают возможность рождения детей, — что такое половое общение есть преступление самого простого требования

нравственности, есть подлость, и что потому холостым людям, не хотящим жить подло, надо не делать этого.

Для того же, чтобы они могли воздержаться, они должны, кроме того что вести естественный образ жизни: не пить, не объедаться, не есть мяса и не избегать труда (не гимнастики, а утомляющего, не игрушечного труда), не допускать в мыслях своих возможности общения с чужими женщинами, так же как всякий человек не допускает такой возможности между собой и матерью, сестрами, родными, женами друзей.

Доказательство же того, что воздержание возможно и менее опасно и вредно для здоровья, чем невоздержание, всякий мужчина найдет вокруг себя сотни.

Это первое.

Второе то, что в нашем обществе, вследствие взгляда на любовное общение не только как на необходимое условие здоровья и на удовольствие, но и как на поэтическое, возвышенное благо жизни, супружеская неверность сделалась во всех слоях общества (в крестьянском особенно, благодаря солдатству) самым обычным явлением.

И я полагаю, что это нехорошо. Вывод же, ко-

торый вытекает из этого, тот, что этого не надо делать.

Для того же, чтобы не делать этого, надо, чтобы изменился взгляд на плотскую любовь, чтобы мужчины и женщины воспитывались бы в семьях и общественным мнением так, чтобы они и до и после женитьбы не смотрели на влюбление и связанную с ним плотскую любовь как на поэтическое и возвышенное состояние, как на это смотрят теперь, а как на унизительное для человека животное состояние, и чтобы нарушение обещания верности, даваемого в браке, казнилось бы общественным мнением по крайней мере так же, как казнятся им нарушения денежных обязательств и торговые обманы, а не воспевалось бы, как это делается теперь, в романах, стихах, песнях, операх и т. д.

Это второе.

Третье то, что в нашем обществе, вследствие опять того же ложного значения, которое придано плотской любви, рождение детей потеряло свой смысл и, вместо того, чтобы быть целью и оправданием супружеских отношений, стало помехой для приятного продолжения любовных отношений, и что потому и вне брака и в браке, по совету служителей врачебной науки,

стало распространяться употребление средств, лишающих женщину возможности деторождения или стало входить в обычай и привычку то, чего не было прежде и теперь еще нет в патриархальных крестьянских семьях: продолжение супружеских отношений при беременности и кормлении.

И полагаю я, что это нехорошо. Нехорошо употреблять средства против рождения детей, во-первых, потому, что это освобождает людей от забот и трудов о детях, служащих искуплением плотской любви, а во-вторых, потому, что это нечто весьма близкое к самому противному человеческой совести действию — убийству. И нехорошо невоздержание во время беременности и кормления, потому что это губит телесные, а главное — душевные силы женщины.

Вывод же, который вытекает из этого, тот, что этого не надо делать. А для того чтобы этого не делать, надо понять, что воздержание, составляющее необходимое условие человеческого достоинства при безбрачном состоянии, еще более обязательно в браке.

Это третье.

Четвертое то, что в нашем обществе, в котором дети представляются или помехой для наслажде-

ния, или несчастной случайностью, или своего рода наслаждением, когда их рождается вперед определенное количество, эти дети воспитываются не в виду тех задач человеческой жизни, которые предстоят им как разумным и любящим существам, а только в виду тех удовольствий, которые они могут доставить родителям. И что вследствие этого дети людей воспитываются как дети животных, так что главная забота родителей состоит не в том, чтобы приготовить их к достойной человека деятельности, а в том (в чем поддерживаются родители ложной наукой, называемой медициной), чтобы как можно лучше напитать их, увеличить их рост, сделать их чистыми, белыми, сытыми, красивыми (если в низших классах этого не делают, то только по необходимости, а взгляд один и тот же. И в изнеженных детях, как и во всяких перекормленных животных, неестественно рано появляется непреодолимая чувственность, составляющая причину страшных мучений этих детей в отроческом возрасте. Наряды, чтения, зрелища, музыка, танцы, сладкая пища, вся обстановка жизни, от картинок на коробках до романов и повестей и поэм, еще более разжигают эту чувственность, и вследствие этого самые ужасные половые по-

роки и болезни делаются обычными условиями вырастания детей обоего пола и часто остаются и в зрелом возрасте.

И я полагаю, что это нехорошо. Вывод же, который можно сделать из этого, тот, что надо перестать воспитывать детей людей, как детей животных, и для воспитания людских детей поставить себе другие цели, кроме красивого, выхоленного тела.

Это четвертое.

Пятое то, что в нашем обществе, где влюбление между молодым мужчиной и женщиной, имеющее в основе все-таки плотскую любовь, возведено в высшую поэтическую цель стремлений людей, свидетельством чего служит все искусство и поэзия нашего общества, молодые люди лучшее время своей жизни посвящают: мужчины на выглядывание, приискивание и овладевание наилучшими предметами любви в форме любовной связи или брака, а женщины и девушки — на заманиванье и вовлечение мужчин в связь или брак.

И от этого лучшие силы людей тратятся не только на непроизводительную, но на вредную работу. От этого происходит большая часть безумной роскоши нашей жизни, от этого — праздность

мужчин и бесстыдство женщин, не пренебрегающих выставленным по модам, заимствуемым от заведомо развратных женщин, вызывающих чувственность частей тела.

И я полагаю, что это нехорошо.

Нехорошо это потому, что достижение цели соединения в браке или вне брака с предметом любви, как бы оно ни было опоэтизировано, есть цель, недостойная человека, так же как недостойна человека представляющаяся многим людям высшим благом цель приобретения себе сладкой и изобильной пищи.

Вывод же, который можно сделать из этого, тот, что надо перестать думать, что любовь плотская есть нечто особенно возвышенное, а надо понять, что цель, достойная человека, — служение ли человечеству, отечеству, науке, искусству ли (не говоря уже о служении Богу) — какая бы она ни была, если только мы считаем ее достойной человека, не достигается посредством соединения с предметом любви в браке или вне его, а что, напротив, влюбление и соединение с предметом любви (как бы ни старались доказывать противное в стихах и прозе) никогда не облегчает достижение достойной человека цели, но всегда затрудняет его.

Это пятое.

Вот то существенное, что я хотел сказать и думал, что сказал в своем рассказе. И мне казалось, что можно рассуждать о том, как исправить то зло, на которое указывали эти положения, но что не согласиться с ними никак нельзя.

Мне казалось, что не согласиться с этими положениями нельзя, во-первых, потому, что положения эти вполне согласны с прогрессом человечества, всегда шедшим от распущенности к большей и большей целомудренности, и с нравственным сознанием общества, с нашей совестью, всегда осуждающей распущенность и ценящей целомудрие; и, во-вторых, потому, что эти положения суть только неизбежные выводы из учения Евангелия, которые мы или исповедуем, или, по крайней мере, хотя и бессознательно, признаем основой наших понятий о нравственности.

Но вышло не так.

Никто, правда, прямо не оспаривает положение о том, что развратничать не надо до брака, не надо и после брака, что не надо искусственно уничтожать деторождение, что не надо из детей делать забавы и не надо ставить любовное соединение выше всего остального, — одним словом,

никто не спорит о том, что целомудрие лучше распущенности. Но говорят: «Если безбрачие лучше брака, то очевидно, что люди должны делать то, что лучше. Если же люди сделают это, то род человеческий прекратится, и потому не может быть идеалом рода человеческого уничтожение его».

Но не говоря уже о том, что уничтожение рода человеческого не есть понятие новое для людей нашего мира, а есть для религиозных людей догмат веры, для научных же людей неизбежный вывод наблюдений об охлаждении солнца, в возражении этом есть большое, распространенное и старое недоразумение.

Говорят: «Если люди достигнут идеала полного целомудрия, то они уничтожаются, и потому идеал этот не верен». Но те, которые говорят так, умышленно или неумышленно смешивают две разнородные вещи — правило, предписание и идеал.

Целомудрие не есть правило или предписание, а идеал или скорее — одно из условий его. А идеал только тогда идеал, когда осуществление его возможно только в идее, в мысли, когда он представляется достижимым только в бесконечности и когда поэтому возможность приближения

к нему — бесконечна. Если бы идеал не только мог быть достигнут, но мы могли б представить себе его осуществление, он бы перестал быть идеалом. Таков идеал Христа, — установление царства Бога на земле, идеал, предсказанный еще пророками о том, что наступит время, когда все люди будут научены Богом, перекуют мечи на орала, копья на серпы, лев будет лежать с ягненком и когда все существа будут соединены любовью. Весь смысл человеческой жизни заключается в движении по направлению к этому идеалу, и потому стремление к христианскому идеалу во всей его совокупности и к целомудрию, как к одному из условий этого идеала, не только не исключает возможности жизни, но, напротив того, отсутствие этого христианского идеала уничтожило бы движение вперед и, следовательно, возможность жизни.

Суждение о том, что род человеческий прекратится, если люди всеми силами будут стремиться к целомудрию, подобно тому, которое сделали бы (да и делают), что род человеческий погибнет, если люди, вместо борьбы за существование, будут всеми силами стремиться к осуществлению любви к друзьям, к врагам, ко всему живущему. Суждения такие вытекают из непонимания раз-

личия двух приемов нравственного руководства.

Как есть два способа указания пути ищущему, указания путешественнику, так есть и два способа нравственного руководства для ищущего правды человека. Один способ состоит в том, что человеку указываются предметы, долженствующие встретиться ему, и он направляется по этим предметам.

Другой способ состоит в том, что человеку дается только направление по компасу, который человек несет с собой и на котором он видит всегда одно неизменное направление и потому всякое свое отклонение от него.

Первый способ нравственного руководства есть способ внешних определений, правил: человеку даются определенные признаки поступков, которые он должен и которых не должен делать.

«Соблюдай субботу, обрезывайся, не крадь, не пей хмельного, не убивай живого, отдавай десятину бедным, не прелюбодействуй, омывайся и молись пять раз в день, крестись, причащайся и т. под.». Таковы постановления внешних религиозных учений: браминского, буддийского, магометанского, еврейского, церковного, ложно называемого христианским.

Другой способ есть способ указания челове-

ку никогда не достижимого им совершенства, стремление к которому человек сознает в себе: человеку указывается идеал, по отношению к которому он всегда может видеть степень своего удаления от него.

«Люби Бога твоего всем сердцем, и всею душой твоей, и всем разумением твоим и ближнего, как самого себя. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный».

Таково учение Христа.

Поверка исполнения внешних религиозных учений есть совпадение поступков с определениями этих учений, и совпадение это возможно.

Поверка исполнения Христова учения есть сознание степени несоответствия с идеальным совершенством. (Степень приближения не видна: видно одно отклонение от совершенства.)

Человек, исповедующий внешний закон, есть человек, стоящий в свете фонаря, привешенного к столбу. Он стоит в свете этого фонаря, ему светло, и идти ему дальше некуда. Человек, исповедующий Христово учение, подобен человеку, несущему фонарь перед собой на более или менее длинном шесте: свет всегда впереди его и всегда побуждает его идти за собой и вновь открывает ему впереди его новое, влекущее к себе освещен-

ное пространство.

Фарисей благодарит Бога за то, что он исполняет все.

Богатый юноша тоже исполнил все с детства и не понимает, чего может недоставать ему. И они не могут думать иначе: впереди их нет того, к чему бы они могли продолжать стремиться. Десятина отдана, суббота соблюдена, родители почтены, прелюбодеяния, воровства, убийства — нет. Чего же еще? Для исповедующего же христианское учение достижение всякой ступени совершенства вызывает потребность вступления на высшую ступень, с которой открывается еще высшая, и так без конца.

Исповедующий закон Христа всегда в положении мытаря. Он всегда чувствует себя несовершенным, не видя позади себя пути, который он прошел, а видя всегда впереди себя тот путь, по которому еще надо идти и который он не прошел еще.

В этом состоит различие учения Христа от всех других религиозных учений, различие, заключающееся не в различии требований, а в различии способа руководства людей. Христос не давал никаких определений жизни, он никогда не устанавливал никаких учреждений, никогда

не устанавливал и брака. Но люди, не понимающие особенности учения Христа, привыкшие к внешним учениям и желающие чувствовать себя правыми, как чувствует себя правым фарисей, противно всему духу учения Христа, из буквы его сделали внешнее учение правил, называемое церковным христианским учением, и этим учением подменили истинное Христово учение идеала.

Церковные, называющие себя христианскими, учения по отношению ко всем проявлениям жизни вместо учения идеала Христа поставили внешние определения и правила, противные духу учения. Это сделано по отношению власти, суда, войска, церкви, богослужения, это сделано и по отношению брака: несмотря на то, что Христос не только никогда не устанавливал брака, но уж если отыскивать внешние определения, то скорее отрицал его («оставь жену и иди за мной»), церковные учения, называющие себя христианскими, установили брак как христианское учреждение, то есть определили внешние условия, при которых плотская любовь может для христианина будто бы быть безгрешною, вполне законною.

Но так как в истинном христианском учении

нет никаких оснований для учреждения брака, то и вышло то, что люди нашего мира от одного берега отстали и к другому не пристали, то есть не верят, в сущности, в церковные определения брака, чувствуя, что это учреждение не имеет оснований в христианском учении, и вместе с тем не видят перед собой закрытого церковным учением идеала Христа, стремления к полному целомудрию и остаются по отношению брака без всякого руководства. От этого-то и происходит то, кажущееся сначала странным, явление, что у евреев, магометан, ламаистов и других, признающих религиозные учения гораздо низшего уровня, чем христианское, но имеющих точные внешние определения брака, семейное начало и супружеская верность несравненно тверже, чем у так называемых христиан.

У тех есть определенное наложничество, многоженство, ограниченное известными пределами. У нас же существует полная распущенность и наложничество, многоженство и многомужество, не подчиненное никаким определениям, скрывающееся под видом воображаемого единобрачия.

Только потому, что над некоторой частью соединяющихся совершается духовенством за деньги известная церемония, называемая

церковным браком, люди нашего мира наивно или лицемерно воображают, что живут в единобрачии.

Христианского брака быть не может и никогда не было, как никогда не было и не может быть ни христианского богослужения (Мф. VI, 5–12; Иоан. IV, 21), ни христианских учителей и отцов (Мф. XXIII, 8–10), ни христианской собственности, ни христианского войска, ни суда, ни государства. Так и понималось это всегда истинными христианами первых и последующих веков.

Идеал христианина есть любовь к Богу и ближнему, есть отречение от себя для служения Богу и ближнему; плотская же любовь, брак, есть служение себе и потому есть, во всяком случае, препятствие служению Богу и людям, а потому с христианской точки зрения — падение, грех.

Вступление в брак не может содействовать служению Богу и людям даже в том случае, если бы вступающие в брак имели бы целью продолжение рода человеческого. Таким людям, вместо того чтобы вступать в брак для произведения детских жизней, гораздо проще поддерживать и спасать те миллионы детских жизней, которые гибнут вокруг нас от недостатка не говорю уже духовной, но материальной пищи.

Только в том случае мог бы христианин без сознания падения, греха вступить в брак, если бы он видел и знал, что все существующие жизни детей обеспечены.

Можно не принимать учения Христа, того учения, которым проникнута вся наша жизнь и на котором основана вся наша нравственность, но, принимая это учение, нельзя не признавать того, что оно указывает идеал полного целомудрия.

В Евангелии ведь сказано ясно и без возможности какого-либо перетолкования — во-первых, то, что женатому не должно разводиться с женой, с тем чтобы взять другую, а должно жить с той, с которой раз сошелся (Мф. V, 31–32; XIX, 8); во-вторых, то, что человеку вообще, и, следовательно, как женатому, так и неженатому, грешно смотреть на женщину как на предмет наслаждения (Мф. V, 28–29), и, в-третьих, то, что неженатому лучше не жениться вовсе, то есть быть вполне целомудренным (Мф. XIX, 10–12).

Для многих и многих мысли эти покажутся странными и даже противоречивыми. И они, действительно, противоречивы, но не между собой, а мысли эти противоречат всей нашей жизни, и невольно является сомнение: кто прав? — мысли ли эти или жизнь миллионов

людей и моя? Это самое чувство испытывал и я в сильнейшей степени, когда приходил к тем убеждениям, которые теперь высказываю: я никак не ожидал, что ход моих мыслей приведет меня к тому, к чему он привел меня. Я ужасался своим выводам, хотел не верить им, но не верить нельзя было. И как ни противоречат эти выводы всему строю нашей жизни, как ни противоречат тому, что я прежде думал и высказывал даже, я должен был признать их.

«Но все это общие соображения, которые, может быть, и справедливы, но относятся к учению Христа и обязательны для тех, которые исповедуют его, но жизнь есть жизнь, и нельзя, указав впереди недостижимый идеал Христа, оставить людей в одном из самых жгучих, общих и производящих наибольшие бедствия вопросов с одним этим идеалом без всякого руководства.

Молодой, страстный человек сначала увлечется идеалом, но не выдержит, сорвется и, не зная и не признавая никаких правил, попадет в полный разврат!»

Так рассуждают обыкновенно.

«Христов идеал недостижим, поэтому не может служить нам руководством в жизни; о нем можно говорить, мечтать, но для жизни он

неприложим, и потому надо оставить его. Нам нужен не идеал, а правило, руководство, которое было бы по нашим силам, по среднему уровню нравственных сил нашего общества: церковный честный брак или хоть даже не совсем честный брак, при котором один из брачующихся, как у нас, мужчина, уже сходился со многими женщинами, или хотя бы брак с возможностью развода, или хотя бы гражданский, или (идя по тому же пути) хотя бы японский на срок, — почему же не дойти и до домов терпимости?»

Говорят, это лучше, чем уличный разврат. В том-то и беда, что, позволив себе принижать идеал по своей слабости, нельзя найти того предела, на котором надо остановиться.

Но ведь это рассуждение с самого начала неверно; неверно прежде всего то, чтобы идеал бесконечного совершенства не мог быть руководством в жизни и чтобы нужно было, глядя на него, или махнуть рукой, сказав, что он мне не нужен, так как я никогда не достигну его, или принизить идеал до тех ступеней, на которых хочется стоять моей слабости.

Рассуждать так — все равно, что мореплавателю сказать себе, что так как я не могу идти по той линии, которую указывает компас, то я

выкину компас или перестану смотреть на него, то есть отброшу идеал, или прикреплю стрелку компаса к тому месту, которое будет соответствовать в данную минуту ходу моего судна, то есть принижу идеал к моей слабости. Идеал совершенства, данный Христом, не есть мечта или предмет риторических проповедей, а есть самое необходимое, всем доступное руководство нравственной жизни людей, как компас — необходимое и доступное орудие руководства морехода; только надо верить как в то, так и в другое. В каком бы ни находился человек положении, всегда достаточно учения идеала, данного Христом, для того, чтобы получить самое верное указание тех поступков, которые должно и не должно совершать. Но надо верить этому учению вполне, этому одному учению, перестать верить во все другие, точно так же как надо мореходу верить в компас, перестать приглядываться и руководиться тем, что он видит по сторонам. Надо уметь руководствоваться христианским учением, как уметь руководствоваться компасом, а для этого, главное, надо понимать свое положение, надо уметь не бояться с точностью определять свое отклонение от идеального данного направления. На какой бы ступени ни стоял

человек, всегда есть для него возможность приближения к этому идеалу, и никакое положение для него не может быть таким, в котором бы он мог сказать, что он достиг его, и не мог бы стремиться к еще большему приближению. Таково стремление человека к христианскому идеалу вообще и таково же к целомудрию в частности. Если представить себе по отношению полового вопроса самые различные положения людей — от невинного детства до брака, — в которых не соблюдается воздержание, на каждой ступени между этими двумя положениями учение Христа с выставляемым им идеалом будет всегда служить ясным и определенным руководством того, что должно и не должно на каждой из этих ступеней делать человеку.

Что делать чистому юноше, девушке? Соблюдать себя чистыми от соблазнов и, для того чтобы быть в состоянии все свои силы отдать на служение Богу и людям, стремиться к большему и большему целомудрию мыслей и желаний.

Что делать юноше и девушке, подпавшим соблазнам, поглощенным мыслями о беспредметной любви или о любви к известному лицу и потерявшим от этого известную долю возможности служить Богу и людям? Все то же:

не попускать себя на падение, зная, что такое попущение не освободит от соблазна, а только усилит его, и все так же стремиться к большему и большему целомудрию для возможности более полного служения Богу и людям.

Что делать людям, когда они не осилили борьбы и пали? Смотреть на свое падение не как на законное наслаждение, как смотрят теперь, когда оно оправдывается обрядом брака, не как на случайное удовольствие, которое можно повторять с другими, не как на несчастие, когда падение совершается с неровней и без обряда, а смотреть на это первое падение как на единственное, как на вступление в неразрывный брак.

Вступление это в брак своим вытекающим из него последствием — рождением детей — определяет для вступивших в брак новую, более ограниченную форму служения Богу и людям. До брака человек непосредственно в самых разнообразных формах мог служить Богу и людям; вступление же в брак ограничивает его область деятельности и требует от него возращения и воспитания происходящего от брака потомства, будущих служителей Богу и людям.

Что делать мужчине и женщине, живущим

в браке и исполняющим то ограниченное служение Богу и людям, через возвращение и воспитание детей, которое вытекает из их положения?

Все то же: стремиться вместе к освобождению от соблазна, очищению себя и прекращению греха, заменой отношений, препятствующих и общему и частному служению Богу и людям, заменой плотской любви чистыми отношениями сестры и брата.

И потому неправда то, что мы не можем руководиться идеалом Христа, потому что он так высок, совершенен и недостижим. Мы не можем руководиться им только потому, что мы сами себе лжем и обманываем себя.

Ведь если мы говорим, что нужно иметь правила более осуществимые, чем идеал Христа, а то иначе мы, не достигнув идеала Христа, впадем в разврат, мы говорим не то, что для нас слишком высок идеал Христа, а только то, что мы в него не верим и не хотим определять своих поступков по этому идеалу.

Говоря, что, раз павши, мы впадем в разврат, мы ведь этим говорим только, что мы вперед уже решили, что падение с неровней не есть грех, а есть забава, увлечение, которое необязательно поправить тем, что мы называем браком. Ес-

ли же бы мы понимали, что падение есть грех, который должен и может быть искуплен только неразрывностью брака и всей той деятельностью, которая вытекает из воспитания детей, рожденных от брака, то падение никак не могло бы быть причиной впадения в разврат.

А то ведь это все равно, как если бы земледелец не считал посевом тот посев, который не удался ему, а, сея на другом и третьем месте, считал бы настоящим посевом тот, который удается ему. Очевидно, что такой человек испортил бы много земли и семян и никогда бы не научился сеять. Только поставьте идеалом целомудрие, считайте, что всякое падение кого бы то ни было с кем бы то ни было есть единственный, неразрывный на всю жизнь брак, и будет ясно, что руководство, данное Христом, не только достаточно, но единственно возможно.

«Человек слаб, надо дать ему задачу по силам», — говорят люди. Это все равно, что сказать: «Руки мои слабы, и я не могу провести линию, которая была бы прямая, то есть кратчайшая между двумя точками, и потому, чтоб облегчить себя, я, желая проводить прямую, возьму за образец себе кривую или ломаную». Чем слабее моя рука, тем нужнее мне совершенный образец.

Нельзя, познав христианское учение идеала, делать так, как будто мы не знаем его, и заменять его внешними определениями. Христианское учение идеала открыто человечеству именно потому, что оно может руководить его в теперешнем возрасте. Человечество уже выжило период религиозных, внешних определений, и никто уже не верит в них.

Христианское учение идеала есть то единое учение, которое может руководить человечеством. Нельзя, не должно заменять идеал Христа внешними правилами, а надо твердо держать этот идеал перед собой во всей чистоте его и, главное, верить в него.

Плавающему недалеко от берега можно было говорить: «держитесь того возвышения, мыса, башни» и т. п.

Но приходит время, когда пловцы удалились от берега, и руководством им должны и могут служить только недостижимые светила и компас, показывающий направление. А то и другое дано нам.

Смерть Ивана Ильича
Предисловие «Полки»

Одна из вершин мировой психологической прозы: хроника смертельной болезни, где умирающий отказывается принять смерть и приходит к пониманию того, чем была его жизнь.

Юрий Сапрыкин

О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

Хроника болезни и умирания мелкого судейского чиновника. Книга о том, как человек переживает приближение конца, как убегает от осознания того факта, что смерть неизбежна, и как все это меняет его понимание прожитой жизни.

КОГДА ОНА НАПИСАНА?

Начало 1880-х для Толстого — время «духовного переворота»: он пересматривает собственную жизнь и формулирует свой символ веры. Замысел рассказа о «простой смерти простого человека»

относится к 1881 году; его первоначальное название — «Смерть судьи». В это же время Толстой готовит к публикации «Исповедь», заканчивает «Исследование догматического богословия»[10] и «Соединение и перевод четырех Евангелий»[11] и начинает работу над трактатами «В чем моя вера?»[12] и «Так что же нам делать?»[13]. Название «Смерть Ивана Ильича» впервые упоминается в письме Софьи Андреевны Толстой к Татьяне Кузминской[14] от 4 декабря 1884 года — она сообщает, что муж читал отрывок из нового рассказа: «…вот пишет-то, точно пережил что-то важное». В первых редакциях повесть — это дневник Ивана Ильича, позже Толстой начинает писать от лица автора. Окончательная редакция текста датирована 25 марта 1886 года.

---

[10] Сноски: 10

«Исследование догматического богословия» — религиозно-философское сочинение Толстого, в котором он исследует православную догматику и излагает собственное понимание Евангелия. За основу работы было взято «Православно-догматическое богословие» московского митрополита Макария. Впервые труд Толстого под заглавием «Критика догматического богословия» был напечатан в Женеве (в 1891 году первый том, в 1896 году — второй). В 1908 году «Исследование» было опубликовано в России.

[11] Сноски: 11

В этой работе Лев Толстой заново переводит с древнегреческого языка Евангелие, пытаясь отделить «истинный» смысл христианства от его последующего церковного искажения. Помимо изложения Евангелий Толстой дает свое понимание христианского учения. В письме Черткову он пишет, что «это сочинение — обзор богословия и разбор

Евангелий — есть лучшее произведение моей мысли, есть та одна книга, которую (как говорят) человек пишет во всю свою жизнь». В 1901 году труд был опубликован в чертковском издательстве в Англии, в 1906 году — как приложение к журналу «Всемирный вестник».

[12] Сноски: 12

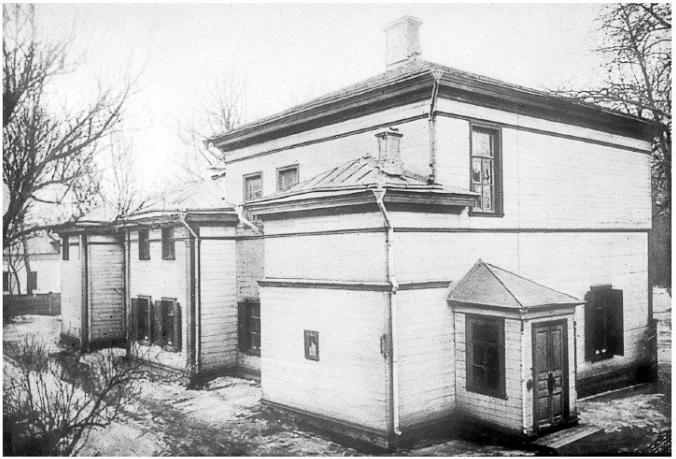
Религиозно-философский трактат, в котором Толстой изложил свое понимание учения Христа и систему убеждений, которую его последователи назовут толстовством. Одна из центральных идей книги — проповедь непротивления злу насилием, составляющая, по мнению Толстого, главную ценность Евангелия. Трактат был опубликован в 1884 году, но арестован цензурой из-за критики Церкви. Был переиздан в Женеве в 1888 году.

[13] Сноски: 13

Работа создавалась по следам московской переписи 1882 года, в которой Толстой лично принимал участие. В первой части книги писатель рассказывает о поразившей его городской нищете, раскаивается в «барском» образе жизни своей семьи, а во второй — пытается найти пути изменения несправедливого устройства общества. Отрывки трактата печатались в журнале «Русское богатство» в 1885–1886 годах. Полностью книга была опубликована в Женеве в 1886 году под заглавием «Какова моя жизнь», а в России — в издательстве «Посредник» в 1906 году.

[14] Сноски: 14

Татьяна Андреевна Кузминская (урожденная Берс; 1846–1925) — писательница, мемуаристка, сестра Софьи Толстой. По словам писателя, Кузминская (наряду с Софьей) была прототипом Наташи Ростовой в «Войне и мире». Писала рассказы, автобиографические повести, сотрудничала с журналом «Вестник Европы». Автор книги воспоминаний «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», опубликованной в 1925–1926 годах.



Дом в Долго-Хамовническом переулке (сейчас улица Льва Толстого), где жила семья Толстых начиная с 1881 года. Фотография 1920 года[15]

КАК ОНА НАПИСАНА?

«Смерть Ивана Ильича» — одна из вершин толстовской интроспекции: автор следит не только за меняющимися чувствами и мыслями, осознанными или неосознаваемыми мотивами поступков, но даже за мельчайшими физиоло-

[15] Сноски: 15

Дом в Долго-Хамовническом переулке, где жила семья Толстых начиная с 1881 года. Фотография 1920 года. Из открытых источников.

гическими ощущениями. Повесть знаменует поворот к «позднему Толстому»: автор как будто пытается приглушить красоту слога, язык становится суше. По выражению литературоведа Сергея Бочарова, «слово автора начало сокращаться и упрощаться, сжиматься, оно начало засыхать и в то же время до крайности обостряться». Риторические фигуры «Смерти Ивана Ильича» напоминают о толстовских трактатах, создававшихся в одно время с повестью, но если в публицистике Толстого все точки окончательно расставлены, здесь на задаваемый героем вопрос «зачем?» автор не дает прямого ответа.

ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?

Знакомство Толстого с Иваном Мечниковым, прокурором тульского суда, история его последующей болезни и смерти. Уход из жизни близких людей — Ивана Тургенева (1883) и князя Леонида Урусова[16] (1885). Собственные размышления о смысле смерти, проходящие через самые раз-

[16] Сноски: 16

Леонид Дмитриевич Урусов (1837–1885) — чиновник, переводчик, общественный деятель. Служил в министерстве иностранных дел, министерстве внутренних дел, был тульским вице-губернатором. В 1877 году Урусов познакомился с Толстым, в 1885 году они вместе совершили путешествие в Симеиз. Перевел на французский толстовский трактат «В чем моя вера?», считал себя последователем Толстого.

ные тексты Толстого — от ранних дневниковых записей до сцены смерти князя Андрея в «Войне и мире», от рассказа «Три смерти» до «Исповеди» и религиозно-философских сочинений 1880-х годов.

КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?

В 1886 году, в очередной, двенадцатой части «Сочинений графа Л. Н. Толстого», издававшихся Софьей Андреевной Толстой.

КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?

Современники оценивают повесть как одну из вершин творчества Толстого и мировой литературы вообще. «Ни у одного народа, нигде на свете нет такого гениального создания, — пишет Толстому Владимир Стасов[17] 25 апреля 1886 года. — Все мало, все мелко, все слабо и блед-

---

[17] Сноски: 17

Владимир Васильевич Стасов (1824–1906) — музыкальный и литературный критик, искусствовед, общественный деятель. Начал публиковаться в 1847 году, сотрудничал с «Отечественными записками». За связь с кружком петрашевцев его арестовали и заключили в Петропавловскую крепость. После освобождения Стасов уехал за границу. В 1854 году вернулся в Россию, поучаствовал в создании группы композиторов «Могучая кучка» (именно Стасов придумал ее название), помогал с организацией первых выставок передвижников. До конца жизни работал заведующим художественным отделом Публичной библиотеки.

но в сравнении с этими 70-ю страницами». Петр Чайковский 12 июля 1886 года пишет в дневнике: «Прочел “Смерть Ивана Ильича”. Более чем когда-либо я убежден, что величайший из всех когда-либо и где-либо бывших писателей-художников, — есть Л. Н. Толстой. Его одного достаточно, чтобы русский человек не склонял стыдливо голову, когда перед ним высчитывают все великое, что дала человечеству Европа…» Николай Лесков находит в повести важное социальное содержание: в статье «О куфельном мужике и проч.» он пишет о том, насколько равнодушны к чужому горю «так называемые образованные люди русского общества», и как «над всем этим бесчувственным сонмищем высоко возвышается и величаво стоит… “куфельный мужик”, который всех участливее, потому что он живет, зная, что ему “самому помирать придется!”». Авторитет Толстого к этому времени непререкаем, и если его религиозно-философские сочинения (находящиеся, впрочем, под цензурным запретом) вызывают споры, то достоинства новой повести не ставятся под сомнение почти никем.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Владимир Набоков в «Лекциях о русской литературе» называет повесть «самым ярким, самым совершенным и самым сложным произведением Толстого». Описанные Толстым переживания отчуждения, заброшенности, трагического абсурда, охватывающие человека на пороге смерти, станут предметом исследования философов-экзистенциалистов: исследователи отмечают, что концепция «бытия-к-смерти»[18] Мартина Хайдеггера во многом совпадает с мыслями о смерти в повести Толстого. Мотивы повести найдут продолжение в самых разных произведениях, имеющих дело со смертью: Чехов в рассказе «Архиерей» вернется к переживанию смерти как освобождения, Бунин в «Господине из Сан-Франциско» вновь покажет, как смерть обессмысливает привычное обыденное существование, для Кафки («Превращение»), Беккета («Мэлон умирает») и модернистской литерату-

[18] Сноски: 18

По Хайдеггеру, один из основных модусов существования, в котором обнаруживается подлинное бытие человека. Смерть нами не выбрана, для нас непредставима, но всегда индивидуальна — ее невозможно ни с кем разделить. Осознание неизбежности смерти возвращает полноту человеческого бытия: знание, что тебя может не быть, дает возможность понимания, что ты по-настоящему существуешь.

ры в целом будут важны описанные Толстым ощущения абсурда и отчуждения, связанные с переживанием собственной смертности.

Существует несколько вольных экранизаций повести, самая известная из них — «Жить» Акиры Куросавы (1952), а самая курьезная — «Иван под экстази» (2000), независимое американское кино о сексе, наркотиках и смерти голливудского продюсера. Ближе всего к духу повести подходит картина Александра Кайдановского «Простая смерть» (1985).

КАК ТОЛСТОЙ ПОНИМАЕТ СМЕРТЬ?

«Если человек научился думать, про что бы он ни думал, он всегда думает о своей смерти» — эти слова Толстого, сказанные в 1902 году в крымской Гаспре (когда сам Толстой был тяжело болен), приводит в своих воспоминаниях Горький. Мысли о смерти пронизывают дневник Толстого (он ведет его с перерывами с 1847 по 1910 год), его художественные произведения, публицистику и философские трактаты: смерть — отправная точка или, скорее, непробиваемая стена, от которой отталкивается толстовская мысль. С мыслью о смерти невозможно примириться: человеческое «я» не в состоянии представить и принять

необходимость разрушения самого себя. И вместе с тем мысль о смерти вырывает человека из круговорота обыденности и возвращает к главным вопросам: зачем мы живем, что мы должны делать, в чем смысл и оправдание жизни.

Кульминационная точка переживаний Толстым собственной смертности — эпизод, случившийся 1 сентября 1869 года и известный под названием «арзамасский ужас», Толстой пишет о нем в неоконченной повести «Записки сумасшедшего» (1884–1903). Остановившись по пути в Пензенскую губернию в небольшой гостинице в Арзамасе, посреди ночи Толстой переживает необъяснимый страх и чувствует физическое присутствие смерти: «Да что это за глупость, — сказал я себе, — чего я тоскую, чего боюсь». — «Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут». Смерть создает неразрешимое, непостижимое для разума противоречие («Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть»). Перед лицом смерти теряет смысл вся прошедшая и предстоящая жизнь: «Я живу, жил, я должен жить, и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь. Дожидаться смерти, когда придет? Боюсь еще хуже».

Размышления о смерти сопровождают «духовный переворот», происходящий в жизни Толстого в конце 1870-х — начале 1880-х годов. Осознание неизбежности смерти приводит Толстого к тому, что сам он называет «остановкой жизни»: «Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: “Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..”» Толстой сталкивается с вопросом, как он сформулирован в «Исповеди»: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?» Поиск такого смысла заставляет Толстого искать спасения в религии, а затем приводит к мысли о ее несовершенстве, о необходимости исправления и очищения христианства. Здесь же истоки социально-нравственного учения, ставшего известным как толстовство: именно перед лицом смерти человек понимает, что необходимо отказаться от любых форм принуждения и власти над ближним, которые несут с собой государство, собственность, цивилизация и культура. «Все наши действия, рассуждения, наука, искусства — все это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысла в этом нельзя».

12 января 1895 года Софья Андреевна записывает в дневнике реплику мужа: «Жизнь не была бы так интересна, если б не было этой вечной загадки впереди — смерти». 7 сентября этого же года Толстой сам пишет в дневнике: «В последнее время очень близко чувствую смерть. Кажется, что жизнь матерьяльная держится на волоске и должна очень скоро оборваться. Все больше и больше привыкаю к этому и начинаю чувствовать — не удовольствие, а интерес ожидания». «Вот конец, и ничего!» — одна из последних фраз, которые Толстой произносит перед смертью. В этих и многих других высказываниях позднего Толстого звучит уже не страх, а смирение, принятие смерти — подобное тому, что испытывает в последние секунды герой его повести Иван Ильич Головин.

ЧТО ГОВОРИТСЯ О СМЕРТИ В ДРУГИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТОЛСТОГО?

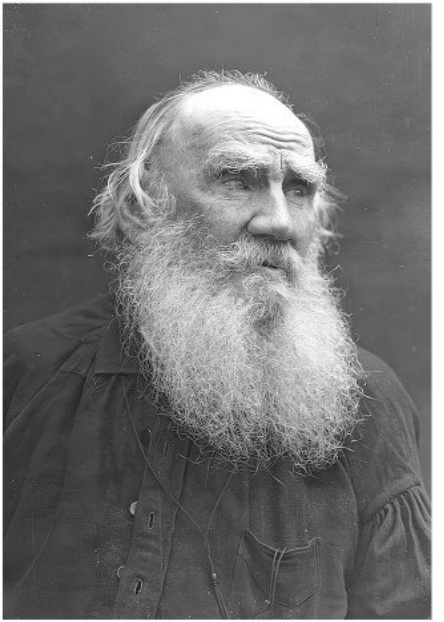
Смерть возникает на первых же страницах первой повести Толстого «Детство»: ее главный герой Николенька рассказывает своему учителю Карлу Ивановичу выдуманный им сон — ему будто бы снилось, что маменька умерла. «Детство» заканчивается настоящей смертью матери, которая

заставляет Николеньку испытать «самолюбивое чувство: то желание показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии, которое я произвожу на других, то бесцельное любопытство, которое заставляло делать наблюдения над чепцом Мими и лицами присутствующих. Я презирал себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать все другие; от этого печаль моя была неискренна и неестественна» (тонкий психологический анализ, который отзовется впоследствии в первой главе «Ивана Ильича»).

В рассказе «Три смерти» (1859) Толстой приходит к мысли о том, что у смерти есть своего рода степени качества, она может быть более правильной, достойной и справедливой — или менее: Толстой противопоставляет смерть чахоточной барыни, лихорадочно цепляющейся за жизнь в Италии, мужика, покорно умирающего в ямщицкой избе, и дерева, которое срубили, чтобы поставить крест на могилу мужика. И Толстой здесь отдает предпочтение даже не мужику, который принимает смерть со смирением и достоинством, а дереву, смерть которого включена в естественный круговорот жизни.

В описании смерти князя Болконского в «Войне

и мире» появляется еще один важный для Толстого образ — смерть как пробуждение от сна: «“Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение!” — вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором». Описание смерти Николая Левина в «Анне Карениной» предельно физиологично: страдание приводит к его отчуждению от всех окружающих, отстранению от всей предшествующей земной жизни, и смерть ощущается в этот момент как освобождение: «В нем, очевидно, совершался тот переворот, который должен был заставить его смотреть на смерть как на удовлетворение его желаний, как на счастие».



Лев Толстой в 1910 году. Фотография Владимира Черткова[19]

Наконец, в рассказе «Хозяин и работник», написанном через десять лет после «Ивана Ильича», мы вновь встречаемся с пониманием смерти

[19] Сноски: 19
Лев Толстой в 1910 году. Фотография Владимира Черткова. Из открытых источников.

как освобождения, точки, в которой приходит понимание истинного значения жизни, и дела — самого важного, которое только возможно совершить в жизни. Попавший в метель купец спасает своего возницу — и сам чувствует себя работником, который верно исполнил волю Хозяина: «Он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался. “Что ж, ведь он не знал, в чем дело, — думает он про Василья Брехунова. — Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. Теперь знаю”».

КАК ТОЛСТОЙ ПЕРЕДАЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СТАДИИ УМИРАНИЯ?

Смерть — это пробуждение, но даже приближение к смерти вырывает человека из «сна жизни». Все знакомое становится странным: умирающий Иван Ильич перестает понимать то, что раньше казалось очевидным, ощущает собственное тело как чужое, чувствует ложь и фальшь привычного уклада жизни. «В этом смысле умирание и надвигающаяся смерть есть самое радикальное

остранение, на какое способен человек»[20].

Уже после первого приема у доктора Иван Ильич смотрит на мир другими глазами: «Все грустно показалось Ивану Ильичу на улицах. Извозчики были грустны, дома грустны, прохожие, лавки грустны». Иван Ильич пытается вернуться в круг обыденности: он начинает маниакально исполнять предписания доктора, но попытка заново запустить механику повседневности не срабатывает — любой сбой жизненного механизма, который раньше остался бы незамеченным, приводит его в отчаяние. Боль все сильнее отчуждает его от близких, продолжающих вести привычную жизнь; он начинает видеть в этой жизни — и в дежурной заботе о нем — ложь. Тело воспринимается как нечто чуждое, не подчиняющееся; вся ситуация, в которой оказался Иван Ильич, переживается как непристойная — по контрасту с «пристойностью» и «приятностью» всей предшествующей жизни. Наконец, он сталкивается с осознанием неизбежного: «Меня не будет, так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет?»

---

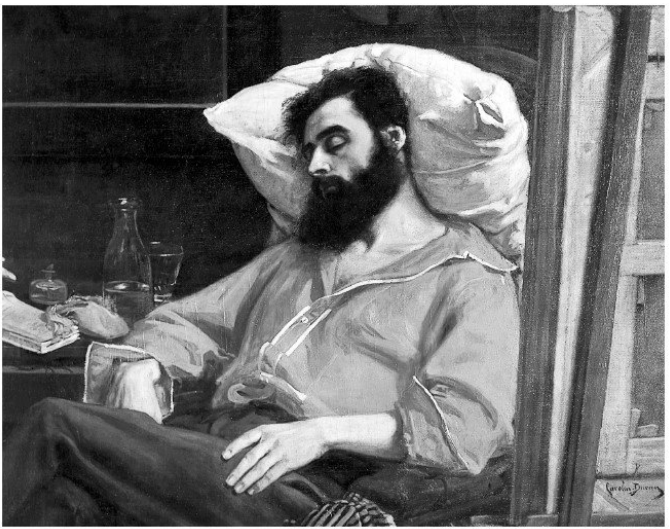
[20] Сноски: 20

Ханзен-Лёве О. А. В конце туннеля… Смерти Льва Толстого // Новое литературное обозрение. № 109 (3). 2011.

Венгерский литературовед Золтан Хайнади, прослеживая параллели между Толстым и Хайдеггером, замечает, что осознание собственной смертности приводит толстовского героя от неподлинного бытия к подлинному: «Перед лицом смерти человек — отворачиваясь от мира вещей — обращается к самому себе». Смерть это не «то, что бывает с другими», она происходит непосредственно с тобой и ставит именно тебя перед вопросом — что ты такое. Иван Ильич перебирает воспоминания и впечатления жизни и находит то самое, «настоящее», только в памяти о детстве: «Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали есть нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки».

Время в свете болезни начинает течь по-другому: «Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было — все было все равно, все было одно и то же: ноющая, ни на мгновение не утихающая, мучительная боль». Это остановившееся время заполнено переживанием физической

боли и тотальной бессмысленности — прожитой жизни, переживаемых страданий, предстоящей смерти. «И, лежа почти все время лицом к стене, он одиноко страдал все те же неразрешающиеся страдания и одиноко думал все ту же неразрешающуюся думу. Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: да, правда. Зачем эти муки? И голос отвечал: а так, ни зачем. Дальше и кроме этого ничего не было».



Каролюс-Дюран. Выздоровление[21]

И все же Иван Ильич продолжает цепляться — уже не за жизнь, а за иллюзию правильности прожитой жизни; даже в трехдневной агонии, когда его существование низведено к непрерывной физической боли: «Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признанье того, что жизнь его была хорошая». Лишь на самом пороге смерти он принимает мысль, что жизнь его была «не то», жалеет родных, освобождается от иллюзии собственной бесконечной значимости. Только приняв собственную смерть, Иван Ильич побеждает ее. «Кончена смерть, — сказал он себе. — Ее нет больше».

КАК ГЕРОИ ПОВЕСТИ ПЫТАЮТСЯ УБЕЖАТЬ ОТ СТРАХА СМЕРТИ?

В самом начале повести мы видим, о чем думают коллеги Ивана Ильича, получившие известие о его смерти. «…Первая мысль каждого из господ, собравшихся в кабинете, была о том, какое зна-

[21] Сноски: 21
Каролюс-Дюран. Выздоровление. Около 186о года. Музей Орсе, Париж.

чение может иметь эта смерть на перемещения или повышения самих членов или их знакомых». Помимо карьерных перспектив, товарищи покойного с тоской думают о том, что им теперь «надобно исполнить очень скучные приличия», отправившись на панихиду и с визитом к вдове, и с радостью — о том, что смерть опять случилась с другим: “Каково, умер; а я вот нет”, — подумал или почувствовал каждый».

Толстой пишет об этом не как о частном случае; это естественный ход мысли обычного человека, таким же обычным человеком был и Иван Ильич. Уже тяжело больным он вспоминает школьный курс логики: «Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему». Смерть — удел всех людей, но конкретный уникальный «я» — это совсем другое дело. Это отделение себя от «обычных людей», взгляд на их жизнь как нечто не имеющее к нему отношения, возможно даже иллюзорное, и делает Ивана Ильича самым заурядным человеком. По Толстому, именно невозможность почувствовать чужое страдание, пережить общую участь, перед

которой все люди равны, создает тут коллективную иллюзию, в которой пребывают «обычные люди», делает их существование механическим, неосознанным, неподлинным. Как пишет Лев Шестов, «дело тут не в ординарности Ивана Ильича, а в ординарности “общего всем мира”, который считается не Иваном Ильичом, а лучшими представителями человеческой мысли единственно реальным миром».

КТО ИЗ ГЕРОЕВ ПОВЕСТИ ПРАВИЛЬНО ОТНОСИТСЯ К СМЕРТИ?

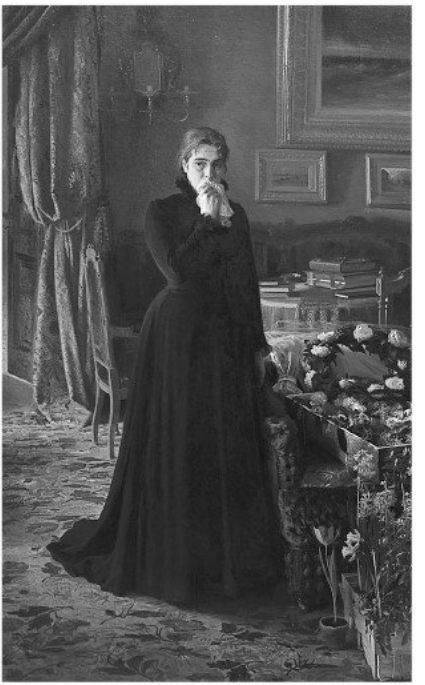
Как и почти всегда в текстах Толстого, примером правильного (что почти всегда у Толстого означает — «органического», «естественного») отношения к жизни и смерти оказывается человек из народа: «буфетный мужик» Герасим. В то время как все окружающие пытаются, проявив формальное сочувствие, отделаться от страданий Ивана Ильича, Герасим проявляет к нему простое человеческое участие. По мере того как Иван Ильич становится все более беспомощным, Герасим постепенно берет на себя обязанности, с которыми тот не в силах справиться, включая самую грязную работу. Наконец, Герасим — единственный, кто попросту жалеет умирающего:

«…Ивану Ильичу в иные минуты, после долгих страданий, больше всего хотелось, как ему ни совестно бы было признаться в этом, — хотелось того, чтоб его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь. Ему хотелось, чтоб его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей». Это отношение к нему чужого человека показывает Ивану Ильичу, насколько важны простые человеческие чувства, которых он старательно избегал в жизни: как пишет Николай Лесков, Герасим «перед отверстым гробом… научил барина ценить истинное участие к человеку страждущему, — участие, перед которым так ничтожно и противно все, что приносят друг другу в подобные минуты люди светские».

ПОЧЕМУ ПОВЕСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ТОГО, ЧТО ИВАН ИЛЬИЧ УЖЕ УМЕР?

В первых редакциях повесть начинается с того, что вдова вручает дневник Ивана Ильича его сослуживцу, дальше мы читаем уже дневниковые записи. Когда Толстой понял, что не может вести повествование от лица человека с угасающим сознанием, и перешел к рассказу от лица автора, такая композиционная необходимость отпала. Но эпизод с визитом к вдове остался на месте, и у

него появилась новая роль.



Иван Крамской. Неутешное горе[22]

[22] Сноски: 22

Иван Крамской. Неутешное горе. 1884 год. Государственная Третьяковская галерея.

Через реакции второстепенных персонажей, которые больше не появятся в повести, здесь вводятся не только ее тема и главный герой, но и основные мотивы и образы — от стандартных психологических уловок, позволяющих уйти от мысли о смерти, до понимания смерти как важнейшего в жизни дела, которое должно быть достойно исполнено. Эта глава — концентрированная демонстрация фальши, которая присутствует в обыденном существовании и которая, как будет показано позже, в полной мере была свойственна жизни Ивана Ильича; теперь же поводом для проявления этой фальши становится его смерть. Характерен в этом смысле эпизод с «бунтом вещей» — Толстой с почти абсурдной подробностью описывает неловкость, возникшую при встрече товарища Ивана Ильича с его вдовой: «Садясь на диван и проходя мимо стола (вообще вся гостиная была полна вещиц и мебели), вдова зацепилась черным кружевом черной мантилии за резьбу стола. Петр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама стала отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел, придавив бунтовавшийся под ним пуф. Но вдова не все отцепила,

и Петр Иванович опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже щелкнул…» — и так далее. Как пишет литературовед Марк Щеглов, неестественное поведение вещей здесь обличает неестественность поведения людей, им так же неловко произносить дежурные слова скорби, как отцеплять кружево от резьбы стола или усаживаться на волнующийся пуф[23].

Начало повести по хронологии следует за ее финалом, и это замыкает круговорот страдания. Понимание жизни, к которому приходит перед смертью Иван Ильич, исчезает вместе с ним, окружающие ничего не поняли и ничему не научились, их мир остался таким же, как был, их в свой черед ждет такое же страшное предсмертное столкновение со своим подлинным «я». Как писал литературовед Эдуард Володин, «первая глава должна восприниматься не как прелюдия к жизни героя… это безапелляционный приговор машине, истребляющей человека и время»[24].

---

[23] Сноски: 23

Щеглов М. А. Повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича» // Щеглов М. А. Литературно-критические статьи. — М.: Наука, 1958. — С. 45–56.

[24] Сноски: 24

Володин Э. Ф. Повесть о смысле времени («Смерть Ивана Ильича» Л. Н. Толстого) // Контекст 1984. Литературно-теоретические исследования. М., 1986.

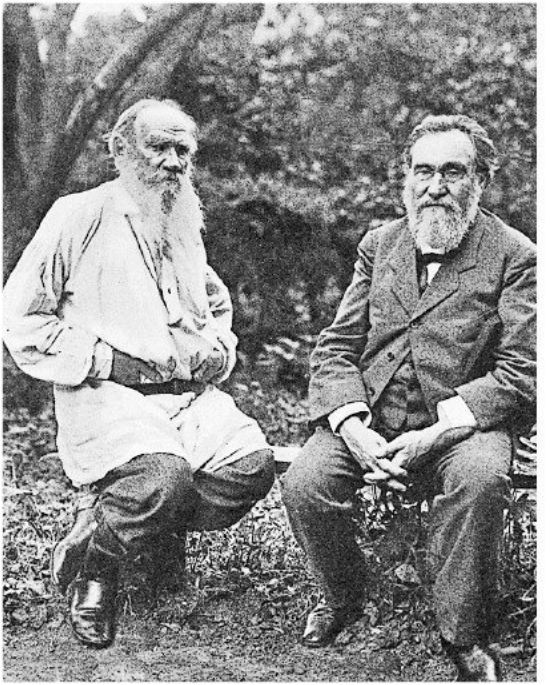
КТО БЫЛ ПРОТОТИПОМ ИВАНА ИЛЬИЧА?

Иван Ильич Мечников, тульский судья, брат ученого-физиолога Ильи Мечникова.

Татьяна Кузминская, сестра жены Толстого, пишет в своей книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне»: «Иван Ильич Мечников был человек лет 36–38… Он умер раньше своей жены и послужил Льву Николаевичу прототипом главного героя в повести “Смерть Ивана Ильича”. Жена рассказывала мне впоследствии его предсмертные мысли, разговоры о бесплодности проведенной им жизни, которые я и передала Льву Николаевичу. Я видела, как в пребывание Мечникова в Ясной Поляне Лев Николаевич прямо влюбился в него, почуяв своим художественным чутьем незаурядного человека». Современники действительно вспоминали о Мечникове как о человеке в высшей степени достойном, и сам Толстой отмечал, что тот «очень умен» (что несколько расходится с описанием Ивана Ильича в повести).

Как и герой повести, Мечников умирает в 45 лет. В момент ухудшения состояния Ивана Ильича его родные собираются на спектакль с участием Сары Бернар, которая действительно гастролировала в Петербурге и Москве зимой

1881/82 года; из этого следует, что последним местом жительства Ивана Ильича была Москва (а не Тула, как у Мечникова). Это не единственное расхождение судьбы героя повести и его прототипа: по воспоминаниям брата, Мечников умер от гнойного заражения и до самого конца сохранял полную ясность ума. «Пока я сидел у его изголовья, он сообщал мне свои размышления, преисполненные величайшим позитивизмом. Мысль о смерти долго страшила его. “Но так как все мы должны умереть”, то он кончил тем, что “примирился, говоря себе, что в сущности между смертью в 45 лет или позднее — лишь одна количественная разница”».



Лев Толстой и профессор Илья Мечников[25]

[25] Сноски: 25
Лев Толстой и профессор Илья Мечников. 1909 год. РИА Новости.

ЗАЧЕМ ТОЛСТОЙ ТАК ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕТ О КАРЬЕРЕ ИВАНА ИЛЬИЧА?

История жизни Ивана Ильича — это в огромной степени история его карьеры, и в повести она рассказана чрезвычайно подробно. Выйдя из училища правоведения, он отправляется в провинцию чиновником по особым поручениям при губернаторе, через пять лет его переводят в другую губернию судебным следователем, еще через семь лет — в третью губернию на место прокурора. Проходит еще семь лет, Иван Ильич ожидает «места председателя в университетском городе», но оно достается другому. Наконец герой повести получает устраивающую его должность, которая Толстым не называется, — мы знаем лишь, что она ставит Ивана Ильича на две ступени выше товарищей, относится к тому же министерству и предполагает жалованье в размере 5000 рублей в год. Если бы не болезнь, его карьерный рост, очевидно, продолжился бы: в начале повести мы узнаем, что отец Ивана Ильича, Илья Ефимович Головин, был тайным советником (гражданский чин, в котором находились министры и сенаторы) и дослужился

до того положения, которое позволяет получать «выдуманные фиктивные места и нефиктивные тысячи от шести до десяти, с которыми и доживают до глубокой старости».



Императорское училище правоведения в Санкт-Петербурге. Фотография 1903 года[26]

То, что Иван Ильич служит в судебном ведомстве, в контексте повести не случайно. Во-первых, именно в годы его службы, начиная

[26] Сноски: 26

Императорское училище правоведения в Санкт-Петербурге. Фотография Н. Н. Ольшевского. 1903 год. Из открытых источников.

с 1864 года, в России разворачивается судебная реформа. Учреждается суд присяжных, несменяемость судей, независимость адвокатского корпуса. Иван Ильич находится на переднем крае этих изменений. Во-вторых, с точки зрения позднего Толстого, суд и законы, даже идеально устроенные, суть учреждения глубоко противоестественные; то, что одни люди берут на себя право распоряжаться судьбами и жизнью других людей, — само по себе неправильно. В своей службе Иван Ильич «быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы»; оказавшись на приеме у доктора, он с изумлением обнаруживает, как этот принцип применяется теперь к нему самому: «Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид». Размышляя над тем, как бессмысленно и неправильно была прожита жизнь, Иван Ильич вспоминает слова судебного пристава «суд идет!» и понимает, что теперь они относятся к нему самому: «Суд идет, идет суд, — повторил он себе. — Вот он, суд! Да я же не виноват! — вскрикнул он с злобой. — За что?» Был судья, стал подсудимый, и этот суд гораздо серьезнее любого человеческого: перед лицом

смерти и это понятие обнаруживает свой истинный смысл и масштаб.

ПОЧЕМУ ТОЛСТОЙ ГОВОРИТ, ЧТО ЖИЗНЬ ИВАНА ИЛЬИЧА БЫЛА УЖАСНА?

«Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная» — с этой фразы в повести начинается история ее главного героя. Толстой как будто ставит знак равенства между двумя понятиями: самая обыкновенная жизнь и есть жизнь самая ужасная, жизнь Ивана Ильича ужасна в той же степени, что и жизнь любого человека, который живет «как все».

Иван Ильич хочет, чтобы жизнь его была «приятной» и «приличной». «Приятное» — это все легкое и необременительное, то, что позволяет скользить по поверхности, не задумываясь о сути. Так, служба Ивана Ильича приятна благодаря его умению облекать любое дело «в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение». «Приличное» — это то, «что считалось таковым наивысше поставленными людьми»; не только проекция мнения начальства, но вообще одоб-

ряемое обществом поведение, «все то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода». Жизнь Ивана Ильича формируется разными силами: заведенным в обществе порядком, формальной машиной судопроизводства, неписаными правилами «приличия» и вкусами его окружения — но только не им самим. Когда жена, требуя внимания к себе, нарушает «приятность» и «приличие», Иван Ильич отдаляется от семьи и уходит туда, где можно следовать заведенному распорядку, не прикладывая душевных сил: «Иван Ильич все более и более переносил центр тяжести своей жизни в службу». В конце концов главной радостью его жизни становится бессмысленное убийство времени: «Радости служебные были радости самолюбия; радости общественные были радости тщеславия; но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт». Отделка квартиры, его последнее увлечение, опять же связана исключительно с декоративной стороной, наведением глянца на поверхность жизни, и это декорирование все так же подчиняется вкусам и представлениям его окружения.

То, что переживает Иван Ильич на пороге смерти, можно сравнить с мгновенным про-

светлением в дзен-буддизме: вещи внезапно открываются ему своей истинной стороной, прошедшая жизнь обнаруживает свое подлинное значение. «С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад и вдруг узнаешь настоящее направление». То, что казалось в предшествующей жизни приятным и приличным, теперь переживается как фальшивое и ложное, а «настоящее направление» ощущается лишь в отблесках воспоминаний из детства — и заставляет умирающего Ивана Ильича впервые в жизни испытать жалость к жене и сыну, который со слезами на глазах припадает к его руке. «Он хотел сказать еще “прости», но сказал “пропусти”, и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо».

ВИДИТ ЛИ ТОЛСТОЙ ВЫСШИЙ СМЫСЛ В СТРАХЕ СМЕРТИ?

«С тех пор как люди стали думать, они признали, что ничто столь не содействует нравственной жизни людей, как памятование о смерти», — пишет Толстой в «Круге чтения». О «пограничных ситуациях», которые вырывают человека из сферы обыденности и возвращают его к подлинному

бытию, много будут говорить философы-экзистенциалисты, в частности Карл Ясперс; все эти ситуации — будь то внезапная болезнь, душевное потрясение или акт самопожертвования — объединяет острое переживание конечности жизни. Это переживание создает новую шкалу ценностей, которая позволяет перестроить жизнь, найти в ней нечто, что не будет уничтожено страданиями и смертью, — хотя пограничная ситуация не всегда оставляет время для такого духовного переворота.

И вместе с тем Толстой пишет о страхе смерти как о состоянии, которое должно быть преодолено. В своих поздних сочинениях Толстой описывает этот страх как проявление себялюбия, человеческого эго, которое занято только собой. В трактате «О жизни» он пишет: «Страх смерти происходит только от страха потерять благо жизни с ее плотской смертью. Если же бы человек мог полагать свое благо в благе других существ, т. е. любил бы их больше себя, то смерть не представлялась бы ему тем прекращением блага и жизни, каким она представляется человеку, живущему только для себя». Именно это понимание жизни открывается на пороге смерти Ивану Ильичу: жизнь для других, любовь и со-

страдание к близким и есть то, что открывается перед уходом. «Да, все было не то, — сказал он себе, — но это ничего. Можно, можно сделать то”».

Финальную сцену «Ивана Ильича» можно трактовать и другим образом: Иван Ильич постигает не только истинное содержание жизни, но и значение смерти. Он принимает смерть и тем самым освобождается от страха, а в каком-то смысле и от самой смерти: кто не боится умирать, тот и не сможет умереть. «Он признает, что смерть не является наказанием и относится к порядку устройства мира, — пишет венгерский литературовед Золтан Хайнади. — Это закон, которому подчинены все люди: ни один человек не является бессмертным. Признав это, он сразу освобождается от трепета и страха смерти, он становится свободным. Значит, свобода находится не в начале, а в конце».

I

В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек, и зашел разговор о знаменитом красовском деле. Федор Васильевич разгорячился, доказывая неподсудность, Иван Егорович стоял на своем, Петр же Иванович, не вступив сначала в спор, не принимал в нем участия и просматривал только что поданные «Ведомости».

— Господа! — сказал он, — Иван Ильич-то умер.

— Неужели?

— Вот, читайте, — сказал он Федору Васильевичу, подавая ему свежий, пахучий еще номер.

В черном ободке было напечатано: «Прасковья Федоровна Головина с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о кончине возлюбленного супруга своего, члена Судебной палаты, Ивана Ильича Головина, последовавшей 4 февраля сего 1882 года. Вынос тела в пятницу, в 1 час пополудни».

Иван Ильич был сотоварищ собравшихся гос-

под, и все любили его. Он болел уже несколько недель; говорили, что болезнь его неизлечима. Место оставалось за ним, но было соображение о том, что в случае его смерти Алексеев может быть назначен на его место, на место же Алексеева — или Винников, или Штабель. Так что, услыхав о смерти Ивана Ильича, первая мысль каждого из господ, собравшихся в кабинете, была о том, какое значение может иметь эта смерть на перемещения или повышения самих членов или их знакомых.

«Теперь, наверно, получу место Штабеля или Винникова, — подумал Федор Васильевич. — Мне это и давно обещано, а это повышение составляет для меня восемьсот рублей прибавки, кроме канцелярии».

«Надо будет попросить теперь о переводе шурина из Калуги, — подумал Петр Иванович. — Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для ее родных».

— Я так и думал, что ему не подняться, — вслух сказал Петр Иванович. — Жалко.

— Да что у него, собственно, было?

— Доктора не могли определить. То есть определяли, но различно. Когда я видел его последний

раз, мне казалось, что он поправится.

— А я так и не был у него с самых праздников. Все собирался.

— Что, у него было состояние?

— Кажется, что-то очень небольшое у жены. Но что-то ничтожное.

— Да, надо будет поехать. Ужасно далеко жили они.

— То есть от вас далеко. От вас всё далеко.

— Вот не может мне простить, что я живу за рекой, — улыбаясь на Шебека, сказал Петр Иванович. И заговорили о дальности городских расстояний, и пошли в заседание.

Кроме вызванных этой смертью в каждом соображений о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я.

«Каково, умер; а я вот нет», — подумал или почувствовал каждый. Близкие же знакомые, так называемые друзья Ивана Ильича, при этом подумали невольно и о том, что теперь им надобно исполнить очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом

соболезнования.

Ближе всех были Федор Васильевич и Петр Иванович.

Петр Иванович был товарищем по училищу правоведения и считал себя обязанным Иваном Ильичом.

Передав за обедом жене известие о смерти Ивана Ильича и соображения о возможности перевода шурина в их округ, Петр Иванович, не ложась отдыхать, надел фрак и поехал к Ивану Ильичу.

У подъезда квартиры Ивана Ильича стояла карета и два извозчика. Внизу, в передней у вешалки прислонена была к стене глазетовая крышка гроба с кисточками и начищенным порошком галуном. Две дамы в черном снимали шубки. Одна, сестра Ивана Ильича, знакомая, другая — незнакомая дама. Товарищ Петра Ивановича, Шварц, сходил сверху и, с верхней ступени увидав входившего, остановился и подмигнул ему, как бы говоря: «Глупо распорядился Иван Ильич; то ли дело мы с вами».

Лицо Шварца с английскими бакенбардами и вся худая фигура во фраке имела, как всегда, изящную торжественность, и эта торжественность, всегда противоречащая характеру игри-

вости Шварца, здесь имела особенную соль. Так подумал Петр Иванович.

Петр Иванович пропустил вперед себя дам и медленно пошел за ними на лестницу. Шварц не стал сходить, а остановился наверху. Петр Иванович понял зачем: он, очевидно, хотел сговориться, где повинтить нынче. Дамы прошли на лестницу к вдове, а Шварц, с серьезно сложенными, крепкими губами и игривым взглядом, движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца.

Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. Насчет того, что нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен и потому выбрал среднее: войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться. Насколько ему позволяли движения рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату. Два молодые человека, один гимназист, кажется, племянники, крестясь, выходили из комнаты. Старушка стояла неподвижно. И дама с странно поднятыми бровями что-то ей говорила шепотом. Дьячок в сюртуке, бодрый, решительный, читал что-то громко с выражением, исключающим

всякое противоречие; буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то посыпал по полу. Увидав это, Петр Иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося трупа. В последнее свое посещение Ивана Ильича Петр Иванович видел этого мужика в кабинете; он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Петр Иванович все крестился и слегка кланялся по серединному направлению между гробом, дьячком и образами на столе в углу. Потом, когда это движение крещения рукою показалось ему уже слишком продолжительно, он приостановился и стал разглядывать мертвеца.

Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки, утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшеюся головой на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизами на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу. Он очень переменился, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное — значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно

было сделать, сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым. Напоминание это показалось Петру Ивановичу неуместным или, по крайней мере, до него не касающимся. Что-то ему стало неприятно, и потому Петр Иванович еще раз поспешно перекрестился и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с приличиями, повернулся и пошел к двери. Шварц ждал его в проходной комнате, расставив широко ноги и играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича. Петр Иванович понял, что он, Шварц, стоит выше этого и не поддается удручающим впечатлениям. Один вид его говорил: инцидент панихиды Ивана Ильича никак не может служить достаточным поводом для признания порядка заседания нарушенным, то есть что ничто не может помешать нынче же вечером щелконуть, распечатывая ее, колодой карт, в то время как лакей будет расставлять четыре необожженные свечи; вообще нет основания предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер. Он и сказал это шепотом проходившему

Петру Ивановичу, предлагая соединиться на партию у Федора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Прасковья Федоровна, невысокая, жирная женщина, несмотря на все старания устроить противное, все-таки расширявшаяся от плеч книзу, вся в черном, с покрытой кружевом головой и с такими же странно поднятыми бровями, как и та дама, стоявшая против гроба, вышла из своих покоев с другими дамами и, проводив их в дверь мертвеца, сказала:

— Сейчас будет панихида; пройдите.

Шварц, неопределенно поклонившись, остановился, очевидно, не принимая и не отклоняя этого предложения. Прасковья Федоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала:

— Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича… — и посмотрела на него, ожидая от него соответствующие этим словам действия.

Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «Поверьте!» И он так и сделал. И, сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый: что он тронут и она тронута.

— Пойдемте, пока там не началось; мне надо поговорить с вами, — сказала вдова. — Дайте мне руку.

Петр Иванович подал руку, и они направились во внутренние комнаты, мимо Шварца, который печально подмигнул Петру Ивановичу: «Вот те и винт! Уж не взыщите, другого партнера возьмем. Нешто впятером, когда отделаетесь», — сказал его игривый взгляд.

Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку. Войдя в ее обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а Петр Иванович на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф. Прасковья Федоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул, но нашла это предупреждение не соответствующим своему положению и раздумала. Садясь на этот пуф, Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелеными листьями кретоне. Садясь на диван и проходя мимо стола (вообще вся гостиная была полна вещиц и мебели), вдова зацепилась черным кружевом черной мантилии за резьбу стола.

Петр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама стала отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел, придавив бунтовавшийся под ним пуф. Но вдова не все отцепила, и Петр Иванович опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже щелкнул. Когда все это кончилось, она вынула чистый батистовый платок и стала плакать. Петра же Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел насупившись. Неловкое это положение перервал Соколов, буфетчик Ивана Ильича, с докладом о том, что место на кладбище то, которое назначила Прасковья Федоровна, будет стоить двести рублей. Она перестала плакать и, с видом жертвы взглянув на Петра Ивановича, сказала по-французски, что ей очень тяжело. Петр Иванович сделал молчаливый знак, выражавший несомненную уверенность в том, что это не может быть иначе.

— Курите, пожалуйста, — сказала она великодушным и вместе убитым голосом и занялась с Соколовым вопросом о цене места. Петр Иванович, закуривая, слышал, что она очень обстоятельно расспросила о разных ценах земли и определила ту, которую следует взять. Кроме

того, окончив о месте, она распорядилась и о певчих. Соколов ушел.

— Я все сама делаю, — сказала она Петру Ивановичу, отодвигая к одной стороне альбомы, лежавшие на столе; и, заметив, что пепел угрожал столу, не мешкая подвинула Петру Ивановичу пепельницу и проговорила: — Я нахожу притворством уверять, что я не могу от горя заниматься практическими делами. Меня, напротив, если может что не утешить… а развлечь, то это заботы о нем же. — Она опять достала платок, как бы собираясь плакать, и вдруг, как бы пересиливая себя, встряхнулась и стала говорить спокойно:

— Однако у меня дело есть к вам.

Петр Иванович поклонился, не давая расходиться пружинам пуфа, тотчас же зашевелившимся под ним.

— В последние дни он ужасно страдал.

— Очень страдал? — спросил Петр Иванович.

— Ах, ужасно! Последние не минуты, а часы он не переставая кричал. Трое суток сряду он, не переводя голосу, кричал. Это было невыносимо. Я не могу понять, как я вынесла это; за тремя дверьми слышно было. Ах! что я вынесла!

— И неужели он был в памяти? — спросил Петр Иванович.

— Да, — прошептала она, — до последней минуты. Он простился с нами за четверть часа до смерти и еще просил увести Володю.

Мысль о страдании человека, которого он знал так близко, сначала веселым мальчиком, школьником, потом взрослым партнером, несмотря на неприятное сознание притворства своего и этой женщины, вдруг ужаснула Петра Ивановича. Он увидал опять этот лоб, нажимавший на губу нос, и ему стало страшно за себя.

«Трое суток ужасных страданий и смерть. Ведь это сейчас, всякую минуту может наступить и для меня», — подумал он, и ему стало на мгновение страшно. Но тотчас же, он сам не знал как, ему на помощь пришла обычная мысль, что это случилось с Иваном Ильичом, а не с ним и что с ним этого случиться не должно и не может; что, думая так, он поддается мрачному настроению, чего не следует делать, как это очевидно было по лицу Шварца. И, сделав это рассуждение, Петр Иванович успокоился и с интересом стал расспрашивать подробности о кончине Ивана Ильича, как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему.

После разных разговоров о подробностях дей-

ствительно ужасных физических страданий, перенесенных Иваном Ильичом (подробности эти узнавал Петр Иванович только по тому, как мучения Ивана Ильича действовали на нервы Прасковьи Федоровны), вдова, очевидно, нашла нужным перейти к делу.

— Ах, Петр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело, как ужасно тяжело, — и она опять заплакала.

Петр Иванович вздыхал и ждал, когда она высморкается. Когда она высморкалась, он сказал:

— Поверьте… — и опять она разговорилась и высказала то, что было, очевидно, ее главным делом к нему; дело это состояло в вопросах о том, как бы по случаю смерти мужа достать денег от казны. Она сделала вид, что спрашивает у Петра Ивановича совета о пенсионе; но он видел, что она уже знает до мельчайших подробностей и то, чего он не знал: все то, что можно вытянуть от казны по случаю этой смерти; но что ей хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вытянуть еще побольше денег. Петр Иванович постарался выдумать такое средство, но, подумав несколько и из приличия побранив наше правительство за его скаредность, сказал, что, кажется, больше нельзя. Тогда она вздохнула и, очевидно, стала

придумывать средство избавиться от своего посетителя. Он понял это, затушил папироску, встал, пожал руку и пошел в переднюю.

В столовой с часами, которым Иван Ильич так рад был, что купил в брикабраке[27], Петр Иванович встретил священника и еще несколько знакомых, приехавших на панихиду, и увидал знакомую ему красивую барышню, дочь Ивана Ильича. Она была вся в черном. Талия ее, очень тонкая, казалась еще тоньше. Она имела мрачный, решительный, почти гневный вид. Она поклонилась Петру Ивановичу, как будто он был в чем-то виноват. За дочерью стоял с таким же обиженным видом знакомый Петру Ивановичу богатый молодой человек, судебный следователь, ее жених, как он слышал. Он уныло поклонился им и хотел пройти в комнату мертвеца, когда из-под лестницы показалась фигурка гимназистика-сына, ужасно похожего на Ивана Ильича. Это был маленький Иван Ильич, каким Петр Иванович помнил его в Правоведении. Глаза у него были и заплаканные и такие, какие бывают у нечистых мальчиков в тринадцать-четырнадцать лет. Мальчик, увидав Петра Ивановича,

---

[27] Сноски: 27
антикварном магазине (от *фр*. bric-à-brac).

стал сурово и стыдливо морщиться. Петр Иванович кивнул ему головой и вошел в комнату мертвеца. Началась панихида — свечи, стоны, ладан, слезы, всхлипыванья. Петр Иванович стоял нахмурившись, глядя на ноги перед собой. Он не взглянул ни разу на мертвеца и до конца не поддался расслабляющим влияниям и один из первых вышел. В передней никого не было. Герасим, буфетный мужик, выскочил из комнаты покойника, перешвырял своими сильными руками все шубы, чтобы найти шубу Петра Ивановича, и подал ее.

— Что, брат Герасим? — сказал Петр Иванович, чтобы сказать что-нибудь. — Жалко?

— Божья воля. Все там же будем, — сказал Герасим, оскаливая свои белые, сплошные мужицкие зубы, и, как человек в разгаре усиленной работы, живо отворил дверь, кликнул кучера, подсадил Петра Ивановича и прыгнул назад к крыльцу, как будто придумывая, что бы ему еще сделать.

Петру Ивановичу особенно приятно было дохнуть чистым воздухом после запаха ладана, трупа и карболовой кислоты.

— Куда прикажете? — спросил кучер.

— Не поздно. Заеду еще к Федору Васильевичу.

И Петр Иванович поехал. И действительно,

застал их при конце первого роббера, так что ему удобно было вступить пятым.

II

Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная.

Иван Ильич умер сорока пяти лет, членом Судебной палаты. Он был сын чиновника, сделавшего в Петербурге по разным министерствам и департаментам ту карьеру, которая доводит людей до того положения, в котором, хотя и ясно оказывается, что исполнять какую-нибудь существенную должность они не годятся, они все-таки по своей долгой и прошедшей службе и своим чинам не могут быть выгнаны и потому получают выдуманные фиктивные места и нефиктивные тысячи, от шести до десяти, с которыми они и доживают до глубокой старости.

Таков был тайный советник, ненужный член разных ненужных учреждений, Илья Ефимович Головин.

У него было три сына. Иван Ильич был второй сын. Старший делал такую же карьеру, как и отец, только по другому министерству, и уж близко подходил к тому служебному возрасту, при котором получается эта инерция жалованья. Третий сын был неудачник. Он в разных местах везде

напортил себе и теперь служил по железным дорогам: и его отец, и братья, и особенно их жены не только не любили встречаться с ним, но без крайней необходимости и не вспоминали о его существовании. Сестра была за бароном Грефом, таким же петербургским чиновником, как и его тесть. Иван Ильич был le phénix de la famille[28], как говорили. Он был не такой холодный и аккуратный, как старший, и не такой отчаянный, как меньшой. Он был середина между ними — умный, живой, приятный и приличный человек. Воспитывался он вместе с меньшим братом в Правоведении. Меньшой не кончил и был выгнан из пятого класса, Иван же Ильич хорошо кончил курс. В Правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь: человеком способным, весело-добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Он не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в све-

---

[28] Сноски: 28
гордость семьи *(фр.)*.

те людям, усвоивал себе их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения. Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставив больших следов; он отдавался и чувственности и тщеславию, и — под конец, в высших классах — либеральности, но все в известных пределах, которые верно указывало ему его чувство.

Были в Правоведении совершены им поступки, которые прежде представлялись ему большими гадостями и внушали ему отвращение к самому себе в то время, как он совершал их; но впоследствии, увидав, что поступки эти были совершаемы и высоко стоящими людьми и не считались ими дурными, он не то что признал их хорошими, но совершенно забыл их и нисколько не огорчался воспоминаниями о них.

Выйдя из Правоведения десятым классом и получив от отца деньги на обмундировку, Иван Ильич заказал себе платье у Шармера, повесил на брелоки медальку с надписью: «respice finem»[29], простился с принцем и воспитателем, пообедал с товарищами у Донона и с новыми модными чемоданом, бельем, платьем, брит-

---

[29] Сноски: 29
предвидь конец *(лат.)*.

венными и туалетными принадлежностями и пледом, заказанными и купленными в самых лучших магазинах, уехал в провинцию на место чиновника особых поручений губернатора, которое доставил ему отец.

В провинции Иван Ильич сразу устроил себе такое же легкое и приятное положение, каково было его положение в Правоведении. Он служил, делал карьеру и вместе с тем приятно и прилично веселился; изредка он ездил по поручению начальства в уезды, держал себя с достоинством и с высшими и с низшими и с точностью и неподкупной честностью, которой не мог не гордиться, исполнял возложенные на него поручения, преимущественно по делам раскольников.

В служебных делах он был, несмотря на свою молодость и склонность к легкому веселью, чрезвычайно сдержан, официален и даже строг; но в общественных он был часто игрив и остроумен и всегда добродушен, приличен и bon enfant[30], как говорил про него его начальник и начальница, у которых он был домашним человеком.

Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведу; была

---

[30] Сноски: 30
добрый малый *(фр.)*.

и модистка; были и попойки с приезжими флигель-адъютантами, и поездки в дальнюю улицу после ужина; было и подслуживанье начальнику и даже жене начальника, но все это носило на себе такой высокий тон порядочности, что все это не могло быть называемо дурными словами: все это подходило только под рубрику французского изречения: il faut que jeunesse se passe[31]. Все происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно, с одобрением высоко стоящих людей.

Так прослужил Иван Ильич пять лет, и наступила перемена по службе. Явились новые судебные учреждения; нужны были новые люди.

И Иван Ильич стал этим новым человеком.

Ивану Ильичу предложено было место судебного следователя, и Иван Ильич принял его, несмотря на то, что место это было в другой губернии и ему надо было бросить установившиеся отношения и устанавливать новые. Ивана Ильича проводили друзья, сделали группу, поднесли ему серебряную папиросочницу, и он уехал на новое место.

---

[31] Сноски: 31
молодость должна перебеситься *(фр.)*.

Судебным следователем Иван Ильич был таким же comme il faut'ным, приличным, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим общее уважение, каким он был чиновником особых поручений. Сама же служба следователя представляла для Ивана Ильича гораздо более интереса и привлекательности, чем прежняя. В прежней службе приятно было свободной походкой в шармеровском вицмундире пройти мимо трепещущих и ожидающих приема просителей и должностных лиц, завидующих ему, прямо в кабинет начальника и сесть с ним за чай с папиросою; но людей, прямо зависящих от его произвола, было мало. Такие люди были только исправники и раскольники, когда его посылали с поручениями; и он любил учтиво, почти по-товарищески обходиться с такими, зависящими от него, людьми, любил давать чувствовать, что вот он, могущий раздавить, дружески, просто обходится с ними. Таких людей тогда было мало. Теперь же, судебным следователем, Иван Ильич чувствовал, что все, все без исключения, самые важные, самодовольные люди — все у него в руках и что ему стоит только написать известные слова на бумаге с заголовком, и этого важного, самодовольного человека приведут к нему в ка-

честве обвиняемого или свидетеля, и он будет, если он не захочет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его вопросы. Иван Ильич никогда не злоупотреблял этой своей властью, напротив, старался смягчать выражения ее; но сознание этой власти и возможность смягчать ее составляли для него главный интерес и привлекательность его новой службы. В самой же службе, именно в следствиях, Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность. Дело это было новое. И он был один из первых людей, выработавших на практике приложение уставов 1864 года.

Перейдя в новый город на место судебного следователя, Иван Ильич сделал новые знакомства, связи, по-новому поставил себя и принял несколько иной тон. Он поставил себя в некотором достойном отдалении от губернских властей, а избрал лучший круг из судейских и богатых дворян, живших в городе, и принял тон легко-

го недовольства правительством, умеренной либеральности и цивилизованной гражданственности. При этом, нисколько не изменив элегантности своего туалета, Иван Ильич в новой должности перестал пробривать подбородок и дал свободу бороде расти, где она хочет.

Жизнь Ивана Ильича и в новом городе сложилась очень приятно: фрондирующее против губернатора общество было дружное и хорошее; жалованья было больше, и немалую приятность в жизни прибавил тогда вист, в который стал играть Иван Ильич, имевший способность играть в карты весело, быстро соображая и очень тонко, так что в общем он всегда был в выигрыше.

После двух лет службы в новом городе Иван Ильич встретился с своей будущей женой. Прасковья Федоровна Михель была самая привлекательная, умная, блестящая девушка того кружка, в котором вращался Иван Ильич. В числе других забав и отдохновений от трудов следователя Иван Ильич установил игривые, легкие отношения с Прасковьей Федоровной.

Иван Ильич, будучи чиновником особых поручений, вообще танцевал; судебным же следователем он уже танцевал как исключение. Он танцевал уже в том смысле, что хоть и по новым

учреждениям и в пятом классе, но если дело коснется танцев, то могу доказать, что в этом роде я могу лучше других. Так, он изредка в конце вечера танцевал с Прасковьей Федоровной и преимущественно во время этих танцев и победил Прасковью Федоровну. Она влюбилась в него. Иван Ильич не имел ясного, определенного намерения жениться, но когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос. «В самом деле, отчего же и не жениться?» — сказал он себе.

Девица Прасковья Федоровна была хорошего дворянского рода, недурна; было маленькое состояньице. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и эта была партия хорошая. У Ивана Ильича было его жалованье, у ней, он надеялся, будет столько же. Хорошее родство; она — милая, хорошенькая и вполне порядочная женщина. Сказать, что Иван Ильич женился потому, что он полюбил свою невесту и нашел в ней сочувствие своим взглядам на жизнь, было бы так же несправедливо, как и сказать то, что он женился потому, что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям: он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали

правильным.

И Иван Ильич женился.

Самый процесс женитьбы и первое время брачной жизни, с супружескими ласками, новой мебелью, новой посудой, новым бельем, до беременности жены прошло очень хорошо, так что Иван Ильич начинал уже думать, что женитьба не только не нарушит того характера жизни легкой, приятной, веселой и всегда приличной и одобряемой обществом, который Иван Ильич считал свойственным жизни вообще, но еще усугубит его. Но тут, с первых месяцев беременности жены, явилось что-то такое новое, неожиданное, неприятное, тяжелое и неприличное, чего нельзя было ожидать и от чего никак нельзя было отделаться.

Жена без всяких поводов, как казалось Ивану Ильичу, de gaieté de cœur[32], как он говорил себе, начала нарушать приятность и приличие жизни: она без всякой причины ревновала его, требовала от него ухаживанья за собой, придиралась ко всему и делала ему неприятные и грубые сцены.

Сначала Иван Ильич надеялся освободиться от неприятности этого положения тем самым

---

[32] Сноски: 32
из каприза *(фр.)*.

легким и приличным отношением к жизни, которое выручало его прежде, — он пробовал игнорировать расположение духа жены, продолжал жить по-прежнему легко и приятно: приглашал к себе друзей составлять партию, пробовал сам уезжать в клуб или к приятелям. Но жена один раз с такой энергией начала грубыми словами ругать его и так упорно продолжала ругать его всякий раз, когда он не исполнял ее требований, очевидно, твердо решившись не переставать до тех пор, пока он не покорится, то есть не будет сидеть дома и не будет так же, как и она, тосковать, что Иван Ильич ужаснулся. Он понял, что супружеская жизнь — по крайней мере, с его женою — не содействует всегда приятностям и приличию жизни, а, напротив, часто нарушает их, и что поэтому необходимо оградить себя от этих нарушений. И Иван Ильич стал отыскивать средства для этого. Служба было одно, что импонировало Прасковье Федоровне, и Иван Ильич посредством службы и вытекающих из нее обязанностей стал бороться с женой, выгораживая свой независимый мир.

С рождением ребенка, попытками кормления и различными неудачами при этом, с болезнями действительными и воображаемыми

ребенка и матери, в которых от Ивана Ильича требовалось участие, но в которых он ничего не мог понять, потребность для Ивана Ильича выгородить себе мир вне семьи стала еще более настоятельна.

По мере того как жена становилась раздражительнее и требовательнее, и Иван Ильич все более и более переносил центр тяжести своей жизни в службу. Он стал более любить службу и стал более честолюбив, чем он был прежде.

Очень скоро, не далее как через год после женитьбы, Иван Ильич понял, что супружеская жизнь, представляя некоторые удобства в жизни, в сущности есть очень сложное и тяжелое дело, по отношению которого, для того чтобы исполнять свой долг, то есть вести приличную, одобряемую обществом жизнь, нужно выработать определенное отношение, как и к службе.

И такое отношение к супружеской жизни выработал себе Иван Ильич. Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал веселой приятности и, если находил их, был очень благодарен; если же

встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный, выгороженный им мир службы и в нем находил приятность.

Ивана Ильича ценили как хорошего служаку и через три года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого в острог, публичность речей, успех, который в этом деле имел Иван Ильич, — все это еще более привлекало его к службе.

Пошли дети. Жена становилась все ворчливее и сердитее, но выработанные Иваном Ильичом отношения к домашней жизни делали его почти непроницаемым для ее ворчливости.

После семи лет службы в одном городе Ивана Ильича перевели на место прокурора в другую губернию. Они переехали, денег было мало, и жене не понравилось то место, куда они переехали. Жалованье было хоть и больше прежнего, но жизнь была дороже; кроме того, умерло двое детей, и потому семейная жизнь стала еще неприятнее для Ивана Ильича.

Прасковья Федоровна во всех случавшихся невзгодах в этом новом месте жительства упрекала мужа. Большинство предметов разговора между мужем и женой, особенно воспитание

детей, наводило на вопросы, по которым были воспоминания ссор, и ссоры всякую минуту готовы были разгораться. Оставались только те редкие периоды влюбленности, которые находили на супругов, но продолжались недолго. Это были островки, на которые они приставали на время, но потом опять пускались в море затаенной вражды, выражавшейся в отчуждении друг от друга. Отчуждение это могло бы огорчать Ивана Ильича, если бы он считал, что это не должно так быть, но он теперь уже признавал это положение не только нормальным, но и целью своей деятельности в семье. Цель его состояла в том, чтобы все больше и больше освобождать себя от этих неприятностей и придать им характер безвредности и приличия; и он достигал этого тем, что он все меньше и меньше проводил время с семьею, а когда был вынужден это делать, то старался обеспечивать свое положение присутствием посторонних лиц. Главное же то, что у Ивана Ильича была служба. В служебном мире сосредоточился для него весь интерес жизни. И интерес этот поглощал его. Сознание своей власти, возможности погубить всякого человека, которого он захочет погубить, важность, даже внешняя, при его входе в суд и встречах

с подчиненными, успех свой перед высшими и подчиненными и, главное, мастерство свое ведения дел, которое он чувствовал, — все это радовало его и вместе с беседами с товарищами, обедами и вистом наполняло его жизнь. Так что вообще жизнь Ивана Ильича продолжала идти так, как он считал, что она должна была идти: приятно и прилично.

Так прожил он еще семь лет. Старшей дочери было уже шестнадцать лет, еще один ребенок умер, и оставался мальчик-гимназист, предмет раздора. Иван Ильич хотел отдать его в Правоведение, а Прасковья Федоровна назло ему отдала в гимназию. Дочь училась дома и росла хорошо, мальчик тоже учился недурно.

III

Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжение семнадцати лет со времени женитьбы. Он был уже старым прокурором, отказавшимся от некоторых перемещений, ожидая более желательного места, когда неожиданно случилось одно неприятное обстоятельство, совсем было нарушившее его спокойствие жизни. Иван Ильич ждал места председателя в университетском городе, но Гоппе забежал как-то вперед и получил это место. Иван Ильич раздражился, стал делать упреки и поссорился с ним и с ближайшим начальством; к нему стали холодны и в следующем назначении его опять обошли.

Это было в 1880 году. Этот год был самый тяжелый в жизни Ивана Ильича. В этом году оказалось, с одной стороны, что жалованья не хватает на жизнь; с другой — что все его забыли и что то, что казалось для него по отношению к нему величайшей, жесточайшей несправедливостью, другим представлялось совсем обыкновенным делом. Даже отец не считал своей обязанностью помогать ему. Он почувствовал, что все покинули его, считая его положение с 3500 жалованья

самым нормальным и даже счастливым. Он один знал, что с сознанием тех несправедливостей, которые были сделаны ему, и с вечным пилением жены, и с долгами, которые он стал делать, живя сверх средств, — он один знал, что его положение далеко не нормально.

Летом этого года для облегчения средств он взял отпуск и поехал прожить с женой лето в деревне у брата Прасковьи Федоровны.

В деревне, без службы Иван Ильич в первый раз почувствовал не только скуку, но тоску невыносимую и решил, что так жить нельзя и необходимо принять какие-нибудь решительные меры.

Проведя бессонную ночь, которую всю Иван Ильич проходил по террасе, он решил ехать в Петербург хлопотать и, чтобы наказать *их*, тех, которые не умели оценить его, перейти в другое министерство.

На другой день, несмотря на все отговоры жены и шурина, он поехал в Петербург.

Он ехал за одним: выпросить место в пять тысяч жалованья. Он уже не держался никакого министерства, направления или рода деятельности. Ему нужно только было место, место с пятью тысячами, по администрации, по банкам, по же-

лезным дорогам, по учреждениям императрицы Марии, даже таможни, но непременно пять тысяч и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его.

И вот эта поездка Ивана Ильича увенчалась удивительным, неожиданным успехом. В Курске подсел в первый класс Ф. С. Ильин, знакомый, и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдет на днях переворот: на место Петра Ивановича назначают Ивана Семеновича.

Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо, Петра Петровича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванович был товарищ и друг Ивану Ильичу.

В Москве известие подтвердилось. А приехав в Петербург, Иван Ильич нашел Захара Ивановича и получил обещание верного места в своем прежнем министерстве юстиции.

Через неделю он телеграфировал жене:

«Захар место Миллера при первом докладе получаю назначение».

Иван Ильич благодаря этой перемене лиц

неожиданно получил в своем прежнем министерстве такое назначение, в котором он стал на две степени выше своих товарищей: пять тысяч жалованья и подъемных три тысячи пятьсот. Вся досада на прежних врагов своих и на все министерство была забыта, и Иван Ильич был совсем счастлив.

Иван Ильич вернулся в деревню веселый, довольный, каким он давно не был. Прасковья Федоровна тоже повеселела, и между ними заключилось перемирие. Иван Ильич рассказывал о том, как его все чествовали в Петербурге, как все те, которые были его врагами, были посрамлены и подличали теперь перед ним, как ему завидуют за его положение, в особенности о том, как все его сильно любили в Петербурге.

Прасковья Федоровна выслушивала это и делала вид, что она верит этому, и не противоречила ни в чем, а делала только планы нового устройства жизни в том городе, куда они переезжали. И Иван Ильич с радостью видел, что эти планы были его планы, что они сходятся и что опять его запнувшаяся жизнь приобретает настоящий, свойственный ей характер веселой приятности и приличия.

Иван Ильич приехал на короткое время. 10 сен-

тября ему надо было принимать должность и, кроме того, нужно было время устроиться на новом месте, перевезти все из провинции, прикупить, призаказать еще многое; одним словом, устроиться так, как это решено было в его уме, и почти что точно так же, как это решено было и в душе Прасковьи Федоровны.

И теперь, когда все устроилось так удачно и когда они сходились с женою в цели и, кроме того, мало жили вместе, они так дружно сошлись, как не сходились с первых лет женатой своей жизни. Иван Ильич было думал увезти семью тотчас же, но настояния сестры и зятя, вдруг сделавшимися особенно любезными и родственными к Ивану Ильичу и его семье, сделали то, что Иван Ильич уехал один.

Иван Ильич уехал, и веселое расположение духа, произведенное удачей и согласием с женой, одно усиливающее другое, все время не оставляло его. Нашлась квартира прелестная, то самое, о чем мечтали муж с женой. Широкие, высокие, в старом стиле приемные комнаты, удобный грандиозный кабинет, комнаты для жены и дочери, классная для сына — все как нарочно придумано для них. Иван Ильич сам взялся за устройство, выбирал обои, покупал мебель,

особенно из старья, которому он придавал особенный комильфотный стиль, обивку, и все росло, росло и приходило к тому идеалу, который он составил себе. Когда он до половины устроился, его устройство превзошло его ожиданье. Он понял тот комильфотный, изящный и не пошлый характер, который примет все, когда будет готово. Засыпая, он представлял себе залу, какою она будет. Глядя на гостиную, еще не оконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики разбросанные, эти блюды и тарелки по стенам и бронзы, когда они все станут по местам. Его радовала мысль, как он поразит Пашу и Лизаньку, которые тоже имеют к этому вкус. Они никак не ожидают этого. В особенности ему удалось найти и купить дешево старые вещи, которые придавали всему особенно благородный характер. Он в письмах своих нарочно представлял все хуже, чем есть, чтобы поразить их. Все это так занимало его, что даже новая служба его, любящего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседаниях у него бывали минуты рассеянности: он задумывался о том, какие карнизы на гардины, прямые или подобранные. Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель, и сам перевешивал гардины.

Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, оступился и упал, но, как сильный и ловкий человек, удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб поболел, но скоро прошел. Иван Ильич чувствовал себя все это время особенно веселым и здоровым. Он писал: чувствую, что с меня соскочило лет пятнадцать. Он думал кончить в сентябре, но затянулось до половины октября. Зато было прелестно, — не только он говорил, но ему говорили все, кто видели.

В сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга: штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы, темное и блестящее, — все то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание; но ему все это казалось чем-то особенным. Когда он встретил своих на станции железной дороги, привез их в свою освещенную готовую квартиру и лакей в белом галстуке отпер дверь в убранную цветами переднюю, а потом они вошли в гостиную, кабинет и ахали от удовольствия, — он был очень счаст-

лив, водил их везде, впивал в себя их похвалы и сиял от удовольствия. В этот же вечер, когда за чаем Прасковья Федоровна спросила его, между прочим, как он упал, он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика.

— Я недаром гимнаст. Другой бы убился, а я чуть ударился вот тут; когда тронешь — больно, но уже проходит; просто синяк.

И они начали жить в новом помещении, в котором, как всегда, когда хорошенько обжились, недоставало только одной комнаты, и с новыми средствами, к которым, как всегда, только немножко — каких-нибудь пятьсот рублей — недоставало, и было очень хорошо. Особенно было хорошо первое время, когда еще не все было устроено и надо было еще устраивать: то купить, то заказать, то переставить, то наладить. Хоть и были некоторые несогласия между мужем и женой, но оба так были довольны и так много было дела, что все кончалось без больших ссор. Когда уже нечего было устраивать, стало немножко скучно и чего-то недоставать, но тут уже сделались знакомства, привычки, и жизнь наполнилась.

Иван Ильич, проведши утро в суде, возвращался к обеду, и первое время расположение его духа

было хорошо, хотя и страдало немного именно от помещения. (Всякое пятно на скатерти, на штофе, оборванный снурок гардины раздражали его: он столько труда положил на устройство, что ему больно было всякое разрушение.) Но вообще жизнь Ивана Ильича пошла так, как, по его вере, должна была протекать жизнь: легко, приятно и прилично. Вставал он в девять, пил кофе, читал газету, потом надевал вицмундир и ехал в суд. Там уже был обмят тот хомут, в котором он работал; он сразу попадал в него. Просители, справки в канцелярии, сама канцелярия, заседания — публичные и распорядительные. Во всем этом надо было уметь исключать все то сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел: надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных, и повод к отношениям должен быть только служебный и самые отношения только служебные. Например, приходит человек и желает узнать что-нибудь. Иван Ильич как человек не должностной и не может иметь никаких отношений к такому человеку; но если есть отношение этого человека как к члену, такое, которое может быть выражено на бумаге с заголовком, — в пределах этих отношений Иван Ильич делает все, все

решительно, что можно, и при этом соблюдает подобие человеческих дружелюбных отношений, то есть учтивость. Как только кончается отношение служебное, так кончается всякое другое. Этим умением отделять служебную сторону, не смешивая ее с своей настоящей жизнью, Иван Ильич владел в высшей степени и долгой практикой и талантом выработал его до такой степени, что он даже, как виртуоз, иногда позволял себе, как бы шутя, смешивать человеческое и служебное отношения. Он позволял это себе потому, что чувствовал в себе силу всегда, когда ему понадобится, опять выделить одно служебное и откинуть человеческое. Дело это шло у Ивана Ильича не только легко, приятно и прилично, но даже виртуозно. В промежутки он курил, пил чай, беседовал немножко о политике, немножко об общих делах, немножко о картах и больше всего о назначениях. И усталый, но с чувством виртуоза, отчетливо отделавшего свою партию, одну из первых скрипок в оркестре, возвращался домой. Дома дочь с матерью куда-нибудь ездили или у них был кто-нибудь; сын был в гимназии, готовил уроки с репетиторами и учился исправно тому, чему учат в гимназии. Все было хорошо. После обеда, если не было гостей, Иван Ильич

читал иногда книгу, про которую много говорят, и вечером садился за дела, то есть читал бумаги, справлялся с законами, — сличал показания и подводил под законы. Ему это было ни скучно, ни весело. Скучно было, когда можно было играть в винт; но если не было винта — то это было все-таки лучше, чем сидеть одному или с женой. Удовольствие же Ивана Ильича были обеды маленькие, на которые он звал важных по светскому положению дам и мужчин, и такое времяпровождение с ними, которое было бы похоже на обыкновенное препровождение времени таких людей, так же как гостиная его была похожа на все гостиные.

Один раз у них был даже вечер, танцевали. И Ивану Ильичу было весело, и все было хорошо, только вышла большая ссора с женой из-за тортов и конфет: у Прасковьи Федоровны был свой план, а Иван Ильич настоял на том, чтобы взять все у дорогого кондитера, и взял много тортов, и ссора была за то, что торты остались, а счет кондитера был в сорок пять рублей. Ссора была большая и неприятная, так что Прасковья Федоровна сказала ему: «Дурак, кисляй». А он схватил себя за голову и в сердцах что-то упомянул о разводе. Но самый вечер был веселый. Было лучшее

общество, и Иван Ильич танцевал с княгинею Труфоновой, сестрою той, которая известна учреждением общества «Унеси ты мое горе». Радости служебные были радости самолюбия; радости общественные были радости тщеславия; но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт. Он признавался, что после всего, после каких бы то ни было событий, нерадостных в его жизни, радость, которая, как свеча, горела перед всеми другими, — это сесть с хорошими игроками и некрикунами-партнерами в винт, и непременно вчетвером (впятером уж очень больно выходить, хотя и притворяешься, что я очень люблю), и вести умную, серьезную игру (когда карты идут), потом поужинать и выпить стакан вина. А спать после винта, особенно когда в маленьком выигрыше (большой — неприятно), Иван Ильич ложился в особенно хорошем расположении духа.

Так они жили. Круг общества составлялся у них самый лучший, ездили и важные люди, и молодые люди.

Во взгляде на круг своих знакомых муж, жена и дочь были совершенно согласны и, не сговариваясь, одинаково оттирали от себя и освобождались от всяких разных приятелей и родствен-

ников, замарашек, которые разлетались к ним с нежностями в гостиную с японскими блюдами по стенам. Скоро эти друзья-замарашки перестали разлетаться, и у Головиных осталось общество одно самое лучшее. Молодые люди ухаживали за Лизанькой, и Петрищев, сын Дмитрия Ивановича Петрищева и единственный наследник его состояния, судебный следователь, стал ухаживать за Лизой, так что Иван Ильич уже поговаривал об этом с Прасковьей Федоровной: не свести ли их кататься на тройках или устроить спектакль. Так они жили. И все шло так, не изменяясь, и все было очень хорошо.

IV

Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота.

Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознание тяжести постоянной в боку и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа это, все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе Головиных приятность легкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие. Сцены опять стали чаще. Опять остались одни островки, и тех мало, на которых муж с женою могли сходиться без взрыва.

И Прасковья Федоровна теперь не без основания говорила, что у ее мужа тяжелый характер. С свойственной ей привычкой преувеличивать она говорила, что всегда и был такой ужасный характер, что надобно ее доброту, чтобы переносить это двадцать лет. Правда было то, что

ссоры теперь начинались от него. Начинались его придирки всегда перед самым обедом и часто, именно когда он начинал есть, за супом. То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол, то прическа дочери. И во всем он обвинял Прасковью Федоровну. Прасковья Федоровна сначала возражала и говорила ему неприятности, но он раза два во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она поняла, что это болезненное состояние, которое вызывается в нем принятием пищи, и смирила себя; уже не возражала, а только торопила обедать. Смирение свое Прасковья Федоровна поставила себе в великую заслугу. Решив, что муж ее имеет ужасный характер и сделал несчастие ее жизни, она стала жалеть себя. И чем больше она жалела себя, тем больше ненавидела мужа. Она стала желать, чтоб он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалованья. И это еще более раздражало ее против него. Она считала себя страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти ее, и она раздражалась, скрывала это, и это скрытое раздражение ее усиливало его раздражение.

После одной сцены, в которой Иван Ильич был

особенно несправедлив и после которой он и при объяснении сказал, что он точно раздражителен, но что это от болезни, она сказала ему, что если он болен, то надо лечиться, и потребовала от него, чтобы он поехал к знаменитому врачу.

Он поехал. Все было, как он ожидал; все было так, как всегда делается. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде, и постукиванье, и выслушиванье, и вопросы, требующие определенные вперед и, очевидно, ненужные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы, мол, только подвергнитесь нам, а мы все устроим, — у нас известно и несомненно, как все устроить, все одним манером для всякого человека, какого хотите. Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид.

Доктор говорил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда… и т. д. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос: опасно ли его положение или нет? Но доктор игнорировал

этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора, вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению; существовало только взвешиванье вероятностей — блуждающей почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда дело будет пересмотрено. Все это было точь-в-точь то же, что делал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сделал свое резюме доктор и торжествующе, весело даже, взглянув сверху очков на подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем все равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора.

Но он ничего не сказал, а встал, положил деньги на стол и, вздохнув, сказал:

— Мы, больные, вероятно, часто делаем вам

неуместные вопросы, — сказал он. — Вообще, это опасная болезнь или нет?..

Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как будто говоря: подсудимый, если вы не будете оставаться в пределах ставимых вам вопросов, я буду принужден сделать распоряжение об удалении вас из залы заседания.

— Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным, — сказал доктор. — Дальнейшее покажет исследование. — И доктор поклонился.

Иван Ильич вышел медленно, уныло сел в сани и поехал домой. Всю дорогу он не переставая перебирал все, что говорил доктор, стараясь все эти запутанные, неясные научные слова перевести на простой язык и прочесть в них ответ на вопрос: плохо — очень ли плохо мне, или еще ничего? И ему казалось, что смысл всего сказанного доктором был тот, что очень плохо. Все грустно показалось Ивану Ильичу на улицах. Извозчики были грустны, дома грустны, прохожие, лавки грустны. Боль же эта, глухая, ноющая боль, ни на секунду не перестающая, казалось, в связи с неясными речами доктора получала другое, более серьезное значение. Иван Ильич с новым тяжелым чувством теперь прислушивался к ней.

Он приехал домой и стал рассказывать жене.

Жена выслушала, но в середине рассказа его вошла дочь в шляпке: она собиралась с матерью ехать. Она с усилием присела послушать эту скуку, но долго не выдержала, и мать не дослушала.

— Ну, я очень рада, — сказала жена, — так теперь ты, смотри ж, принимай аккуратно лекарство. Дай рецепт, я пошлю Герасима в аптеку. — И она пошла одеваться.

Он не переводил дыхания, пока она была в комнате, и тяжело вздохнул, когда она вышла.

— Ну что ж, — сказал он. — Может быть, и точно ничего еще…

Он стал принимать лекарства, исполнять предписания доктора, которые изменились по случаю исследования мочи. Но тут как раз так случилось, что в этом исследовании и в том, что должно было последовать за ним, вышла какая-то путаница. До самого доктора нельзя было добраться, а выходило, что делалось не то, что говорил ему доктор. Или он забыл, или соврал, или скрывал от него что-нибудь.

Но Иван Ильич все-таки точно стал исполнять предписания и в исполнении этом нашел утешение на первое время.

Главным занятием Ивана Ильича со времени посещения доктора стало точное исполнение

предписаний доктора относительно гигиены и принимания лекарств и прислушиванье к своей боли, ко всем своим отправлениям организма. Главными интересами Ивана Ильича стали людские болезни и людское здоровье. Когда при нем говорили о больных, об умерших, о выздоровевших, особенно о такой болезни, которая походила на его, он, стараясь скрыть свое волнение, прислушивался, расспрашивал и делал применение к своей болезни.

Боль не уменьшалась; но Иван Ильич делал над собой усилия, чтобы заставлять себя думать, что ему лучше. И он мог обманывать себя, пока ничего не волновало его. Но как только случалась неприятность с женой, неудача в службе, дурные карты в винте, так сейчас он чувствовал всю силу своей болезни; бывало, он переносил эти неудачи, ожидая, что вот-вот исправлю плохое, поборю, дождусь успеха, большого шлема. Теперь же всякая неудача подкашивала его и ввергала в отчаяние. Он говорил себе: вот только что я стал поправляться и лекарство начинало уже действовать, и вот это проклятое несчастие или неприятность… И он злился на несчастье или на людей, делавших ему неприятности и убивающих его, и чувствовал, как эта злоба убивает его; но не

мог воздержаться от нее. Казалось бы, ему должно бы было быть ясно, что это злобление его на обстоятельства и людей усиливает его болезнь и что поэтому ему надо не обращать внимания на неприятные случайности; но он делал совершенно обратное рассуждение: он говорил, что ему нужно спокойствие, следил за всем, что нарушало это спокойствие, и при всяком малейшем нарушении приходил в раздражение. Ухудшало его положение то, что он читал медицинские книги и советовался с докторами. Ухудшение шло так равномерно, что он мог себя обманывать, сравнивая один день с другим, — разницы было мало. Но когда он советовался с докторами, тогда ему казалось, что идет к худшему и очень быстро даже. И несмотря на это, он постоянно советовался с докторами.

В этот месяц он побывал у другой знаменитости: другая знаменитость сказала почти то же, что и первая, но иначе поставила вопросы. И совет с этой знаменитостью только усугубил сомнение и страх Ивана Ильича. Приятель его приятеля — доктор очень хороший — тот еще совсем иначе определил болезнь и, несмотря на то, что обещал выздоровление, своими вопросами и предположениями еще больше спутал Ивана

Ильича и усилил его сомнение. Гомеопат — еще иначе определил болезнь и дал лекарство, и Иван Ильич, тайно от всех, принимал его с неделю. Но после недели, не почувствовав облегчения и потеряв доверие и к прежним лечениям и к этому, пришел в еще большее уныние. Раз знакомая дама рассказывала про исцеление иконами. Иван Ильич застал себя на том, что он внимательно прислушивался и поверял действительность факта. Этот случай испугал его. «Неужели я так умственно ослабел? — сказал он себе. — Пустяки! Все вздор, не надо поддаваться мнительности, а, избрав одного врача, строго держаться его лечения. Так и буду делать. Теперь кончено. Не буду думать и до лета строго буду исполнять лечение. А там видно будет. Теперь конец этим колебаниям!..» Легко было сказать это, но невозможно исполнить. Боль в боку все томила, все как будто усиливалась, становилась постоянной, вкус во рту становился все страннее, ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы все слабели. Нельзя было себя обманывать: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичом, совершалось в нем. И он один знал про это, все же окружающие

не понимали или не хотели понимать и думали, что все на свете идет по-прежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича. Домашние — главное жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов, — он видел, ничего не понимали, досадовали на то, что он такой невеселый и требовательный, как будто он был виноват в этом. Хотя они и старались скрывать это, он видел, что он им помеха, но что жена выработала себе известное отношение к его болезни и держалась его независимо от того, что он говорил и делал. Отношение это было такое:

— Вы знаете, — говорила она знакомым, — Иван Ильич не может, как все добрые люди, строго исполнять предписанное лечение. Нынче он примет капли и кушает, что велено, и вовремя ляжет; завтра вдруг, если я просмотрю, забудет принять, скушает осетрины (а ему не велено), да и засидится за винтом до часа.

— Ну, когда же? — скажет Иван Ильич с досадою. — Один раз у Петра Ивановича.

— А вчера с Шебеком.

— Все равно я не мог спать от боли…

— Да там уж отчего бы то ни было, только так ты никогда не выздоровеешь и мучаешь нас.

Внешнее, высказываемое другим и ему самому,

отношение Прасковьи Федоровны было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич и вся болезнь эта есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у нее невольно, но от этого ему не легче было.

В суде Иван Ильич замечал или думал, что замечает, то же странное к себе отношение: то ему казалось, что к нему приглядываются, как к человеку, имеющему скоро опростать место; то вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью, как будто то, что-то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нем и не переставая сосет его и неудержимо влечет куда-то, есть самый приятный предмет для шутки. Особенно Шварц своей игривостью, жизненностью и комильфотностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за десять лет назад, раздражал его.

Приходили друзья составить партию, садились. Сдавали, разминались новые карты, складывались бубны к бубнам, их семь. Партнер сказал: без козырей, — и поддержал две бубны. Чего ж еще? Весело, бодро должно бы быть — шлем. И вдруг Иван Ильич чувствует эту сосущую боль, этот вкус во рту, и ему что-то дикое представля-

ется в том, что он при этом может радоваться шлему.

Он глядит на Михаила Михайловича, партнера, как он бьет по столу сангвинической рукой и учтиво и снисходительно удерживается от захватывания взяток, а подвигает их к Ивану Ильичу, чтобы доставить ему удовольствие собирать их, не утруждая себя, не протягивая далеко руку. «Что ж он думает, что я так слаб, что не могу протянуть далеко руку», — думает Иван Ильич, забывает козырей и козыряет лишний раз по своим и проигрывает шлем без трех, и что ужаснее всего — это то, что он видит, как страдает Михаил Михайлович, а ему все равно. И ужасно думать, отчего ему все равно.

Все видят, что ему тяжело, и говорят ему: «Мы можем прекратить, если вы устали. Вы отдохните». Отдохнуть? Нет, он нисколько не устал, они доигрывают роббер. Все мрачны и молчаливы. Иван Ильич чувствует, что он напустил на них эту мрачность, и не может ее рассеять. Они ужинают и разъезжаются, и Иван Ильич остается один с сознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других и что отрава эта не ослабевает, а все больше и больше проникает все существо его.

И с сознанием этим, да еще с болью физической, да еще с ужасом надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи. А наутро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать, а если и не ехать, дома быть с теми же двадцатью четырьмя часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить так на краю погибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его.

V

Так шло месяц и два. Перед Новым годом приехал в их город его шурин и остановился у них. Иван Ильич был в суде. Прасковья Федоровна ездила за покупками. Войдя к себе в кабинет, он застал там шурина, здорового сангвиника, самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд все открыл Ивану Ильичу. Шурин раскрыл рот, чтоб ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило все.

— Что, переменился?

— Да… есть перемена.

И сколько Иван Ильич ни наводил после шурина на разговор о его внешнем виде, шурин отмалчивался. Приехала Прасковья Федоровна, шурин пошел к ней. Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреться в зеркало — прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная. Потом он оголил руки до локтя, посмотрел, опустил рукава, сел на оттоманку и стал чернее ночи.

«Не надо, не надо», — сказал он себе, вскочил,

подошел к столу, открыл дело, стал читать его, но не мог. Он отпер дверь, пошел в залу. Дверь в гостиную была затворена. Он подошел к ней на цыпочках и стал слушать.

— Нет, ты преувеличиваешь, — говорила Прасковья Федоровна.

— Как преувеличиваю? Тебе не видно — он мертвый человек, посмотри его глаза. Нет света. Да что у него?

— Никто не знает. Николаев (это был другой доктор) сказал что-то, но я не знаю. Лещетицкий (это был знаменитый доктор) сказал напротив…

Иван Ильич отошел, пошел к себе, лег и стал думать: «Почка, блуждающая почка». Он вспомнил все то, что ему говорили доктора, как она оторвалась и как блуждает. И он усилием воображения старался поймать эту почку и остановить, укрепить ее; так мало нужно, казалось ему. «Нет, поеду еще к Петру Ивановичу». (Это был тот приятель, у которого был приятель доктор.) Он позвонил, велел заложить лошадь и собрался ехать.

— Куда ты, Jean? — спросила жена с особенно грустным и непривычно добрым выражением.

Это непривычное доброе озлобило его. Он мрачно посмотрел на нее.

— Мне надо к Петру Ивановичу.

Он поехал к приятелю, у которого был приятель доктор. И с ним к доктору. Он застал его и долго беседовал с ним.

Рассматривая анатомически и физиологически подробности о том, что, по мнению доктора, происходило в нем, он все понял.

Была одна штучка, маленькая штучка в слепой кишке. Все это могло поправиться. Усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого, произойдет всасывание, и все поправится. Он немного опоздал к обеду. Пообедал, весело поговорил, но долго не мог уйти к себе заниматься. Наконец он пошел в кабинет и тотчас же сел за работу. Он читал дела, работал, но сознание того, что у него есть отложенное важное задушевное дело, которым он займется по окончании, не оставляло его. Когда он кончил дела, он вспомнил, что это задушевное дело были мысли о слепой кишке. Но он не предался им, он пошел в гостиную к чаю. Были гости, говорили и играли на фортепиано, пели; был судебный следователь, желанный жених дочери. Иван Ильич провел вечер, по замечанию Прасковьи Федоровны, веселее других, но он не забывал ни на минуту, что у него есть отложенные важ-

ные мысли о слепой кишке. В одиннадцать часов он простился и пошел к себе. Он спал один со времени своей болезни, в маленькой комнатке у кабинета. Он пошел, разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал. В его воображении происходило то желанное исправление слепой кишки. Всасывалось, выбрасывалось, восстановлялась правильная деятельность. «Да, это все так, — сказал он себе. — Только надо помогать природе». Он вспомнил о лекарстве, приподнялся, принял его, лег на спину, прислушиваясь к тому, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль. «Только равномерно принимать и избегать вредных влияний; я уже теперь чувствую несколько лучше, гораздо лучше». Он стал щупать бок, — на ощупь не больно. «Да, я не чувствую, право, уже гораздо лучше». Он потушил свечу и лег на бок… Слепая кишка исправляется, всасывается. Вдруг он почувствовал знакомую старую, глухую, ноющую боль, упорную, тихую, серьезную. Во рту та же знакомая гадость. Засосало сердце, помутилось в голове. «Боже мой, Боже мой! — проговорил он. — Опять, опять, и никогда не перестанет». И вдруг ему дело представилось совсем с другой стороны. «Слепая кишка! Почка, — сказал он себе. — Не в слепой

кишке, не в почке дело, а в жизни и… смерти. Да, жизнь была и вот уходит, уходит, и я не могу удержать ее. Да. Зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю, и вопрос только в числе недель, дней — сейчас, может быть. То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда! Куда?» Его обдало холодом, дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца.

«Меня не будет, так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу». Он вскочил, хотел зажечь свечку, пошарил дрожащими руками, уронил свечу с подсвечником на пол и опять повалился назад, на подушку. «Зачем? Все равно, — говорил он себе, открытыми глазами глядя в темноту. — Смерть. Да, смерть. И они никто не знают, и не хотят знать, и не жалеют. Они играют. (Он слышал дальние, из-за двери, раскат голоса и ритурнели.) Им все равно, а они также умрут. Дурачье. Мне раньше, а им после; и им то же будет. А они радуются. Скоты!» Злоба душила его. И ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтоб все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся.

«Что-нибудь не так; надо успокоиться, надо

обдумать все сначала». И вот он начал обдумывать. «Да, начало болезни. Стукнулся боком, и все такой же я был, и нынче и завтра; немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость, тоска, опять доктора; а я все шел ближе, ближе к пропасти. Сил меньше. Ближе, ближе. И вот я исчах, у меня света в глазах нет. И смерть, а я думаю о кишке. Думаю о том, чтобы починить кишку, а это смерть. Неужели смерть?» Опять на него нашел ужас, он запыхался, нагнулся, стал искать спичек, надавил локтем на тумбочку. Она мешала ему и делала больно, он разозлился на нее, надавил с досадой сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии, задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти.

Гости уезжали в это время. Прасковья Федоровна провожала их. Она услыхала падение и вошла.

— Что ты?

— Ничего. Уронил нечаянно.

Она вышла, принесла свечу. Он лежал, тяжело и быстро-быстро дыша, как человек, который пробежал версту, остановившимися глазами глядя на нее.

— Что ты, Jean?

— Ниче…го. У…ро…нил. — «Что же говорить.

Она не поймет», — думал он.

Она точно не поняла. Она подняла, зажгла ему свечу и поспешно ушла: ей надо было проводить гостью.

Когда она вернулась, он так же лежал навзничь, глядя вверх.

— Что тебе, или хуже?

— Да.

Она покачала головой, посидела.

— Знаешь, Jean, я думаю, не пригласить ли Лещетицкого на дом.

Это значит знаменитого доктора пригласить и не пожалеть денег. Он ядовито улыбнулся и сказал: «Нет». Она посидела, подошла и поцеловала его в лоб.

Он ненавидел ее всеми силами души в то время, как она целовала его, и делал усилия, чтобы не оттолкнуть ее.

— Прощай. Бог даст, заснешь.

— Да.

VI

Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии.

В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого.

Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мама́, с папа́, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание?

И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, — мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно.

Так чувствовалось ему.

«Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос, но ничего подобного не было во мне; и я и все мои друзья — мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что! — говорил он себе. — Не может быть. Не может быть, а есть. Как же это? Как понять это?»

И он не мог понять и старался отогнать эту мысль, как ложную, неправильную, болезненную, и вытеснить ее другими, правильными, здоровыми мыслями. Но мысль эта, не только мысль, но как будто действительность, приходила опять и становилась перед ним.

И он призывал по очереди на место этой мысли другие мысли в надежде найти в них опору. Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые заслоняли для него прежде мысль о смерти. Но — странное дело — все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого

действия. Последнее время Иван Ильич большей частью проводил в этих попытках восстановить прежние ходы чувства, заслонявшего смерть. То он говорил себе: «Займусь службой, ведь я жил же ею». И он шел в суд, отгоняя от себя всякие сомнения; вступал в разговоры с товарищами и садился, по старой привычке рассеянно, задумчивым взглядом окидывая толпу и обеими исхудавшими руками опираясь на ручки дубового кресла, так же, как обыкновенно, перегибаясь к товарищу, подвигая дело, перешептываясь, и потом, вдруг вскидывая глаза и прямо усаживаясь, произносил известные слова и начинал дело. Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала *свое* сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и *она* приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: «Неужели только *она* правда?» И товарищи и подчиненные с удивлением и огорчением видели, что он, такой блестящий, тонкий судья, путался, делал ошибки. Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до конца заседание и возвращался домой

с грустным сознанием, что не может по-старому судейское его дело скрыть от него то, что он хотел скрыть; что судейским делом он не может избавиться от *нее*. И что было хуже всего — это то, что *она* отвлекала его к себе не затем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился.

И, спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто *она* проникала через все, и ничто не могло заслонить ее.

Бывало, в это последнее время он войдет в гостиную, убранную им, — в ту гостиную, где он упал, для которой он, — как ему ядовито смешно было думать, — для устройства которой он пожертвовал жизнью, потому что он знал, что болезнь его началась с этого ушиба, — он входил и видел, что на лакированном столе был рубец, прорезанный чем-то. Он искал причину и находил ее в бронзовом украшении альбома, отогнутом на краю. Он брал альбом, дорогой, им составленный с любовью, и досадовал на неряшливость дочери и ее друзей, — то разорвано, то

карточки перевернуты. Он приводил это старательно в порядок, загибал опять украшение.

Потом ему приходила мысль весь этот établissement[33] с альбомами переместить в другой угол, к цветам. Он звал лакея: или дочь, или жена приходили на помощь; они не соглашались, противоречили, он спорил, сердился; но все было хорошо, потому что он не помнил о *ней, ее* не видно было.

Но вот жена сказала, когда он сам передвигал: «Позволь, люди сделают, ты опять себе сделаешь вред», и вдруг *она* мелькнула через ширмы, он увидал *ее. Она* мелькнула, он еще надеется, что *она* скроется, но невольно он прислушался к боку, — там сидит все то же, все так же ноет, и он уже не может забыть, и *она* явственно глядит на него из-за цветов. К чему все?

«И правда, что здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно и как глупо! Это не может быть! Не может быть, но есть».

Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один с *нею*. С глазу на глаз с *нею*, а делать с *нею* нечего. Только смотреть на *нее* и холодеть.

---

[33] Сноски: 33
устройство, сооружение *(фр.)*.

VII

Как это сделалось на третьем месяце болезни Ивана Ильича, нельзя было сказать, потому что это делалось шаг за шагом, незаметно, но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и, главное, он сам — знали, что весь интерес в нем для других состоит только в том, скоро ли наконец он опростает место, освободит живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободится от своих страданий.

Он спал меньше и меньше; ему давали опиум и начали прыскать морфином. Но это не облегчало его. Тупая тоска, которую он испытывал в полуусыпленном состоянии, сначала только облегчала его как что-то новое, но потом она стала так же или еще более мучительна, чем откровенная боль.

Ему готовили особенные кушанья по предписанию врачей; но кушанья эти все были для него безвкуснее и безвкуснее, отвратительнее и отвратительнее.

Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было

мученье. Мученье от нечистоты, неприличия и запаха, от сознания того, что в этом должен участвовать другой человек.

Но в этом самом неприятном деле и явилось утешение Ивану Ильичу. Приходил всегда выносить за ним буфетный мужик Герасим.

Герасим был чистый, свежий, раздобревший на городских харчах молодой мужик. Всегда веселый, ясный. Сначала вид этого, всегда чисто, по-русски одетого человека, делавшего это противное дело, смущал Ивана Ильича.

Один раз он, встав с судна и не в силах поднять панталоны, повалился на мягкое кресло и с ужасом смотрел на свои обнаженные, с резко обозначенными мускулами, бессильные ляжки.

Вошел в толстых сапогах, распространяя вокруг себя приятный запах дегтя от сапог и свежести зимнего воздуха, легкой сильной поступью Герасим, в посконном чистом фартуке и чистой ситцевой рубахе, с засученными на голых, сильных, молодых руках рукавами, и, не глядя на Ивана Ильича, — очевидно, сдерживая, чтобы не оскорбить больного, радость жизни, сияющую на его лице, — подошел к судну.

— Герасим, — слабо сказал Иван Ильич.

Герасим вздрогнул, очевидно, испугавшись,

не промахнулся ли он в чем, и быстрым движением повернул к больному свое свежее, доброе, простое, молодое лицо, только что начинавшее обрастать бородой.

— Что изволите?

— Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня. Я не могу.

— Помилуйте-с. — И Герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы. — Отчего ж не потрудиться? Ваше дело больное.

И он ловкими, сильными руками сделал свое привычное дело и вышел, легко ступая. И через пять минут, так же легко ступая, вернулся.

Иван Ильич все так же сидел в кресле.

— Герасим, — сказал он, когда тот поставил чистое, обмытое судно, — пожалуйста, помоги мне, поди сюда. — Герасим подошел. — Подними меня. Мне тяжело одному, а Дмитрия я услал.

Герасим подошел; сильными руками, так же, как он легко ступал, обнял, ловко, мягко поднял и подержал, другой рукой подтянул панталоны и хотел посадить. Но Иван Ильич попросил его свести его на диван. Герасим, без усилия и как будто не нажимая, свел его, почти неся, к дивану и посадил.

— Спасибо. Как ты ловко, хорошо… все дела-

ешь.

Герасим опять улыбнулся и хотел уйти. Но Ивану Ильичу так хорошо было с ним, что не хотелось отпускать.

— Вот что: подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот, под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше.

Герасим принес стул, поставил не стукнув, враз опустил его ровно до полу и поднял ноги Ивана Ильича на стул; Ивану Ильичу показалось, что ему легче стало в то время, как Герасим высоко поднимал его ноги.

— Мне лучше, когда ноги у меня выше, — сказал Иван Ильич. — Подложи мне вон ту подушку.

Герасим сделал это. Опять поднял ноги и положил. Опять Ивану Ильичу стало лучше, пока Герасим держал его ноги. Когда он опустил их, ему показалось хуже.

— Герасим, — сказал он ему, — ты теперь занят?

— Никак нет-с, — сказал Герасим, выучившийся у городских людей говорить с господами.

— Тебе что делать надо еще?

— Да мне что ж делать? Все переделал, только дров наколоть на завтра.

— Так подержи мне так ноги повыше, мо-

жешь?

— Отчего же, можно. — Герасим поднял ноги выше, и Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли.

— А дрова-то как же?

— Не извольте беспокоиться. Мы успеем.

Иван Ильич велел Герасиму сесть и держать ноги и поговорил с ним. И — странное дело — ему казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его ноги.

С тех пор Иван Ильич стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги и любил говорить с ним. Герасим делал это легко, охотно, просто и с добротой, которая умиляла Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях оскорбляла Ивана Ильича; только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала Ивана Ильича.

Главное мучение Ивана Ильича была ложь, — та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться

в том, что́ все знали и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь, ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду… была ужасно мучительна для Ивана Ильича. И — странно — он много раз, когда они над ним проделывали свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им: перестаньте врать, и вы знаете и я знаю, что я умираю, так перестаньте, по крайней мере, врать. Но никогда он не имел духа сделать этого. Страшный, ужасный акт его умирания, он видел, всеми окружающими его был низведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия (вроде того, как обходятся с человеком, который, войдя в гостиную, распространяет от себя дурной запах), тем самым «приличием», которому он служил всю свою жизнь; он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положения. Один только Герасим понимал это положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Ему хорошо было, когда Герасим, иногда

целые ночи напролет, держал его ноги и не хотел уходить спать, говоря: «Вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, высплюсь еще»; или когда он вдруг, переходя на «ты», прибавлял: «Кабы ты не больной, а то отчего же не послужить?» Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего, слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его:

— Все умирать будем. Отчего же не потрудиться? — сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что несет его для умирающего человека и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд.

Кроме этой лжи, или вследствие ее, мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели: Ивану Ильичу в иные минуты, после долгих страданий, больше всего хотелось, как ему ни совестно бы было признаться в этом, — хотелось того, чтоб его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь. Ему хотелось, чтоб его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей. Он знал, что он важный

член, что у него седеющая борода и что потому это невозможно; но ему все-таки хотелось этого. И в отношениях с Герасимом было что-то близкое к этому, и потому отношения с Герасимом утешали его. Ивану Ильичу хочется плакать, хочется, чтоб его ласкали и плакали над ним, и вот приходит товарищ, член Шебек, и, вместо того чтобы плакать и ласкаться, Иван Ильич делает серьезное, строгое, глубокомысленное лицо и по инерции говорит свое мнение о значении кассационного решения и упорно настаивает на нем. Эта ложь вокруг него и в нем самом более всего отравляла последние дни жизни Ивана Ильича.

VIII

Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушел и пришел Петр-лакей, потушил свечи, открыл одну гардину и стал потихоньку убирать. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было — все было все равно, все было одно и то же: ноющая, ни на мгновение не утихающая, мучительная боль; сознание безнадежно все уходящей, но все не ушедшей еще жизни; надвигающаяся все та же страшная ненавистная смерть, которая одна была действительность, и все та же ложь. Какие же тут дни, недели и часы дня?

— Не прикажете ли чаю?

«Ему нужен порядок, чтоб по утрам господа пили чай», — подумал он и сказал только:

— Нет.

— Не угодно ли перейти на диван?

«Ему нужно привести в порядок горницу, и я мешаю, я — нечистота, беспорядок», — подумал он и сказал только:

— Нет, оставь меня.

Лакей повозился еще. Иван Ильич протянул руку. Петр подошел услужливо.

— Что прикажете?

— Часы.

Петр достал часы, лежавшие под рукой, и подал.

— Половина девятого. Там не встали?

— Никак нет-с. Василий Иванович (это был сын) ушли в гимназию, а Прасковья Федоровна приказали разбудить их, если вы спросите. Прикажете?

— Нет, не надо. — «Не попробовать ли чаю?» — подумал он. — Да, чаю… принеси.

Петр пошел к выходу. Ивану Ильичу страшно стало оставаться одному. «Чем бы задержать его? Да, лекарство».

— Петр, подай мне лекарство. — «Отчего же, может быть, еще поможет и лекарство». Он взял ложку, выпил. «Нет, не поможет. Все это вздор, обман, — решил он, как только почувствовал знакомый приторный и безнадежный вкус. — Нет, уж не могу верить. Но боль-то, боль-то зачем, хоть на минуту затихла бы. И он застонал. Петр вернулся. — Нет, иди. Принеси чаю.

Петр ушел. Иван Ильич, оставшись один, застонал не столько от боли, как она ни была ужасна, сколько от тоски. «Все то же и то же, все эти бесконечные дни и ночи. Хоть бы скорее. Что скорее? Смерть, мрак. Нет, нет. Все лучше смерти!»

Когда Петр вошел с чаем на подносе, Иван Ильич долго растерянно смотрел на него, не понимая, кто он и что он. Петр смутился от этого взгляда. И когда Петр смутился, Иван Ильич очнулся.

— Да, — сказал он, — чай… хорошо, поставь. Только помоги мне умыться и рубашку чистую.

И Иван Ильич стал умываться. Он с отдыхом умыл руки, лицо, вычистил зубы, стал причесываться и посмотрел в зеркало. Ему страшно стало; особенно страшно было то, как волосы плоско прижимались к бледному лбу.

Когда переменяли ему рубашку, он знал, что ему будет еще страшнее, если он взглянет на свое тело, и не смотрел на себя. Но вот кончилось все. Он надел халат, укрылся пледом и сел в кресло к чаю. Одну минуту он почувствовал себя освеженным, но только что он стал пить чай, опять тот же вкус, та же боль. Он насильно допил и лег, вытянув ноги. Он лег и отпустил Петра.

Все то же. То капля надежды блеснет, то взбушуется море отчаяния, и все боль, все боль, все тоска и все одно и то же. Одному ужасно тоскливо, хочется позвать кого-нибудь, но он вперед знает, что при других еще хуже. «Хоть бы опять морфин — забыться бы. Я скажу ему, доктору,

чтоб он придумал что-нибудь еще. Это невозможно, невозможно так».

Час, два проходит так. Но вот звонок в передней. Авось доктор. Точно, это доктор, свежий, бодрый, жирный, веселый, с тем выражением — что вот вы там чего-то напугались, а мы сейчас вам все устроим. Доктор знает, что это выражение здесь не годится, но он уже раз навсегда надел его и не может снять, как человек, с утра надевший фрак и едущий с визитами.

Доктор бодро, утешающе потирает руки.

— Я холоден. Мороз здоровый. Дайте обогреюсь, — говорит он с таким выражением, что как будто только надо немножко подождать, пока он обогреется, а когда обогреется, то уж все исправит. — Ну что, как?

Иван Ильич чувствует, что доктору хочется сказать: «Как делишки?», но что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит: «Как вы провели ночь?»

Иван Ильич смотрит на доктора с выражением вопроса: «Неужели никогда не станет тебе стыдно врать?» Но доктор не хочет понимать вопрос.

И Иван Ильич говорит:

— Все так же ужасно. Боль не проходит, не сдается. Хоть бы что-нибудь!

— Да, вот вы, больные, всегда так. Ну-с, теперь, кажется, я согрелся, даже аккуратнейшая Прасковья Федоровна ничего бы не имела возразить против моей температуры. Ну-с, здравствуйте. — И доктор пожимает руку.

И, откинув всю прежнюю игривость, доктор начинает с серьезным видом исследовать больного, пульс, температуру, и начинаются постукиванья, прослушиванья.

Иван Ильич знает твердо и несомненно, что все это вздор и пустой обман, но когда доктор, став на коленки, вытягивается над ним, прислоняя ухо то выше, то ниже, и делает над ним с значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддается этому, как он поддавался, бывало, речам адвокатов, тогда как он уж очень хорошо знал, что они всё врут и зачем врут.

Доктор, стоя на коленках на диване, еще что-то выстукивал, когда зашумело в дверях шелковое платье Прасковьи Федоровны и послышался ее упрек Петру, что ей не доложили о приезде доктора.

Она входит, целует мужа и тотчас же начинает доказывать, что она давно уж встала и только по недоразумению ее не было тут, когда приехал

доктор.

Иван Ильич смотрит на нее, разглядывает ее всю и в упрек ставит ей и белизну, и пухлость, и чистоту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит ее. И прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней.

Ее отношение к нему и его болезни все то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему — то, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом, — и не могла уже снять этого отношения к нему.

— Да ведь вот он не слушается! Не принимает вовремя. А главное — ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему, — ноги кверху.

Она рассказала, как он заставляет Герасима держать себе ноги.

Доктор улыбнулся презрительно-ласково: «Что ж, мол, делать, эти больные выдумывают иногда такие глупости; но можно простить».

Когда осмотр кончился, доктор посмотрел на часы, и тогда Прасковья Федоровна объявила Ивану Ильичу, что уж как он хочет, а она нынче

пригласила знаменитого доктора, и они вместе с Михаилом Даниловичем (так звали обыкновенного доктора) осмотрят и обсудят.

— Ты уж не противься, пожалуйста. Это я для себя делаю, — сказала она иронически, давая чувствовать, что она все делает для него и только этим не дает ему права отказать ей. Он молчал и морщился. Он чувствовал, что ложь эта, окружающая его, так путалась, что уж трудно было разобрать что-нибудь.

Она все над ним делала только для себя и говорила ему, что она делает для себя то, что она точно делала для себя, как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно.

Действительно, в половине двенадцатого приехал знаменитый доктор. Опять пошли выслушиванья и значительные разговоры при нем и в другой комнате о почке, о слепой кишке и вопросы и ответы с таким значительным видом, что опять вместо реального вопроса о жизни и смерти, который уже теперь один стоял перед ним, выступил вопрос о почке и слепой кишке, которые что-то делали не так, как следовало, и на которые за это вот-вот нападут Михаил Данилович и знаменитость и заставят их исправиться.

Знаменитый доктор простился с серьезным,

но не с безнадежным видом. И на робкий вопрос, который с поднятыми к нему блестящими страхом и надеждой глазами обратил Иван Ильич, есть ли возможность выздоровления, отвечал, что ручаться нельзя, но возможность есть. Взгляд надежды, с которым Иван Ильич проводил доктора, был так жалок, что, увидав его, Прасковья Федоровна даже заплакала, выходя из дверей кабинета, чтобы передать гонорар знаменитому доктору.

Подъем духа, произведенный обнадеживанием доктора, продолжался недолго. Опять та же комната, те же картины, гардины, обои, склянки и то же свое болящее, страдающее тело. И Иван Ильич начал стонать; ему сделали вспрыскиванье, и он забылся.

Когда он очнулся, стало смеркаться; ему принесли обедать. Он поел с усилием бульона; и опять то же, и опять наступающая ночь.

После обеда, в семь часов, в комнату его вошла Прасковья Федоровна, одетая как на вечер, с толстыми, подтянутыми грудями и с следами пудры на лице. Она еще утром напоминала ему о поездке их в театр. Была приезжая Сарра Бернар, и у них была ложа, которую он настоял, чтоб они взяли. Теперь он забыл про это, и ее наряд

оскорбил его. Но он скрыл свое оскорбление, когда вспомнил, что он сам настаивал, чтоб они достали ложу и ехали, потому что это для детей воспитательное эстетическое наслаждение.

Прасковья Федоровна вошла довольная собою, но как будто виноватая. Она присела, спросила о здоровье, как он видел, для того только, чтоб спросить, но не для того, чтобы узнать, зная, что и узнавать нечего, и начала говорить то, что ей нужно было: что она ни за что не поехала бы, но ложа взята, и едут Элен и дочь и Петрищев (судебный следователь, жених дочери), и что невозможно их пустить одних. А что ей так бы приятнее было посидеть с ним. Только бы он делал без нее по предписанию доктора.

— Да, и Федор Петрович (жених) хотел войти. Можно? И Лиза.

— Пускай войдут.

Вошла дочь разодетая, с обнаженным молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его. А она его выставляла. Сильная, здоровая, очевидно, влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью.

Вошел и Федор Петрович во фраке, завитой à la Capoul, с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой

грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком.

За ним вползнезаметно и гимназистик в новеньком мундирчике, бедняжка, в перчатках и с ужасной синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич.

Сын всегда жалок был ему. И страшен был его испуганный и соболезнующий взгляд. Кроме Герасима, Ивану Ильичу казалось, что один Вася понимал и жалел.

Все сели, опять спросили о здоровье. Произошло молчание. Лиза спросила у матери о бинокле. Произошли пререкания между матерью и дочерью, кто куда его дел. Вышло неприятно.

Федор Петрович спросил у Ивана Ильича, видел ли он Сарру Бернар. Иван Ильич не понял сначала того, что у него спрашивали, а потом сказал:

— Нет; а вы уж видели?

— Да, в «Adrienne Lecouvreur».

Прасковья Федоровна сказала, что она особенно хороша в том-то. Дочь возразила. Начался разговор об изяществе и реальности ее игры, — тот самый разговор, который всегда бывает один и тот же.

В середине разговора Федор Петрович взглянул на Ивана Ильича и замолк. Другие взглянули и замолкли. Иван Ильич смотрел блестящими глазами пред собою, очевидно, негодуя на них. Надо было поправить это, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть. Лиза первая решилась. Она прервала молчание. Она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговорилась.

— Однако *если ехать*, то пора, — сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца, и чуть заметно, значительно о чем-то, им одним известном, улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев платьем.

Все встали, простились и уехали.

Когда они вышли, Ивану Ильичу показалось, что ему легче: лжи не было, — она ушла с ними, но боль осталась. Все та же боль, все тот же страх делали то, что ничто не тяжеле, ничто не легче. Все хуже.

Опять пошли минута за минутой, час за часом, все то же, и все нет конца, и все страшнее неизбежный конец.

— Да, пошлите Герасима, — ответил он на вопрос Петра.

IX

Поздно ночью вернулась жена. Она вошла на цыпочках, но он услыхал ее: открыл глаза и поспешно закрыл опять. Она хотела услать Герасима и сама сидеть с ним. Он открыл глаза и сказал:

— Нет. Иди.

— Ты очень страдаешь?

— Все равно.

— Прими опиума.

Он согласился и выпил. Она ушла.

Часов до трех он был в мучительном забытьи. Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий черный мешок и глубокий, и все дальше просовывают, и не могут просунуть. И это ужасное для него дело совершается с страданием. И он и боится, и хочет провалиться туда, и борется, и помогает. И вот вдруг он оборвался и упал, и очнулся. Все тот же Герасим сидит в ногах на постели, дремлет спокойно, терпеливо. А он лежит, подняв ему на плечи исхудалые ноги в чулках; свеча та же с абажуром, и та же непрекращающаяся боль.

— Уйди, Герасим, — прошептал он.

— Ничего, посижу-с.

— Нет, уйди.

Он снял ноги, лег боком на руку, и ему стало жалко себя. Он подождал только того, чтоб Герасим вышел в соседнюю комнату, и не стал больше удерживаться и заплакал, как дитя. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога.

«Зачем ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что, за что так ужасно мучаешь меня?..»

Он и не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: «Ну еще, ну бей! Но за что? Что я сделал тебе, за что?»

Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание: как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем.

— Чего тебе нужно? — было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал. — Что тебе нужно? Чего тебе нужно? — повторил он себе. — Чего? — Не страдать. Жить, — ответил он.

И опять он весь предался вниманию такому

напряженному, что даже боль не развлекала его.

— Жить? Как жить? — спросил голос души.

— Да, жить, как я жил прежде: хорошо, приятно.

— Как ты жил прежде, хорошо и приятно? — спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но — странное дело — все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все — кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом.

Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое.

И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. Начиналось это с Правоведения. Там было еще кое-что истинно хорошее: там было веселье, там была дружба, там были надежды.

Но в высших классах уже были реже эти хорошие минуты. Потом, во время первой службы у губернатора, опять появились хорошие минуты: это были воспоминания о любви к женщине. Потом все это смешалось, и еще меньше стало хорошего. Далее еще меньше хорошего, и что дальше, то меньше.

Женитьба… так нечаянно, и разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство! И эта мертвая служба, и эти заботы о деньгах, и так год, и два, и десять, и двадцать — и все то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь… И вот готово, умирай!

Так что ж это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтоб так бессмысленна, гадка была жизнь? А если точно она так гадка и бессмысленна была, так зачем же умирать, и умирать страдая? Что-нибудь не так.

«Может быть, я жил не так, как должно?» — приходило ему вдруг в голову. «Но как же не так, когда я делал все как следует?» — говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти, как что-то

совершенно невозможное.

«Чего ж ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: “Суд идет!..” Суд идет, идет суд, — повторил он себе. — Вот он, суд! Да я же не виноват! — вскрикнул он с злобой. — За что?» И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать все об одном и том же: зачем, за что весь этот ужас?

Но сколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что все это происходит оттого, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль.

X

Прошло еще две недели. Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И, лежа почти все время лицом к стене, он одиноко страдал все те же неразрешающиеся страдания и одиноко думал все ту же неразрешающуюся думу. Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: да, правда. Зачем эти муки? И голос отвечал: а так, ни зачем. Дальше и кроме этого ничего не было.

С самого начала болезни, с того времени, как Иван Ильич в первый раз поехал к доктору, его жизнь разделилась на два противоположные настроения, сменявшие одно другое: то было отчаяние и ожидание непонятной и ужасной смерти, то была надежда и исполненное интереса наблюдение за деятельностью своего тела. То перед глазами была одна почка или кишка, которая на время отклонилась от исполнения своих обязанностей, то была одна непонятная ужасная смерть, от которой ничем нельзя избавиться.

Эти два настроения с самого начала болезни сменяли друг друга; но чем дальше шла болезнь,

тем сомнительнее и фантастичнее становились соображения о почке и тем реальнее сознание наступающей смерти.

Стоило ему вспомнить о том, чем он был три месяца тому назад, и то, что он теперь; вспомнить, как равномерно он шел под гору, — чтобы разрушилась всякая возможность надежды.

В последнее время того одиночества, в котором он находился, лежа лицом к спинке дивана, того одиночества среди многолюдного города и своих многочисленных знакомых и семьи, — одиночества, полнее которого не могло быть нигде: ни на дне моря, ни в земле, — в последнее время этого страшного одиночества Иван Ильич жил только воображением в прошедшем. Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего. Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдаленному, к детству, и на нем останавливалось. Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали есть нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки. «Не надо об этом…

слишком больно», — говорил себе Иван Ильич и опять переносился в настоящее. Пуговица на спинке дивана и морщины сафьяна. «Сафьян дорог, непрочен; ссора была из-за него. Но сафьян другой был, и другая ссора, когда мы разорвали портфель у отца и нас наказали, а мама принесла пирожки». И опять останавливалось на детстве, и опять Ивану Ильичу было больно, и он старался отогнать и думать о другом.

И опять тут же, вместе с этим ходом воспоминания, у него в душе шел другой ход воспоминаний — о том, как усиливалась и росла его болезнь. То же, что дальше назад, то больше было жизни. Больше было и добра в жизни, и больше было и самой жизни. И то и другое сливалось вместе. «Как мучения все идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла все хуже и хуже», — думал он. Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом все чернее и чернее и все быстрее и быстрее. «Обратно пропорционально квадратам расстояний от смерти», — подумал Иван Ильич. И этот образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой, запал ему в душу. Жизнь, ряд увеличивающихся страданий, летит быстрее и быстрее к концу, страшнейшему страданию. «Я лечу…» Он вздрагивал, шевелился,

хотел противиться; но уже он знал, что противиться нельзя, и опять усталыми от смотрения, но не могущими не смотреть на то, что было перед ним, глазами глядел на спинку дивана и ждал, — ждал этого страшного падения, толчка и разрушения. «Противиться нельзя, — говорил он себе. — Но хоть бы понять, зачем это? И того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо. Но этого-то уже невозможно признать», — говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни. «Этого-то опустить уж невозможно, — говорил он себе, усмехаясь губами, как будто кто-нибудь мог видеть эту его улыбку и быть обманутым ею. — Нет объяснения! Мучение, смерть… Зачем?»

XI

Так прошло две недели. В эти недели случилось желанное для Ивана Ильича и его жены событие: Петрищев сделал формальное предложение. Это случилось вечером. На другой день Прасковья Федоровна вошла к мужу, обдумывая, как объявить ему о предложении Федора Петровича, но в эту самую ночь с Иваном Ильичом свершилась новая перемена к худшему. Прасковья Федоровна застала его на том же диване, но в новом положении. Он лежал навзничь, стонал и смотрел перед собою остановившимся взглядом.

Она стала говорить о лекарствах. Он перевел свой взгляд на нее. Она не договорила того, что начала: такая злоба, именно к ней, выражалась в этом взгляде.

— Ради Христа, дай мне умереть спокойно, — сказал он.

Она хотела уходить, но в это время вошла дочь и подошла поздороваться. Он так же посмотрел на дочь, как и на жену, и на ее вопросы о здоровье сухо сказал ей, что он скоро освободит их всех от себя. Обе замолчали, посидели и вышли.

— В чем же мы виноваты? — сказала Лиза ма-

тери. — Точно мы это сделали! Мне жалко папá, но за что же нас мучать?

В обычное время приехал доктор. Иван Ильич отвечал ему: «да, нет», не спуская с него озлобленного взгляда, и под конец сказал:

— Ведь вы знаете, что ничего не поможете, так оставьте.

— Облегчить страдания можем, — сказал доктор.

— И того не можете; оставьте.

Доктор вышел в гостиную и сообщил Прасковье Федоровне, что очень плохо и что одно средство — опиум, чтобы облегчить страдания, которые должны быть ужасны.

Доктор говорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда; но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение.

Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь, глядя на сонное, добродушное скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: а что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была «не то».

Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно

было, что это могло быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, — что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой все это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было.

«А если это так, — сказал он себе, — и я ухожу из жизни с сознанием того, что погубил все, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что ж» Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь. Когда он увидал утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, — каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, все то, чем он жил, и ясно видел, что все это было не то, все это было ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть. Это сознание увеличило, удесятерило его физические страдания. Он стонал, и метался, и обдергивал на себе одежду. Ему

казалось, что она душила и давила его. И за это он ненавидел их.

Ему дали большую дозу опиума, он забылся; но в обед началось опять то же. Он гнал всех от себя и метался с места на место.

Жена пришла к нему и сказала:

— Jean, голубчик, сделай это для меня (для меня?). Это не может повредить, но часто помогает. Что же, это ничего. И здоровые часто…

Он открыл широко глаза.

— Что? Причаститься? Зачем? Не надо! А впрочем…

Она заплакала.

— Да, мой друг? Я позову нашего, он такой милый.

— Прекрасно, очень хорошо, — проговорил он.

Когда пришел священник и исповедовал его, он смягчился, почувствовал как будто облегчение от своих сомнений и вследствие этого от страданий, и на него нашла минута надежды. Он опять стал думать о слепой кишке и возможности исправления ее. Он причастился со слезами на глазах.

Когда его уложили после причастия, ему стало на минуту легко, и опять явилась надежда на жизнь. Он стал думать об операции, которую

предлагали ему. «Жить, жить хочу», — говорил он себе. Жена пришла поздравить; она сказала обычные слова и прибавила:

— Не правда ли, тебе лучше?

Он, не глядя на нее, проговорил: да.

Ее одежда, ее сложение, выражение ее лица, звук ее голоса — все сказало ему одно: «Не то. Все то, чем ты жил и живешь, — есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть». И как только он подумал это, поднялась его ненависть и вместе с ненавистью физические мучительные страдания и с страданиями сознание неизбежной, близкой погибели. Что-то сделалось новое: стало винтить, и стрелять, и сдавливать дыхание.

Выражение лица его, когда он проговорил «да», было ужасно. Проговорив это «да», глядя ей прямо в лицо, он необычайно для своей слабости быстро повернулся ничком и закричал:

— Уйдите, уйдите, оставьте меня!

XII

С этой минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. В ту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришел конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено, так и остается сомнением.

— У! Уу! У! — кричал он на разные интонации. Он начал кричать: «Не хочу!» — и так продолжал кричать на букву «у».

Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признанье того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание

своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучало его.

Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад и вдруг узнаешь настоящее направление.

— Да, все было не то, — сказал он себе, — но это ничего. Можно, можно сделать «то». Что ж «то»? — спросил он себя и вдруг затих.

Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умирающий все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал.

В это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя: что же «то», и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми

слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее.

«Да, я мучаю их, — подумал он. — Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. «Впрочем, зачем же говорить, надо сделать», — подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал:

— Уведи… жалко… и тебя… — Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти», и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо.

И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто, — подумал он. — А боль? — спросил он себя. — Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?»

Он стал прислушиваться.

«Да, вот она. Ну что ж, пускай боль».

«А смерть? Где она?»

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет.

— Так вот что! — вдруг вслух проговорил он. — Какая радость!

Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотанье и хрипенье.

— Кончено! — сказал кто-то над ним.

Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть, — сказал он себе. — Ее нет больше».

Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер.

Хаджи-Мурат
Предисловие «Полки»

Кавказский воин, перешедший на сторону врага, – идеальный герой для размышлений позднего Толстого о жизнестойкости и о развращающей силе власти. Последняя большая художественная вещь и в каком-то смысле завещание Толстого.

Игорь Кириенков

О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

«Хаджи-Мурат» — история аварского полевого командира, который во время Кавказской войны переходит на сторону русских. С их помощью он рассчитывает вызволить свою семью, захваченную имамом Шамилем[34], но вскоре сам

---

[34] Сноски: 34

Шамиль (1797–1871) — предводитель кавказских горцев. В 1840 году стал имамом Чечни и Дагестана, почти четверть века провел в боях с русскими войсками. В 1859 году Шамилю пришлось сдаться в плен. Он познакомился с императором Александром II, посетил Петербург и Москву и поселился в Калуге. Шамиль принес присягу на верноподданство России и был возведен в потомственное дворянство. В 1869 году совершил хадж, умер в Медине.

становится пленником имперской администрации, решается на побег и гибнет в перестрелке. «Хаджи-Мурат» — одно из последних произведений Толстого, итоговое высказывание писателя о личной свободе и о том, что ее подавляет. Это безжалостная характеристика российской колониальной политики, которая опирается на задокументированные факты. А еще — триумф художественного метода, позволяющего автору с одинаковой глубиной описывать боевые столкновения и светские приемы, солдат и вождей, русских и горцев, жизнь и смерть.

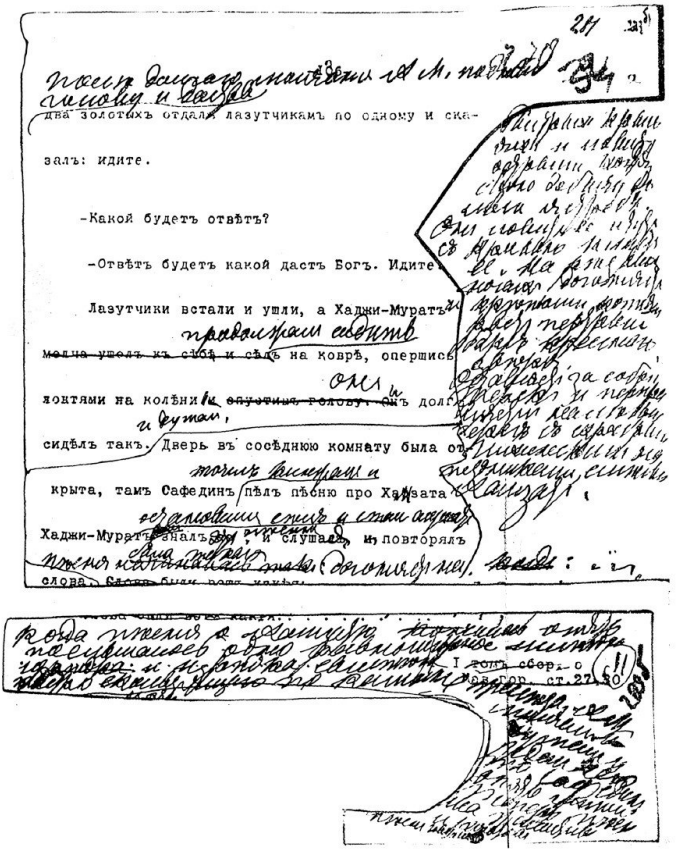
КОГДА ОНА НАПИСАНА?

С 10 августа 1896 года — когда Толстой начал писать «кавказский рассказ» под названием «Репей» — до 19 декабря 1904 года, когда он внес последние изменения в XXIII главу книги, которая теперь называлась «Хаджи-Мурат».

Работа над повестью продвигалась с большим трудом; три года — с 1899-го по 1901-й — Толстой вообще не притрагивался к тексту. В основном это было связано с тем, что в то время писатель был занят романом «Воскресение» (1899), драмой «Живой труп» (1900) и публицистикой. Другая причина — усложнение первоначального

замысла: в орбиту повести о побеге и смерти Хаджи-Мурата попали крупные исторические лица — Шамиль и Николай I, что потребовало дополнительных разысканий.

Толстой регулярно упоминал книгу в своих дневниках: восторг («Писал очень хорошо две главы») сменялся разочарованием в себе («Плохо работал. Опять расстрясся»), удовольствие от возвращения к беллетристике («Когда кончил, то захотелось продолжать художественную работу») — стыдом за потраченное время и усилия («Совестно писать пустяки»). Писатель то порывался совсем бросить «Хаджи-Мурата», то возвращался к нему, по много раз отделывая разные фрагменты: так, первые тринадцать глав книги переписывались пять раз, а пятнадцатая глава, посвященная Николаю I, — восемь. «Хаджи-Мурат» оказался самым мучительным текстом Толстого — и самым сокровенным: он не расставался с рукописью до 28 октября 1910 года, своего последнего дня в Ясной Поляне.



Один из черновиков XXII главы «Хаджи-Му-

рата»[35]

КАК ОНА НАПИСАНА?

Как и «Война и мир», «Хаджи-Мурат» — стереоскопическое изображение реального военного конфликта: противостояние Российской империи и Северо-Кавказского имамата[36] описано с разных точек зрения — глазами солдат и генералов, мужчин и женщин, из Петербурга и с передовой. Толстой забирается в голову тем, кто принимает решения, и обнаруживает за их судьбоносными поступками эмоциональную изнанку — борьбу явных желаний и потаенных страхов, столкновение рационального и подсознательного.

Словно «Воскресение», «Хаджи-Мурат» — пример фундаментальной, остраняющей критики государственных институтов. Толстой не только рассказывает историю героя, но и разоблачает общие места о власти и правосудии, демонстрируя повседневную жестокость аппарата насилия.

---

[35] Сноски: 35

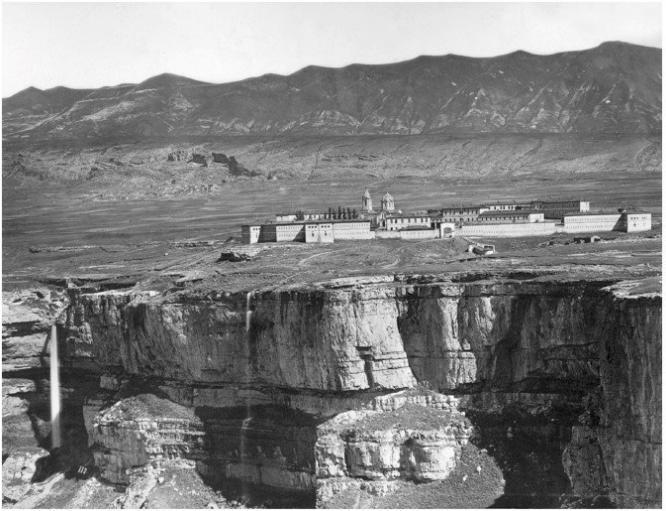
Один из черновиков XXII главы «Хаджи-Мурата». Государственный музей Л. Н. Толстого.

[36] Сноски: 36

Исламское государство, существовавшее на территории Чечни и части Дагестана с 1829 по 1859 год. Было присоединено к России во время Кавказской войны. Государственным языком имамата был арабский.

Одно из следствий этой установки на экстремальную откровенность — крайне натуралистичное и беспрецедентное для русской классики описание убийства Хаджи-Мурата.

Литературовед Владимир Туниманов назвал «Хаджи-Мурата» и раннюю повесть Толстого «Казаки» «кавказской “рифмой”», соединяющей разные этапы жизни писателя. В обоих случаях автор работает с региональным контекстом с тщательностью этнографа и жаром публициста: он на разных уровнях исследует устройство кавказской культуры и намечает конфликт цивилизации (метрополии) и природы (непокорных окраин).



Хунзахская крепость, Дагестан[37]

ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?

1890-е годы — полноправное возвращение Толстого в литературу как бы на новых основаниях: после долгого перерыва он снова испытывает потребность в развернутом художественном высказывании, которое бы позволило ему изложить свои идеи в популярной форме. В этом смысле

[37] Сноски: 37
Хунзахская крепость, Дагестан. 1880-е годы. Из открытых источников.

можно сказать, что «Хаджи-Мурата» предвосхитили другие произведения, написанные Толстым в это десятилетие, — от «Плодов просвещения» (1890) и «Дьявола» (1890) до «Сна молодого царя» (1894) и «Хозяина и работника» (1895).

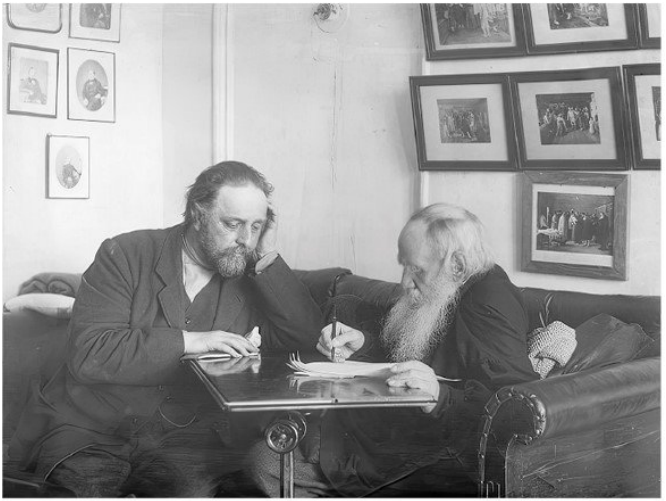
Тема повести определенно связана с перипетиями толстовской биографии. 21 февраля 1895 года он объявил жене о желании уйти из дома: они повздорили из-за того, что писатель отдал «Хозяина и работника» в журнал «Северный вестник», лишив семью доходов от произведения. Через два дня умер их последний — и особенно любимый — ребенок, шестилетний Ваня. Толстой записал в дневнике: «В первый раз в жизни я чувствую безвыходность». Два мотива — уход из семьи и тревога за детей — соединились в письме, которое писатель хотел оставить на прощание Софье Андреевне в июне 1897 года, и в «Хаджи-Мурате».

Наконец, Толстой провел огромную исследовательскую работу. «Когда я пишу историческое, я люблю быть до малейших подробностей верным действительности», — сказал он Ивану Корганову, который ребенком видел Хаджи-Мурата и поделился с автором своими воспоминаниями. Следуя этому принципу, писатель освоил обширный — по меньшей мере 172 сочине-

ния — круг источников. Назовем самые главные: многотомный «Сборник сведений о кавказских горцах», «Двадцать пять лет на Кавказе» Арнольда Зиссермана, «Воспоминания» Владимира Полторацкого, «Плен у Шамиля» Евграфа Вердеревского, «Император Николай Первый. Его жизнь и царствование» Николая Шильдера и мемуары об императоре, подготовленные художницей Екатериной Юнге по просьбе Толстого. Помимо прочего, писатель перечитал беллетристику николаевского времени — повести Александра Бестужева-Марлинского «Аммалат-Бек» (1832) и «Мулла-Нур» (1836), которого раньше критиковал за обилие романтических клише. Вероятно, к числу источников можно отнести и собственные сочинения Толстого о Кавказе: «Набег» (1852), «Записки маркера» (1853), «Рубка леса» (1855), «Разжалованный» (1856), «Казаки» (1862) и «Кавказский пленник» (1872).

КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?

После смерти Толстого в 1910 году его бумагами распоряжался друг и соратник писателя Владимир Чертков.



Лев Толстой и Владимир Чертков в Ясной Поляне[38]

Готовя вместе с Павлом Буланже трехтомное издание «Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого» (в числе которых был и «Хаджи-Мурат»), он сам решил отдать книги властям на предварительный просмотр: это должно было обезопасить их от конфискации после публикации. Министерство двора намекало

[38] Сноски: 38

Лев Толстой и Владимир Чертков в Ясной Поляне. 1909 год. Государственный музей Л. Н. Толстого.

Черткову, что главным цензором Толстого хочет стать император Николай II — подобно тому, как его прадед Николай I был цензором Пушкина, — но в итоге эта обязанность была возложена на начальника Главного управления по делам печати Алексея Бельгарда.

Он обнаружил в «Произведениях» много «противозаконного». В частности, по мнению Бельгарда, в «Хаджи-Мурате» «император Николай I подвергается недопустимым, крайне грубым и оскорбительным для его памяти нападкам»; помимо прочего, «изложены в дерзостной, неуважительной форме отзывы о нем как носителе верховной власти, а также о царствовавших ранее государях и государынях».

В результате первое издание повести (Москва, 1912 год) вышло с несколькими цензурными пропусками. Глава про Николая I была сокращена более чем вдвое: четыре с половиной страницы вместо десяти. От XVII главы осталось одно предложение: «Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским».

В том же 1912 году в берлинском Издательстве

И. П. Ладыжникова[39] увидела свет бесцензурная версия «Произведений» — «Хаджи-Мурат» был опубликован в третьем томе. Однако следует заметить, что обе — московская и берлинская — редакции книги ориентировались на один и тот же текст Буланже, не имевшего доступа к первоначальным рукописям Толстого. Полное, основанное на автографах писателя издание «Хаджи-Мурата» вышло только в 1950 году в 35-м томе полного собрания сочинений Толстого, в нем были устранены ошибки переписчиков и авторские описки и представлены варианты и конспекты повести.

КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?

Довольно прохладно. Василий Розанов считал поздние произведения Толстого слабыми и назвал страницы «Хаджи-Мурата», посвященные Николаю I, «позорными». Издатель «Нового вре-

[39] Сноски: 39

Издательство И. П. Ладыжникова выпускало литературу на русском языке сначала в Женеве, затем в Берлине. После революции издательство ориентировалось на эмигрантскую аудиторию, в частности выпускало серию классики «Русская библиотека» и серию научных книг «Библиотека современного знания». Просуществовало с 1905 по 1927 год.

мени» Алексей Суворин[40] высказался еще резче: «Против “Капитанской дочки” чего же это стоит. Говно».

Но с годами репутация повести упрочилась. Марк Алданов[41] сказал Ивану Бунину: «Великая русская литература… кончилась на “Хаджи-Мурате”». Исаак Бабель рекомендовал учиться на этой повести простоте и точности изложения: «Там ток шел от земли, прямо через руки, прямо к бумаге, без всякого средостения, совершенно беспощадно срывая всякие покровы чувством правды, причем когда эта правда появлялась, то она облекалась в прозрачные и прекрасные одежды». А обожавший русскую классику философ Людвиг Витгенштейн советовал «Хаджи-Мурата» своим друзьям и коллегам, ставя его выше

---

[40] Сноски: 40

Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912) — писатель, драматург, издатель. Приобрел известность благодаря воскресным фельетонам, публиковавшимся в «Санкт-Петербургских ведомостях». В 1876 году купил газету «Новое время», вскоре основал свой книжный магазин и типографию, в которой издавал справочники «Русский календарь», «Вся Россия», серию книг «Дешевая библиотека». Среди известных драм Суворина — «Татьяна Репина», «Медея», «Дмитрий Самозванец и царевна Ксения».

[41] Сноски: 41

Марк Александрович Алданов (1886–1957) — писатель, философ. В России занимался химией, выпустил книгу о Льве Толстом. В 1918 году эмигрировал, до начала войны жил в Берлине и Париже. Печатал в газете «Последние новости» исторические очерки, писал исторические романы. В 1940 году переехал в США, там работал в «Новом журнале»,

газете «Новое русское слово» и Издательстве имени Чехова. Дружил с Буниным и Набоковым. Алданова 13 раз выдвигали на Нобелевскую премию по литературе.

несколько прямолинейного «Воскресения»: «Его [Толстого] философия представляется мне самой верной, когда она скрыта в повествовании».



Аарон Билис. Портрет Марка Алданова[42]

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

В последние годы жизни Толстой почти не сочинял художественную прозу, сосредоточившись на дневниках, статьях и письмах. Во многом это связано с последствиями затяжной болезни, пережитой писателем в 1901–1902 годах; вероятно, даже более веская причина — его окончательное разочарование в возможностях художественной литературы, которое нашло свое выражение в трактатах «Что такое искусство?» (1897) и «О Шекспире и о драме» (1906).

В 1906 году Российская академия наук номинировала Толстого на Нобелевскую премию. В октябре он попросил финского писателя и переводчика Арвида Ярнефельта повлиять на решение Шведской академии — Толстой не хотел получать награду, потому что не знал, как распорядиться денежным призом. Премия досталась итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи.

Обстоятельства ухода и смерти Толстого широко известны: он скончался 7 ноября 1910 года

---

[42] Сноски: 42

Аарона Билиса. Портрет Марка Алданова. 1931 год. Из открытых источников.

на станции Астапово. «Хаджи-Мурат», опубликованный посмертно, быстро стал хрестоматийным произведением писателя — наравне с трилогией «Детство. Отрочество. Юность», зрелыми романами и «Смертью Ивана Ильича». Теоретик формализма Виктор Шкловский считал ее «величайшей вещью среди великих» у Толстого. Историк литературы Дмитрий Святополк-Мирский полагал, что в ней писатель «достигает наибольшей высоты». В своем обширном «Комментарии к “Евгению Онегину”» Владимир Набоков назвал «Хаджи-Мурата» «восхитительной повестью». Наконец, по мнению американского литературоведа и автора книги «Западный канон» Гарольда Блума, это «лучшая повесть на свете» и «эталон возвышенного в художественной прозе».

При этом кинематографическая и сценическая история «Хаджи-Мурата» крайне небогата. Он был экранизирован в Германии в 1930 году под названием «Белый дьявол» (в главной роли — Иван Мозжухин); в 1959-м вышел итало-югославский фильм «Хаджи-Мурат». В 1966-м к повести подступился режиссер Георгий Данелия, но советские цензоры забраковали сценарий аварского поэта Расула Гамзатова. Тот оставил на своей рукописи небольшое стихотворение,

которое заканчивалось такими строчками: «Но почему, хоть ты погиб давно, / Тебя еще боится Госкино?» Что до театра, то «Хаджи-Мурат» стал достоянием по преимуществу кавказских площадок: его ставили в Буйнакске (1934), Махачкале (2012), Тбилиси (2014), Баку (2016), Сухуми (2018). Последний спектакль, срежиссированный Адгуром Кове, был показан на театральном фестивале «Толстой» в Ясной Поляне в 2019 году.

ЧЕМ «ХАДЖИ-МУРАТ» ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТОЛСТОГО О КАВКАЗЕ?

Своим масштабом: филолог Петр Палиевский назвал эту повесть «конспективной эпопеей», имея в виду панорамность толстовского письма при весьма умеренном объеме. Дистанцией по отношению к материалу: в отличие от «Набега», «Рубки леса» и «Казаков», «Хаджи-Мурат» — текст, написанный на внушительном расстоянии от исторических событий; это не просто эстетическое освоение собственных кавказских впечатлений, но результат синтеза многочисленных источников — по определению самого автора, история-искусство. Зрелостью творческой манеры: в 1850-е Толстой еще только учился совмещать повествование и проповедь,

художественное и дидактическое; в 1890–1900-е он произвольно переключался между этими регистрами в зависимости от эффекта, который хотел произвести на читателя.

КАК УСТРОЕНО ПОВЕСТВОВАНИЕ В «ХАДЖИ-МУРАТЕ»?

Поздний Толстой много экспериментировал с повествованием: ощущая и критикуя неистребимую искусственность художественного текста, он стремился преодолеть ее, выдавая свою прозу за устные воспоминания о николаевской России («После бала»), разговор в поезде («Крейцерова соната») или мемуары полумифического лица («Посмертные записки старца Федора Кузьмича»).

«Хаджи-Мурат», наверное, самый любопытный пример разграничения повествовательных инстанций внутри одного произведения. Повесть начинается со слова «я» — это обработанная дневниковая запись самого Толстого, который рассказывает, как репейник напомнил ему о Хаджи-Мурате. Примечательно, что в этом коротком прологе писатель раскрывает перед нами свой метод работы с документальным материалом: «Мне вспомнилась одна давнишняя

кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе».

Но в повести есть и другие рассказчики. Во-первых, это сам Хаджи-Мурат, который диктует ротмистру Лорис-Меликову[43] историю своей жизни. Во-вторых, это наместник Кавказа Воронцов[44], который пишет развернутое послание военному министру Чернышеву[45], пересказывая и по-своему акцентируя уже известные читателю события. Наконец, это офицер Каменев, который сначала показывает Ивану Матвеевичу, Бутлеру и Марье Дмитриевне отрезанную голову Хаджи-Мурата, а потом сообщает, «как было все дело». Рассказ Каменева — наиболее условный из всех: он явно не мог знать, о чем думал Хаджи-Мурат перед смертью. В финальной главе

---

[43] Сноски: 43

Михаил Тариэлович Лорис-Меликов (1824–1888) — военный и государственный деятель. Участвовал в Кавказской войне (этот период жизни отразился в толстовском «Хаджи-Мурате»), Крымской войне и Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Был начальником Терской области, руководил борьбой с чумой в Поволжье. В начале 1880-х годов занимался политикой: стал руководителем Верховной распорядительной комиссии, а затем назначен министром внутренних дел, подготовил проект реформ («Конституция Лорис-Меликова»). Ушел в отставку после убийства Александра II, до самой смерти жил за границей.

[44] Сноски: 44

Михаил Семенович Воронцов (1782–1856) — военный и государственный деятель. Участвовал в войне 1812 года, в том числе в Бородинском сражении (был ранен), сражениях под Смоленском и Парижем. Командовал оккупационным корпусом во Франции. В 1823 году был

назначен генерал-губернатором Новороссийского края и наместником Бессарабской области. Благодаря Воронцову на юге России активно развивались торговля и сельское хозяйство, по Черному морю начали ходить пароходы. С 1844 года — главнокомандующий войсками на Кавказе и кавказский наместник. Незадолго до смерти Воронцов был пожалован чином генерал-фельдмаршала — высшим в российской армии.

[45] Сноски: 45

Александр Иванович Чернышев (1785–1857) — военный деятель. Участвовал в сражении при Аустерлице, ездил в Париж с поручениями к императору Наполеону, был шпионом при французском дворе. Вернулся в Россию в 1812 году. Участвовал в Следственной комиссии по делу декабристов. При Николае I руководил военным ведомством. В 1848 году назначен председателем Государственного совета. В «Хаджи-Мурате» Толстой пишет, что Николай I считал Чернышева «большим подлецом», но терпел, «считая его пока незаменимым человеком».

Толстой возвращает себе права всеведущего автора — и напоминает нам о своем присутствии в последнем предложении повести: «Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля».



Томас Лоуренс. Портрет Михаила Воронцова[46]

В ЧЕМ СМЫСЛ СЦЕНЫ С ЦВЕТАМИ, КОТОРЫЕ СРЫВАЕТ РАССКАЗЧИК В ПРОЛОГЕ «ХАДЖИ-МУРАТА»?

Уже в самом начале повести, до того как представить главного героя, Толстой намечает ее центральную тему и вводит основные символы. Он использовал этот композиционный прием еще в «Анне Карениной»: блюда, которые заказывали Левин и Стива во время обеда в ресторане «Англия», как бы анонсировали сюжет книги — от бурного романа Вронского с Анной до его отъезда на Балканы в конце[47]. «Хаджи-Мурат» в этом отношении устроен не так эффектно, но сам способ организации лейтмотивов остается прежним.

Возвращаясь домой через поля, повествователь — Толстой — решает собрать букет из типично летних цветов вроде маргариток, ска-

---

[46] Сноски: 46

Томас Лоуренс. Портрет Михаила Воронцова. 1821 год. Государственный Эрмитаж.

[47] Сноски: 47

Подробнее см.: Быков Д. Символика еды в русской литературе // // https://www.litres.ru/dmitriy-bykov/simvolika-edy-v-mirovoy-literature/chitat-onlayn.

биоз и повилики. Вдруг он обращает внимание на растущий в канаве, то есть отдельно от всех, «чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется “татарином”». Так в тексте одновременно появляются два близких мотива: независимости, почти одиночества, и Другого, в том числе в этнокультурном смысле.

Толстой несколько минут пытается сорвать репей и в результате только его портит: «Стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив». Букета, гармоничного сочетания непохожих друг на друга растений, не вышло; «татарин» «был хорош в своем месте» — кажется, так Толстой намекает на обреченность российской экспансии на Кавказе. За этим следует вполне откровенное любование силой репья, его невероятной витальностью: «Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».

Оказавшись на черноземном, без единой травинки, поле, Толстой рассуждает о разрушительном воздействии, которое человек оказывает на природу: «черное» становится синонимом мертвого, цивилизация приравнивается к убийству. Но и здесь, «справа от дороги» (снова мотив отдельности), повествователь обнаруживает

чудом уцелевший куст — того же «татарина». Попав под колесо, лишившись одного из отростков и почернев от грязи, он все равно стоит, не сдавшись «человеку, уничтожившему всех его братий кругом его».

В этот момент Толстой и вспоминает «давнишнюю кавказскую историю», которая впоследствии окажется «Хаджи-Муратом». А сам герой в финале почти дословно повторит судьбу непокорного цветка: «То, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь». Но если «татарин», которого видел Толстой, смог выстоять, то раненый и окруженный врагами Хаджи-Мурат все-таки погиб: «Вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался».

ОТКУДА ТОЛСТОЙ ТАК МНОГО ЗНАЛ ПРО ХАДЖИ-МУРАТА?

Герой повести Толстого — одновременно реальный участник Кавказской войны и фольклорный персонаж, человек, о котором еще при жизни

складывали легенды. Он родился в дагестанском селе Хунзах в 1818 году и поначалу воевал на стороне Аварского ханства[48], которое было тесно связано с российской администрацией. В 1840 году в результате конфликта с султаном Ахмет-Ханом Хаджи-Мурат перешел на сторону Шамиля и стал его правой рукой. Он прославился дерзкими набегами на русские гарнизоны и получил прозвище Призрачный — за умение стремительно появляться и исчезать. Осенью 1851 года Шамиль обвинил Хаджи-Мурата в военных неудачах и взял в плен его семью. 23 ноября Хаджи-Мурат сбежал к русским, надеясь на их военную помощь. Не дождавшись подмоги, в мае 1852-го он выдвинулся в горы со своими мюридами[49] и погиб в столкновении с казаками и горскими милиционерами. Тело Хаджи-Мурата было обезглавлено, голова отправлена в Петербург.

Молодой Толстой скептически относился к Ха-

---

[48] Сноски: 48

Государство, находившееся на территории современного Дагестана. Существовало с XII века, в 1803 году вошло в состав Российской империи. В годы Кавказской войны ханство было частью Северо-Кавказского имамата.

[49] Сноски: 49

Участники национально-освободительного движения горцев Северного Кавказа. От арабского «последователи», «послушники».

джи-Мурату. Прочитав в газете «Кавказ» о его ссоре с Шамилем и переходе на сторону русских, 23 декабря 1851 года Толстой писал брату Сергею: «Это был первый лихач (джигит) и молодец по всей Чечне, а сделал подлость». Толстой во время службы на Кавказе не встречался с Хаджи-Муратом, но много думал о нем: рассказывал про «кавказского разбойника» ученикам своей яснополянской школы в 1862 году, читал о Хаджи-Мурате в «Сборнике сведений о кавказских горцах» (в 1875-м), третьем выпуске «Русской старины» (в 1881-м) и «Воспоминаниях» Полторацкого (в 1883-м), а 19 июля 1896 года записал у себя в дневнике по поводу увиденного на дороге репья: «Татарин на дороге. Хаджи-Мурат». Так началась работа над повестью.

Поначалу у Толстого было всего два исторических источника: книга Зиссермана «Генерал-фельдмаршал князь А. И. Барятинский» (оттуда писатель узнал, как его героя переводили из крепости Грозная в Тифлис и Таш-Кичу) и мемуары Полторацкого. Зимой 1897 года — через полгода после завершения первого наброска повести — Толстой смог расспросить генерала Константина Дитерихса о внешнем облике и характере Хаджи-Мурата.



Хаджи-Мурат на фоне аула Гимры в Дагестане. 1847 год. Литография по рисунку Григория Гагарина[50]

В феврале 1898 года писатель готовил для зарубежного издательства Черткова «Свободное слово» отрывок из «Хаджи-Мурата» под названием «Хазават» (в нем герой был показан религиозным фанатиком, который исповедует

[50] Сноски: 50

Хаджи-Мурат на фоне аула Гимры в Дагестане. 1847 год. Литография по рисунку Григория Гагарина. Калужский музей изобразительных искусств.

идею борьбы против иноверцев), но остался недоволен этой редакцией. В дневнике он писал о принципе калейдоскопа, позволяющем увидеть человека с разных сторон, — его Толстой и хотел применить к Хаджи-Мурату, не сводя персонажа к какой-то одной ипостаси. Образ становился сложнее, фактография объемнее.

Настоящий прорыв случился 20 декабря 1902 года: Толстому написал Иван Корганов, сын уездного начальника города Нухи. В свое время отец Корганова держал горца под стражей, и Иван Корганов, узнав из газет о работе Толстого над «Хаджи-Муратом», захотел помочь писателю. Толстой охотно расспросил Корганова и его мать об устройстве дома, в котором жил Хаджи-Мурат, облике пленника, степени его религиозности, знании русского языка и обстоятельствах побега.

Все добытые подробности Толстой добросовестно использовал в повести; он даже изменил вымышленные имена мюридов Хаджи-Мурата, когда, прочитав весной 1903 года «Акты кавказской археографической комиссии», выяснил, как их звали на самом деле. Среди немногочисленных толстовских вольностей — полностью выдуманная история о том, как отец Хаджи-Мурата ранил его мать за отказ стать кормилицей

ханского ребенка, и решение опустить данные о нескольких женах и четырех дочерях Хаджи-Мурата, возможно, чтобы избежать нежелательных параллелей с многоженцем Шамилем.

ЗАЧЕМ АВТОР ТАК ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕТ НИКОЛАЯ I И ШАМИЛЯ?

Толстой всю жизнь писал о том, как власть развращает. В «Хаджи-Мурате» эту идею иллюстрируют Николай I и Шамиль — одновременно символические фигуры и живые исторические лица с подробно описанными страстями.

Жестокость, тщеславие, похоть — Толстой одним из первых в русской литературе показал, что российский император и предводитель горцев были, оказывается, во многом похожи. Оба беспощадны по отношению к тем, кого считают своими врагами: Николай приговаривает польского студента к 12 000 ударов шпицрутенами (хотя «достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека»); Шамиль грозится отдать на поругание жену Хаджи-Мурата Софиат и ослепить их сына Юсуфа. Оба наслаждаются грозным впечатлением, которое производят на людей: Николаю приятен ужас офицера, занявшего его ложу; вернувшийся из похода Шамиль

упивается обращенными на него взглядами тысяч глаз. Оба имеют внебрачные связи (существенная для позднего Толстого деталь): помимо постоянной любовницы Нелидовой, Николай регулярно видится с молодыми девушками; многоженство Шамиля освящено кавказской традицией, но автор осуждает его влечение к восемнадцатилетней Аминет, видя в этом лишь хищное утоление полового инстинкта.



Имам Шамиль[51]

Другими словами, в образной системе «Хаджи-Мурата» формальные антагонисты Николай

[51] Сноски: 51

Имам Шамиль. Фотография Андрея Деньера. 1859 год. Из открытых источников.

и Шамиль — это, по словам Толстого, «два полюса властного абсолютизма — азиатского и европейского», персонажи-двойники, противопоставленные не друг другу, но заглавному герою — носителю традиционных семейных идеалов, который готов пожертвовать собой ради спасения близких.

ЧТО ТОЛСТОЙ ДУМАЕТ О СВОБОДЕ? ЕСТЬ ЛИ СРЕДИ ГЕРОЕВ ПОВЕСТИ СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ?

Свобода — основа толстовского мировоззрения, исходная точка в его размышлениях о человеке и мире. Писатель был в этом отношении радикальнее большинства своих современников: он считал, что настоящее освобождение не может ограничиваться, например, отменой крепостного права или женской эмансипацией — личность должна сопротивляться давлению прошлого и бороться со страхом перед будущим. В дневниках 1910 года встречаются и более экстравагантные суждения — Толстой приветствовал даже подступающую деменцию, видя в ней освобождение от диктата прошлого: «Жизнь вся сосредотачивается в настоящем. Как хорошо!»

В этом — радикальном — смысле среди героев «Хаджи-Мурата» нет свободных людей.

Правители Николай I и Шамиль скованы своим положением: люди, облеченные властью, первыми становятся ее жертвами. Не в меру азартен обаятельный в целом офицер Бутлер. Военно-бюрократическая иерархия моделирует правила поведения и для тех, кто располагается на ее вершине (вроде Воронцова), и для тех, кто находится у подножия (например, убитый солдат Авдеев). Живет в несчастливом браке Марья Дмитриевна — жена пьяницы Ивана Матвеевича.

Хаджи-Мурат — более сложный случай. С одной стороны, им движет идея возмездия, насильственного восстановления справедливости в отношении своей захваченной в плен семьи — выходит, он держится за прошлое и, следовательно, несвободен. С другой стороны, Хаджи-Мурат производит впечатление самодостаточного и легкого на подъем человека, который не планирует ничего наперед. Уехав из русской крепости, он не знает, что будет делать, если сможет вызволить родных: «Выведет ли он семью назад к русским, или бежит с нею в Хунзах и будет бороться с Шамилем, — Хаджи-Мурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы». В этом много безрассудства, но подобные импульсивные — а значит, более

«естественные», органичные — решения нередко находили у Толстого если не сочувствие, то понимание. По одной из версий, сам писатель умер со словами: «Надо удирать, надо удирать куда-нибудь» — можно сказать, манифестируя принцип, которым руководствуется Хаджи-Мурат.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ТОЛСТОЙ ОПРАВДЫВАЕТ НАСИЛИЕ?

Непротивление злу насилием — одна из ключевых категорий толстовского учения, изложенного в книгах «В чем моя вера?» (1884) и «Царство Божие внутри нас» (1890–1893). Толстой отрицал необходимость армии и — апеллируя к евангельской заповеди «Не суди» — ставил под сомнение право человека распоряжаться судьбой ближнего; другими словами, протестовал против любых форм принуждения, включая даже воспитание детей.

В первую и главную очередь воин, Хаджи-Мурат, очевидно, очень далек от описанного в толстовских трактатах идеала: на его счету немало погубленных жизней. Однако Толстой, который до этого ярко описывал своеволие Николая I, Шамиля и Полторацкого, обрекавших невинных людей на смерть, как будто ретуширует

невыгодную сторону личности Хаджи-Мурата — отказываясь мириться с проявлениями жестокости у других исторических персонажей, он явно делает исключение для своего любимого героя. Нет ли здесь противоречия?

Хаджи-Мурат входит в повесть с мыслями о том, как сокрушит Шамиля и будет управлять всей Чечней. Позже он спокойно рассказывает Лорис-Меликову, как в молодости принял хазават[52], как мстил своим обидчикам среди горцев, как долго и успешно нападал на русских. В финале он убивает немало солдат, не слишком задумываясь о том, что отобрал чужие жизни.

Отчасти это можно списать на культурно-религиозные особенности и политическую ситуацию в регионе: с точки зрения Хаджи-Мурата, он просто защищает свой дом известными ему средствами. И несмотря на то, что этическая программа Толстого формально не предусматривает никаких оправданий насилию, писатель, по-видимому, воспринимает Хаджи-Мурата как партизана, кого-то сродни Денису Давыдову из «Войны и мира». Статус жертвы, гонимого обеспечивает ему авторские симпатии. В конеч-

[52] Сноски: 52

Священная война, объявляемая мусульманами иноверцам. То же, что и джихад.

ном счете Хаджи-Мурат сражается за свободу матери, жены и сына, и хотя Толстой-пацифист едва ли одобряет его методы, он, похоже, признает их необходимость — точнее, неизбежность.

ЧТО ЗНАЧАТ ПЕСНИ В «ХАДЖИ-МУРАТЕ»?

Толстой высоко ставил кавказский фольклор: он одним из первых русских исследователей записал образцы горских песен, а в его экземплярах «Сборника сведений о кавказских горцах» встречаются восторженные надписи: «Чудные песни о мщении и удальстве», «Прелестная песня», «Сказка прекрасная».

В «Хаджи-Мурате» поют и русские, и горцы.

После удачной вылазки на территорию неприятеля рота Бутлера затягивает: «То ли дело, то ли дело, егеря!» Иван Матвеевич предпочитает другие — тоже, судя по всему, жизнерадостные — композиции: «Как вознялась заря» и «Шамиль начал бунтоваться в прошедшие годы, трай-рай-рататай, в прошедшие годы».

Кавказские песни куда драматичнее: они строятся вокруг пограничного состояния, героического опыта, который следует прославить уже хотя бы в силу его экстремальности.

Одна из песен посвящена кровной мести: ее

герой умирает, понимает, что родные вскоре забудут его, и все равно просит братьев расквитаться со своими обидчиками. Для Хаджи-Мурата эта песня имеет личное значение. Отец его мюрида Ханефи убил дядю Хаджи-Мурата; следуя обычаю, в ответ родственники Хаджи-Мурата должны были убить Ханефи. Тогда Ханефи попросился стать названым братом Хаджи-Мурата — тем самым он избежал расправы и прервал цепочку насилия.

Другая песня повествует о джигите Гамзате, который угоняет у русских табун белых коней и гибнет в окружении вражеского войска. Перед смертью он просит перелетных птиц рассказать о своей участи родным, описывая незавидную участь своего тела: «…растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны». Хаджи-Мурат слушает песню так внимательно, что проливает воду из кувшина: в этот момент он обдумывает побег из крепости и не может удержаться от сравнений между собой и Гамзатом. Он снова вспоминает об этой истории в финале, когда попадает в оцепление и слышит свист соловьев (лейтмотив, сопровождающий его на протяжении всей книги). Древнее предание настраивает Хаджи-Мурата на серьезный, почти торжественный лад — после намаза

он решает «биться, как Гамзат».

Наконец, третья песня — не народная, а домашняя. Ее сложила мать Хаджи-Мурата после того, как отказалась кормить чужого ребенка и чуть не погибла от рук собственного мужа. Эта песня убеждает героя в правильности его выбора, возвращая в детство и напоминая о любимом сыне Юсуфе, который сидит в яме у Шамиля. Взволнованный мыслями о семье, Хаджи-Мурат приказывает седлать лошадей и отправляется на прогулку, которая — в полном соответствии с метасюжетом[53] горского фольклора — окажется для него последней.

КАК ТОЛСТОЙ ОТНОСИЛСЯ К ИСЛАМУ?

Толстой интересовался исламом наравне с другими мировыми религиями: в «Исповеди» он писал, что «изучал и буддизм, и магометанство по книгам, и более всего христианство и по книгам, и по живым людям, окружавшим меня». Следы чтения Корана можно обнаружить и в подготовленном Толстым сборнике «Мудрые мысли на каждый день» — правда, цитат из Библии, Талмуда, античных и европейских философов в нем

---

[53] Сноски: 53
Метасюжет — общая сюжетная рамка многих произведений.

гораздо больше, чем из пророка Мухаммеда.

Пожалуй, самое развернутое высказывание писателя об исламе содержится в письме Елене Векиловой, отправленном в марте 1909 года. Толстой заметил, что «магометанство по своим внешним формам стоит несравненно выше церковного православия»: в отличие от усложненной — а значит, по Толстому, ложной — христианской теологии, мусульманство еще не успело обрасти суевериями и предрассудками, заслоняющими универсальную истину о смысле человеческой жизни. Впрочем, писатель считал, что исламу тоже не помешала бы некоторая ревизия — перенос акцентов с ритуальной составляющей на этическое учение Мухаммеда: тогда он «естественно сольется с основами всех больших религий», которые Толстой-мыслитель никогда не оспаривал.

Начиная работать над «Хаджи-Муратом», Толстой планировал «выразить обман веры», показать одержимость заглавного героя богом и мщением. Но первоначальный обличительный замысел — как и в случае с «Анной Карениной» — изменился: в последней редакции повести Хаджи-Мурат кажется почти идеальным воплощением толстовской религиозности, осо-

бенно на фоне Николая I и Шамиля. Император каждое утро читает молитвы, «не приписывая произносимым словам никакого значения», остатки совести — «неприятную отрыжку» — он заглушает мыслями о своем величии. Имам Чечни, в свою очередь, воспринимает намаз как бремя, обрекает людей на смерть, апеллируя к шариату, а сразу после вечерней молитвы спешит к молодой жене. Хаджи-Мурату легко дается ритуальная сторона ислама, но его веру трудно свести к каким-то строгим религиозным образцам; это чувство — не результат интеллектуального усилия (как у Пьера, Левина или отца Сергия), а что-то совсем бесхитростное, ненатужное, детское — так верят Платон Каратаев или Герасим, который ухаживает за умирающим Иваном Ильичом.

ЧТО «ХАДЖИ-МУРАТ» ПРОЯСНЯЕТ В БИОГРАФИИ САМОГО ПИСАТЕЛЯ?

Есть соблазн интерпретировать «Хаджи-Мурата» — последнюю крупную вещь Толстого — как своего рода завещание писателя, автокомментарий к его жизни и сочинениям. Дело, однако, не только в хронологическом месте

книги в библиографии автора: трудная, с длинными периодами неписания, творческая история «Хаджи-Мурата» свидетельствует о важности этого сюжета для Толстого, в котором поневоле пытаешься обнаружить его самого — не повествователя, но героя; не стилистическую фигуру, но эмоцию.

«Освобождение через размежевание с собой» — так можно охарактеризовать магистральную тему Толстого, без малого 60 лет писавшего о том, что духовный рост невозможен без перемены участи, а счастье — это всегда поиск, движение, превращение, сопряженное с известными угрозами. Эту гипотезу проверяли на себе Анна Каренина и Степан Касатский, Пьер Безухов и Дмитрий Нехлюдов, Александр I и Дмитрий Оленин — порой с трагическими для себя последствиями.

Хаджи-Мурат вроде бы герой того же ряда: перейдя на сторону русских, он оказался вне закона в Чечне; сбежав из крепости, стал еще и врагом империи. Но какое бы решение он ни принимал, Хаджи-Мурат — невероятно цельный, не склонный к сомнениям человек; это, может быть, самый монолитный и стрессоустойчивый толстовский персонаж, который почти не меняется,

сохраняя на протяжении повести «восточное, мусульманское достоинство»; кажется, он знает о мире что-то главное, о чем не догадываются все остальные.

Здесь мы оказываемся на территории биографических спекуляций — равно амбициозных и приблизительных. Можно предположить, что Толстой, сделавший утонченную рефлексию своим главным приемом, долгие годы пытался создать такого героя, который смог бы разрешить все углублявшийся конфликт между толстовскими учением, жизнью и искусством. Решительный, но не свирепый, твердый, но не примитивный, закрытый, но не бесчувственный, Хаджи-Мурат и стал этим персонажем, позволив автору, помимо прочего, срежиссировать свою судьбу, разыграть один из ее вариантов — резкий уход и последовавшую за ним смерть. Ну а «Хаджи-Мурат» оказался произведением, в котором грани великого писателя — рассказчик, волшебник и учитель (триада, предложенная Набоковым) — нашли столь редкую гармонию.

Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени

года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые с ярко-желтой серединой «любишь-не-любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы; с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и в молодости и голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие, цветы повилики.

Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется «татарином» и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, —

он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и аляповатости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия и сила жизни, — подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. — Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».

Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взборожденного, еще не скороженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки, — все было черно. «Экое разрушительное, жестокое существо человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни», — думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впе-

реди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же «татарина», которого цветок я напрасно сорвал и бросил.

Куст «татарина» состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдастся человеку, уничтожившему всех его братий кругом его.

«Экая энергия! — подумал я. — Все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается».

И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем вос-

поминании и воображении, вот какая.

I

Это было в конце 1851 года.

В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул Махкет.

Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были из-за мычания коров и блеяния овец, разбиравшихся по тесно, как соты, слепленным друг с другом саклям аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана.

Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как с своим значком в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей.

Въехав в середину аула, Хаджи-Мурат поехал

не по улице, ведшей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакле, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было, на крыше же за свежесмазанной глиняной трубой лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи-Мурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящемся, рваном бешмете. Глаза старика, без ресниц, были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи-Мурат проговорил обычное: «Селям алейкум», — и открыл лицо.

— Алейкум селям, — улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи-Мурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он не торопясь надел в рукава нагольный сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленной к крыше. И одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой сморщенной, загорелой шее и не переставая шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджи-Мурата и правое стремя. Но быстро

слезший с своей лошади ловкий, сильный мюрид Хаджи-Мурата, отстранив старика, заменил его.

Хаджи-Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших.

— Беги в мечеть, зови отца, — приказал ему старик и, опередив Хаджи-Мурата, отворил ему легкую скрипнувшую дверь в саклю. В то время как Хаджи-Мурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина, в красном бешмете на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки.

— Приход твой к счастью, — сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя.

— Сыновья твои да чтобы живы были, — ответил Хаджи-Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику.

Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими тазами, блестевшими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене.

Хаджи-Мурат, оправив на себе пистолет за спи-

ною, подошел к разложенным женщиной подушкам и, запахивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи-Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды.

— Не хабар? — спросил Хаджи-Мурат старика, то есть: «что нового?»

— Хабар иок — «нет нового», — отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными безжизненными глазами. — Я на пчельнике живу, нынче только пришел сына проведать. Он знает.

Хаджи-Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает и что нужно было знать Хаджи-Мурату, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать.

— Хорошего нового ничего нет, — заговорил старик. — Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать. А орлы всё рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мичицких сено сожгли, раздерись их лицо, — злобно прохрипел старик.

Вошел мюрид Хаджи-Мурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земля-

ному полу, так же как Хаджи-Мурат, снял бурку, винтовку и шашку и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи-Мурата.

— Он кто? — спросил старик у Хаджи-Мурата, указывая на вошедшего.

— Мюрид мой. Элдар имя ему, — сказал Хаджи-Мурат.

— Хорошо, — сказал старик и указал Элдару место на войлоке, подле Хаджи-Мурата.

Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разговорившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат: одного убили, а другого послали в Ведено к Шамилю. Хаджи-Мурат рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей послышались шаги, дверь скрипнула, и вошел хозяин.

Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчика, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Сняв у двери дере-

вянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно не бритой, зарастающей черным волосом головы старую, истертую папаху и тотчас же сел против Хаджи-Мурата на корточки.

Так же как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи-Мурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится ослушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным.

— У меня в доме, — сказал Садо, — моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо.

Хаджи-Мурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал:

— Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрид пойдет, только проводника надо.

— Брата Бату пошлю, — сказал Садо. — Позови Бату, — обратился он к сыну.

Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и быстро, махая руками, вышел из сакли. Минут через десять он вернулся с черно-заго-

релым, жилистым, коротконогим чеченцем в разлезающейся желтой черкеске с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи-Мурат поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал:

— Можешь свести моего мюрида к русским?

— Можно, — быстро, весело заговорил Бата. — Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает. А я могу.

— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат. — За труды получишь три, — сказал он, выставляя три пальца.

Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджи-Мурату. Все в горах знают Хаджи-Мурата, как он русских свиней бил…

— Хорошо, — сказал Хаджи-Мурат. — Веревка хороша длинная, а речь короткая.

— Ну, молчать буду, — сказал Бата.

— Где Аргун заворачивает, против кручи, поляна в лесу, два стога стоят. Знаешь?

— Знаю.

— Там мои три конные меня ждут, — сказал

Хаджи-Мурат.

— Айя! — кивая головой, говорил Бата.

— Спросишь Хан-Магому. Хан-Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову, князю. Можешь?

— Сведу.

— Свести и назад привести. Можешь?

— Можно.

— Сведешь, вернешься в лес. И я там буду.

— Все сделаю, — сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел.

— Еще человека в Гехи послать надо, — сказал Хаджи-Мурат хозяину, когда Бата вышел. — В Гехах надо вот что, — начал было он, взявшись за один из хозырей черкески, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входивших в саклю двух женщин.

Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее не длинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль; такие же черные, смородинные глаза, как у отца и брата, весело

блестели в молодом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие.

Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши, блины в масле, сыр, чурек — тонко раскатанный хлеб — и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце.

Садо и Хаджи-Мурат — оба молчали во все время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи-Мурат достал один из хозырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку.

— Сыну отдать, — сказал он, показывая записку.

— Куда ответ? — спросил Садо.

— Тебе, а ты мне доставишь.

— Будет сделано, — сказал Садо и переложил записку в хозырь своей черкески. Потом, взяв в руки кумган, он придвинул к Хаджи-Мурату таз.

Хаджи-Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи-Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз с Хаджи-Мурата, улыбался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца.

Несмотря на то, что Хаджи-Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб.

— Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед: и много и хорош, — сказал старик, видимо довольный тем, что Хаджи-Мурат ел его мед.

— Спасибо, — сказал Хаджи-Мурат и отстранился от еды.

Элдару хотелось еще есть, но он так же, как его мюршид, отодвинулся от стола и подал Хаджи-Мурату таз и кумган.

Садо знал, что, принимая Хаджи-Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля

с Хаджи-Муратом было объявлено всем жителям Чечни, под угрозой казни, не принимать Хаджи-Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи-Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя — кунака, хотя бы это стоило ему жизни, и он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно.

— Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает, — повторил он Хаджи-Мурату.

Хаджи-Мурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал:

— Да получишь ты радость и жизнь.

Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за доброе слово.

Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой и вошел в то отделение сакли, где жило все его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в кунацкой.

II

В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской, в пятнадцати верстах от аула, в котором ночевал Хаджи-Мурат, вышли из укрепления за Чахгиринские ворота три солдата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и папахах, с скатанными шинелями через плечо и больших сапогах выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов пятьсот, свернули с нее и, шурша сапогами по сухим листьям, прошли шагов двадцать вправо и остановились у сломанной чинары, черный ствол которой виднелся и в темноте. К этой чинаре высылался обыкновенно секрет.

Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам деревь, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголенных ветвей деревь.

— Спасибо — сухо, — сказал унтер-офицер Панов, снимая с плеча длинное с штыком ружье, и, брякнув им, прислонил его к стволу дерева. Три солдата сделали то же.

— А ведь и есть — потерял, — сердито про-

ворчал Панов, — либо забыл, либо выскочила дорогой.

— Чего ищешь-то? — спросил один из солдат бодрым, веселым голосом.

— Трубку, черт ее знает куда запропала!

— Чубук-то цел? — спросил бодрый голос.

— Чубук — вот он.

— А в землю прямо?

— Ну, где там.

— Это мы наладим живо.

Курить в секрете запрещалось, но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался затем, чтобы горцы не могли незаметно подвезти, как они это делали прежде, орудие и стрелять по укреплению, и Панов не считал нужным лишать себя курения и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, приладил к ней чубучок, потом наложил табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Сернички загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего на брюхе солдата. В чубуке засвистело, и Панов почуял приятный запах загоревшейся махорки.

— Наладил? — сказал он, поднимаясь на ноги.

— А то как же.

— Эка молодчина Авдеев! Прокурат малый. Ну-ка?

Авдеев отвалился набок, давая место Панову и выпуская дым изо рта.

Накурившись, между солдатами завязался разговор.

— А сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проигрался, вишь, — сказал один из солдат ленивым голосом.

— Отдаст, — сказал Панов.

— Известно, офицер хороший, — подтвердил Авдеев.

— Хороший, хороший, — мрачно продолжал начавший разговор, — а по моему совету, надо роте поговорить с ним: коли взял, так скажи, сколько, когда отдашь.

— Как рота рассудит, — сказал Панов, отрываясь от трубки.

— Известное дело, мир — большой человек, — подтвердил Авдеев.

— Надо, вишь, овса купить да сапоги к весне справить, денежки нужны, а как он их забрал… — настаивал недовольный.

— Говорю, как рота хочет, — повторил Панов. — Не в первый раз: возьмет и отдаст.

В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по шесть рублей пятьдесят копеек на человека и сама себя продовольствовала: сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира, и случалось часто, что ротный командир брал взаймы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было.

После Панова покурил и Никитин и, подстелив под себя шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, как ветер шевелил высоко над головами макушки деревьев. Вдруг из-за этого неперестающего тихого шелеста послышался вой, визг, плач, хохот шакалов.

— Вишь, проклятые, как заливаются, — сказал Авдеев.

— Это они с тебя смеются, что у тебя рожа набок, — сказал тонкий хохлацкий голос четвертого солдата.

Опять все затихло, только ветер шевелил сучья

дерев, то открывая, то закрывая звезды.

— А что, Антоныч, — вдруг спросил веселый Авдеев Панова, — бывает тебе когда скучно?

— Какая же скука? — неохотно отвечал Панов.

— А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собою сделал.

— Вишь ты! — сказал Панов.

— Я тогда деньги-то пропил, ведь это все от скуки. Накатило, накатило на меня. Думаю: дай пьян нарежусь.

— А бывает, с вина еще хуже.

— И это было. Да куда денешься?

— Да с чего ж скучаешь-то?

— Я-то? Да по дому скучаю.

— Что ж — богато жили?

— Не то что богачи, а жили справно. Хорошо жили.

И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же Панову.

— Ведь я охотой за брата пошел, — рассказывал Авдеев. — У него ребята сам-пят! А меня только женили. Матушка просить стала. Думаю: что мне! Авось попомнят мое добро. Сходил к барину. Барин у нас хороший, говорит: «Молодец! ступай». Так и пошел за брата.

— Что ж, это хорошо, — сказал Панов.

— А вот веришь ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше с того и скучаю, что зачем, мол, за брата пошел. Он, мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Такой грех, видно.

Авдеев помолчал.

— Аль покурим опять? — спросил Авдеев.

— Ну что ж, налаживай!

Но курить солдатам не пришлось. Только что Авдеев встал и хотел налаживать опять трубку, как из-за шелеста ветра послышались шаги по дороге. Панов взял ружье и толкнул ногой Никитина. Никитин встал на ноги и поднял шинель. Поднялся и третий — Бондаренко.

— А я, братцы, какой сон видел…

Авдеев шикнул на Бондаренку, и солдаты замерли, прислушиваясь. Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Все явственнее и явственнее слышалось в темноте хрустение листьев и сухих веток. Потом послышался говор на том особенном, гортанном языке, которым говорят чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, но и увидали две тени, проходившие в просвете между деревьями. Одна тень была пониже, другая — повыше. Когда тени порав-

нялись с солдатами, Панов, с ружьем на руку, вместе с своими двумя товарищами выступил на дорогу.

— Кто идет? — крикнул он.

— Чечен мирная, — заговорил тот, который был пониже. Это был Бата. — Ружье иок, шашка иок, — говорил он, показывая на себя. — Кинезь надо.

Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нем тоже не было оружия.

— Лазутчик. Значит — к полковому, — сказал Панов, объясняя своим товарищам.

— Кинезь Воронцов крепко надо, большой дело надо, — говорил Бата.

— Ладно, ладно, сведем, — сказал Панов. — Что ж, веди, что ли, ты с Бондаренкой, — обратился он к Авдееву, — а сдашь дежурному, приходи опять. Смотри, — сказал Панов, — осторожней, впереди себя вели идти. А то ведь эти гололобые — ловкачи.

— А что это? — сказал Авдеев, сделав движение ружьем с штыком, как будто он закалывает. — Пырну разок — и пар вон.

— Куда ж он годится, коли заколешь, — сказал Бондаренко. — Ну, марш!

Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками,

Панов и Никитин вернулись на свое место.

— И черт их носит по ночам! — сказал Никитин.

— Стало быть, нужно, — сказал Панов. — А свежо стало, — прибавил он и, раскатав шинель, надел и сел к дереву.

Часа через два вернулся и Авдеев с Бондаренкой.

— Что же, сдали? — спросил Панов.

— Сдали. А у полкового еще не спят. Прямо к нему свели. А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие, — продолжал Авдеев. — Ей-богу! Я с ними как разговорился.

— Ты, известно, разговоришься, — недовольно сказал Никитин.

— Право, совсем как российские. Один женатый. Марушка, говорю, бар? — Бар, говорит. — Баранчук, говорю, бар? — Бар. — Много? — Парочка, говорит. — Так разговорились хорошо. Хорошие ребята.

— Как же, хорошие, — сказал Никитин, — попадись ему только один на один, он тебе требуху выпустит.

— Должно, скоро светать будет, — сказал Панов.

— Да, уж звездочки потухать стали, — сказал

Авдеев, усаживаясь.

И солдаты опять затихли.

III

В окнах казарм и солдатских домиков давно уже было темно, но в одном из лучших домов крепости светились еще все окна. Дом этот занимал полковой командир Куринского полка, сын главнокомандующего, флигель-адъютант князь Семен Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой, Марьей Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову, и в особенности его жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью; здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью.

Теперь, в двенадцать часов ночи, в большой гостиной, с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами, за ломберным столом, освещенным четырьмя свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин, длиннолицый белокурый полковник с флигель-адъютантскими вензелями и аксельбантами, Воронцов; партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно

выписанный княгиней Воронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера: один — широколицый, румяный, перешедший из гвардии, ротный командир Полторацкий, и, очень прямо сидевший, с холодным выражением красивого лица, полковой адъютант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большеглазая, чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в ее словах, и в ее взглядах, и улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме сознания ее близости, и он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера.

— Нет, это невозможно! Опять просолил туза! — весь покраснев, проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул туза.

Полторацкий, точно проснувшись, не понимая глядел своими добрыми, широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта.

— Ну простите его! — улыбаясь, сказала Марья Васильевна. — Видите, я вам говорила, — обрати-

лась она к Полторацкому.

— Да вы совсем не то говорили, — улыбаясь, сказал Полторацкий.

— Разве не то? — сказала она и также улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их.

— Не тебе мешать, — строго сказал адъютант и стал своей белой, с перстнем, рукой сдавать карты, так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них.

В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князя требует дежурный.

— Извините, господа, — сказал Воронцов, с английским акцентом говоря по-русски. — Ты за меня, Marie, сядешь.

— Согласны? — спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины.

— Я всегда на все согласен, — сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Полторацкий же только развел руками, улыбаясь.

Роббер кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный.

— Знаете, что я вам предложу?

— Ну?

— Выпьемте шампанского.

— На это я всегда готов, — сказал Полторацкий.

— Что же, это очень приятно, — сказал адъютант.

— Василий! подайте, — сказал князь.

— Зачем тебя звали? — спросила Марья Васильевна.

— Был дежурный и еще один человек.

— Кто? Что? — поспешно спросила Марья Васильевна.

— Не могу сказать, — пожав плечами, сказал Воронцов.

— Не можешь сказать, — повторила Марья Васильевна. — Это мы увидим.

Принесли шампанского. Гости выпили по стакану и, окончив игру и разочтясь, стали прощаться.

— Ваша рота завтра назначена в лес? — спросил князь Полторацкого.

— Моя. А что?

— Так мы увидимся завтра с вами, — сказал князь, слегка улыбаясь.

— Очень рад, — сказал Полторацкий, хорошенько не понимая того, что ему говорил Воронцов, и озабоченный только тем, как он сейчас пожмет большую белую руку Марьи Васильевны.

Марья Васильевна, как всегда, не только крепко пожала, но и сильно тряхнула руку Полторацкого. И еще раз напомнив ему его ошибку, когда он пошел с бубен, она улыбнулась ему, как показалось Полторацкому, прелестной, ласковой и значительной улыбкой.

Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросшие и воспитанные в свете, когда они, после месяцев уединенной военной жизни, вновь встречают женщину из своего прежнего круга. Да еще такую женщину, как княгиня Воронцова.

Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта. Он стукнул. Дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь ногой и шашкой. За дверью послышались шаги, и Вавило, крепостной дворовый человек Полторацкого, откинул крючок.

— С чего вздумал запирать?! Болван!

— Да разве можно, Алексей Владимир…

— Опять пьян! Вот я тебе покажу, как можно…

Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал.

— Ну, черт с тобой. Свечу зажги.

— Сею минутую.

Вавило был действительно выпивши, а выпил он потому, что был на именинах у каптенармуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, каптенармуса. Иван Макеич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти вчистую. Вавило же был мальчиком взят в верх, то есть в услужение господам, и вот уже ему было сорок с лишком лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Барин был хороший, дрался мало, но какая же это была жизнь! «Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа. Да куда же мне идти с вольной. Собачья жизнь!» — думал Вавило. И ему так захотелось спать, что он, боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул.

Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым.

— Ну что, проигрался? — сказал проснувшийся

Тихонов.

— Ан нет, семнадцать рублей выиграл, и клико бутылочку распили.

— И на Марью Васильевну смотрел?

— И на Марью Васильевну смотрел, — повторил Полторацкий.

— Скоро уж вставать, — сказал Тихонов, — и в шесть надо уж выступать.

— Вавило, — крикнул Полторацкий. — Смотри, хорошенько буди меня завтра в пять.

— Как же вас будить, когда вы деретесь.

— Я говорю, чтоб разбудить. Слышал?

— Слушаю.

Вавило ушел, унося сапоги и платье.

А Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марьи Васильевны.

У Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала:

— Eh bien, vous allez me dire ce que c'est?

— Mais, ma chère…

— Pas de «ma chère»! C'est un émissaire, n'est-ce pas?

— Quand même je ne puis pas vous le dire.

— Vous ne pouvez pas? Alors c’est moi qui vais vous le dire!

— Vous?[54]

— Хаджи-Мурат? да? — сказала княгиня, слыхавшая уже несколько дней о переговорах с Хаджи-Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи-Мурат.

Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджи-Мурат, а только лазутчик, объявивший, что Хаджи-Мурат завтра выедет к нему в то место, где назначена рубка леса.

Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы — и муж и жена — были очень рады этому событию. Поговорив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать.

---

[54] Сноски: 54

— Ну, ты скажешь мне, в чем дело?
— Но, дорогая…
— При чем тут «дорогая»! Это, конечно, лазутчик?
— Тем не менее я не могу тебе сказать.
— Не можешь? Ну, так я тебе скажу!
— Ты? (*фр.*)

IV

После тех трех бессонных ночей, которые он провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи-Мурат заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенные ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от него, у стены, спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные, молодые члены, так что высокая грудь его с черными хозырями на белой черкеске была выше откинувшейся свежебритой, синей головы, свалившейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, с чуть покрывавшим ее пушком верхняя губа его точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи-Мурат: одетый, с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине сакли догорали сучья, и в печурке чуть светился ночник.

В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой, и Хаджи-Мурат тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел Садо.

— Что надо? — спросил Хаджи-Мурат бодро, как будто никогда не спал.

— Думать надо, — сказал Садо, усаживаясь на корточки перед Хаджи-Муратом. — Женщина с крыши видела, как ты ехал, — сказал он, — и рассказала мужу, а теперь весь аул знает. Сейчас прибегала к жене соседка, сказывала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя.

— Ехать надо, — сказал Хаджи-Мурат.

— Кони готовы, — сказал Садо и быстро вышел из сакли.

— Элдар, — прошептал Хаджи-Мурат, и Элдар, услыхав свое имя и, главное, голос своего мюршида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. Хаджи-Мурат надел оружие на бурку. Элдар сделал то же. И оба молча вышли из сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из двери соседней сакли, и, стуча деревянными башмаками, пробежал какой-то человек в гору к мечети.

Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, и в темноте видны были очертания крыш саклей и больше других здание мечети с минаретом в верхней части аула. От мечети

доносился гул голосов.

Хаджи-Мурат, быстро прихватив ружье, вложил ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, неслышно сел на высокую подушку седла.

— Бог да воздаст вам! — сказал он, обращаясь к хозяину, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя, и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, плетью в знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторонился, и лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади; Садо, в шубе, быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда, через дорогу, показалась движущаяся тень, потом — другая.

— Стой! Кто едет? Остановись! — крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу.

Вместо того чтобы остановиться, Хаджи-Мурат выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи-Мурат, не оглядываясь, большой иноходью пустился вниз по дороге. Элдар большой рысью ехал за ним. Позади их щелкнули

два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи-Мурат продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов триста, он остановил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат тронул лошадь и поехал тем же ровным про́ездом.

Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи-Мурата. Их было человек двадцать верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджи-Мурата или по крайней мере, для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они хотят задержать его. Когда они приблизились настолько, что стали видны в темноте, Хаджи-Мурат остановился, бросив поводья, и, привычным движением левой руки отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар сделал то же.

— Чего надо? — крикнул Хаджи-Мурат. — Взять хотите? Ну, бери! — И он поднял винтовку. Жители аула остановились.

Хаджи-Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в лощину. Конные, не приближаясь, ехали за ним. Когда Хаджи-Мурат переехал

на другую сторону лощины, ехавшие за ним верховые закричали ему, чтобы он выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджи-Мурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он остановил ее, погони за ним уже не слышно было; не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Черная стена леса была совсем близко. Это был тот самый лес, в котором дожидались его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи-Мурат остановился и, забрав много воздуху в легкие, засвистал и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи-Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов сто, Хаджи-Мурат увидал сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещенную огнем стреноженную лошадь в седле.

Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджи-Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был аварец Ханефи, названый брат Хаджи-Мурата, заведующий его хозяйством.

— Огонь потушить, — сказал Хаджи-Мурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья.

— Был здесь Бата? — спросил Хаджи-Мурат,

подходя к расстеленной бурке.

— Был, давно ушли с Хан-Магомой.

— По какой дороге пошли?

— По этой, — отвечал Ханефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи-Мурат.

— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат и, сняв винтовку, стал заряжать ее. — Поберечься надо, гнались за мной, — сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь.

Это был чеченец Гамзало. Гамзало подошел к бурке, взял лежавшую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край поляны, к тому месту, из которого подъехал Хаджи-Мурат. Элдар, слезши с лошади, взял лошадь Хаджи-Мурата и, высоко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям, потом, так же как Гамзало, с винтовкой за плечами стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже таким черным, как прежде, и на небе, хотя и слабо, но светились звезды.

Поглядев на звезды, на Стожары, поднявшиеся уже на половину неба, Хаджи-Мурат рассчитал, что было далеко за полночь и что давно уже была пора ночной молитвы. Он спросил у Ханефи кумган, всегда возимый с собой в сумах, и, надев

бурку, пошел к воде.

Разувшись и совершив омовение, Хаджи-Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы.

Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были переметные сумы, и, сев на бурку, облокотил руки на колена и, опустив голову, задумался.

Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастие. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче — и все удавалось ему. Так это было, за редкими исключениями, во все продолжение его бурной военной жизни. Так он надеялся, что будет и теперь. Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул.

Он видел во сне, как он с своими молодцами, с песнью и криком «Хаджи-Мурат идет» летит на Шамиля и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он

проснулся. Песня «Ля илляха», и крики «Хаджи-Мурат идет», и плач жен Шамиля — это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его. Хаджи-Мурат поднял голову, взглянул на светлевшееся уже сквозь стволы дерев небо на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него мюрида о Хан-Магоме. Узнав, что Хан-Магома еще не возвращался, Хаджи-Мурат опустил голову и тотчас же опять задремал.

Разбудил его веселый голос Хан-Магомы, возвращавшегося с Батою из своего посольства. Хан-Магома тотчас же подсел к Хаджи-Мурату и стал рассказывать, как солдаты встретили их и проводили к самому князю, как он говорил с самим князем, как князь радовался и обещал утром встретить их там, где русские будут рубить лес, за Мичиком, на Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего сотоварища, вставляя свои подробности.

Хаджи-Мурат расспросил подробно о том, какими именно словами отвечал Воронцов на предложение Хаджи-Мурата выйти к русским. И Хан-Магома и Бата в один голос говорили, что князь обещал принять Хаджи-Мурата как гостя и сделать так, чтобы ему хорошо было. Хаджи-Мурат расспросил еще про дорогу, и когда

Хан-Магома заверил его, что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджи-Мурат достал деньги и отдал Бате обещанные три рубля; своим же велел достать из переметных сум свое с золотой насечкой оружие и папаху с чалмою, самим же мюридам почиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, седла, сбрую и коней, звезды померкли, стало совсем светло и потянул предрассветный ветерок.

V

Рано утром, еще в темноте, две роты с топорами, под командой Полторацкого, вышли за десять верст за Чахгиринские ворота и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, принялись за рубку леса. К восьми часам туман, сливавшийся с душистым дымом шипящих и трещащих на кострах сырых сучьев, начал подниматься кверху, и рубившие лес, прежде за пять шагов не видавшие, а только слышавшие друг друга, стали видеть и костры, и заваленную деревьями дорогу, шедшую через лес; солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке, поодаль от дороги, сидели на барабанах: Полторацкий с своим субалтерн-офицером Тихоновым, два офицера 3-й роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ Полторацкого по Пажескому корпусу, барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выспался, был в том особенном настроении подъема душевных

сил и доброго, беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность.

Между офицерами шел оживленный разговор о последней новости, смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента — окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла, а виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их.

Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе, да и никогда нигде не бывает той рубки врукопашную шашками, которая всегда предполагается и описывается (а если и бывает такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют всегда только бегущих), эта фикция рукопашной признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и веселость, с которой они, одни в молодецких, другие, напротив, в самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая, так же как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них. И действительно, как бы в подтвержде-

ние их ожидания в середине их разговора влево от дороги послышался бодрящий, красивый звук винтовочного, резко щелкнувшего выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то в туманном воздухе и щелкнулась в дерево. Несколько грузно-громких выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел.

— Эге! — крикнул веселым голосом Полторацкий, — ведь это в цепи! Ну, брат Костя, — обратился он к Фрезе, — твое счастие. Иди к роте. Мы сейчас такое устроим сражение, что прелесть! И представление сделаем.

Разжалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом пошел в область дыма, где была его рота. Полторацкому подали его маленького каракового кабардинца, он сел на него и, выстроив роту, повел ее к цепи по направлению выстрелов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся голой балкой. Ветер тянул на лес, и не только спуск балки, но и та сторона ее были ясно видны.

Когда Полторацкий подъехал к цепи, солнце выглянуло из-за тумана, и на противоположной стороне балки, у другого начинавшегося там мелкого леса, сажен за сто, виднелось несколько всадников. Чеченцы эти были те, которые

преследовали Хаджи-Мурата и хотели видеть его приезд к русским. Один из них выстрелил по цепи. Несколько солдат из цепи ответили ему. Чеченцы отъехали назад, и стрельба прекратилась. Но когда Полторацкий подошел с ротой, он велел стрелять, и только что была передана команда, по всей линии цепи послышался непрерывный веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали задор и, выскакивая вперед, один за другим выпустили несколько выстрелов по солдатам. Один из их выстрелов ранил солдата. Солдат этот был тот самый Авдеев, который был в секрете. Когда товарищи подошли к нему, он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в животе, и равномерно покачивался.

— Только стал ружье заряжать, слышу — чикнуло, — говорил солдат, бывший с ним в паре. — Смотрю, а он ружье выпустил.

Авдеев был из роты Полторацкого. Увидев собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним.

— Что, брат, попало? — сказал он. — Куда?

Авдеев не отвечал.

— Только стал заряжать, ваше благородие, — заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым, — слышу — чикнуло, смотрю — он ружье выпустил.

— Те-те, — пощелкал языком Полторацкий. — Что же, больно, Авдеев?

— Не больно, а идти не дает. Винца бы, ваше благородие.

Водка, то есть спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашелся, и Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой.

— Не примает душа, — сказал он. — Пей сам.

Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться и опять сел. Расстелили шинель и положили на нее Авдеева.

— Ваше благородие, полковник едет, — сказал фельдфебель Полторацкому.

— Ну ладно, распорядись ты, — сказал Полторацкий и, взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову.

Воронцов ехал на своем английском, кровном рыжем жеребце, сопутствуемый адъютантом полка, казаком и чеченцем-переводчиком.

— Что это у вас? — спросил он Полторацкого.

— Да вот выехала партия, напала на цепь, — отвечал ему Полторацкий.

— Ну-ну, и всё вы затеяли.

— Да не я, князь, — улыбаясь, сказал Полторацкий, — сами лезли.

— Я слышал, солдата ранили?

— Да, очень жаль. Солдат хороший.

— Тяжело?

— Кажется, тяжело, — в живот.

— А я, вы знаете, куда еду? — спросил Воронцов.

— Не знаю.

— Неужели не догадываетесь?

— Нет.

— Хаджи-Мурат вышел и сейчас встретит нас.

— Не может быть!

— Вчера лазутчик от него был, — сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости. — Сейчас должен ждать меня на Шалинской поляне; так вы рассыпьте стрелков до поляны и потом приезжайте ко мне.

— Слушаю, — сказал Полторацкий, приложив руку к папахе, и поехал к своей роте. Сам он свел цепь на правую сторону, с левой же стороны велел это сделать фельдфебелю. Раненого между

тем четыре солдата унесли в крепость.

Полторацкий уже возвращался к Воронцову, когда увидал сзади себя догоняющих его верховых. Полторацкий остановился и подождал их.

Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи-Мурат. Он подъехал к Полторацкому и сказал ему что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел руками в знак того, что не понимает, и улыбнулся. Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное: это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, проницательно и спокойно смотрели в глаза другим людям.

Свита Хаджи-Мурата состояла из четырех человек. Был в этой свите тот Хан-Магома, который нынче ночью ходил к Воронцову. Это был румяный, с черными, без век, яркими глазами, круг-

лолицый человек, сияющий жизнерадостным выражением. Был еще коренастый волосатый человек с сросшимися бровями. Этот был тавлинец Ханефи, заведующий всем имуществом Хаджи-Мурата. Он вел с собой заводную лошадь с туго наполненными переметными сумами. Особенно же выделялись из свиты два человека: один — молодой, тонкий, как женщина, в поясе и широкий в плечах, с чуть пробивающейся русой бородкой, красавец с бараньими глазами, — это был Элдар, и другой, кривой на один глаз, без бровей и без ресниц, с рыжей подстриженной бородой и шрамом через нос и лицо, — чеченец Гамзало.

Полторацкий указал Хаджи-Мурату на показавшегося по дороге Воронцова. Хаджи-Мурат направился к нему и, подъехав вплоть, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски и остановился. Чеченец-переводчик перевел:

— Отдаюсь, говорит, на волю русского царя, хочу, говорит, послужить ему. Давно хотел, говорит. Шамиль не пускал.

Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку в замшевой перчатке Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее и еще сказал что-то,

глядя то на переводчика, то на Воронцова.

— Он, говорит, ни к кому не хотел выходить, а только к тебе, потому ты сын сардаря. Тебя уважал крепко.

Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. Хаджи-Мурат еще сказал что-то, указывая на свою свиту.

— Он говорит, что люди эти, его мюриды, будут так же, как и он, служить русским.

Воронцов оглянулся на них, кивнул и им головой.

Веселый, черноглазый, без век, Хан-Магома, также кивая головой, что-то, должно быть, смешное проговорил Воронцову, потому что волосатый аварец оскалил улыбкой ярко-белые зубы. Рыжий же Гамзало только блеснул на мгновение одним своим красным глазом на Воронцова и опять уставился на уши своей лошади.

Когда Воронцов и Хаджи-Мурат, сопутствуемые свитой, проезжали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и собравшиеся кучкой, делали свои замечания:

— Сколько душ загубил, проклятый, теперь, поди, как его ублаготворять будут, — сказал один.

— А то как же. Первый камандер у Шмеля был. Теперь, небось…

— А молодчина, что говорить, джигит.

— А рыжий-то, рыжий, — как зверь, косится.

— Ух, собака, должно быть.

Все особенно заметили рыжего.

Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его.

— Пускай посмотрят своего старого знакомого. Ты знаешь, кто это? — спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова с своим аглицким акцентом.

— Никак нет, ваше сиятельство.

— Хаджи-Мурат, — слыхал?

— Как не слыхать, ваше сиятельство, били его много раз.

— Ну, да и от него доставалось.

— Так точно, ваше сиятельство, — отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальником.

Хаджи-Мурат понимал, что говорят про него, и веселая улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом веселом расположении духа вернулся в крепость.

VI

Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, удалось выманить и принять главного, могущественнейшего, второго после Шамиля, врага России. Одно было неприятно: командующий войсками в Воздвиженской был генерал Меллер-Закомельский, и, по-настоящему, надо было через него вести все дело. Воронцов же сделал все сам, не донося ему, так что могла выйти неприятность. И эта мысль отравляла немного удовольствие Воронцова.

Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковому адъютанту мюридов Хаджи-Мурата, а сам ввел его к себе в дом.

Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджи-Мурата в гостиной, и Хаджи-Мурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака так же священна для кунака, как и он сам. И наружность и манеры Хаджи-Мурата понравились Марье Васильевне.

То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположило ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофей, велела подать. Хаджи-Мурат, однако, отказался от кофея, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался, и улыбка его понравилась Марье Васильевне так же, как и Полторацкому. Кудрявый же, востроглазый сынок Марьи Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя подле матери, не спускал глаз с Хаджи-Мурата, про которого он слышал как про необыкновенного воина.

Оставив Хаджи-Мурата у жены, Воронцов пошел в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджи-Мурата. Написав донесение начальнику левого фланга, генералу Козловскому, в Грозную, и письмо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чужого, страшного человека, с которым надо было обходиться так, чтобы и не обидеть и не слишком приласкать. Но страх его был напрасен. Хаджи-Мурат сидел на кресле, держа на колене Бульку, пасынка Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал

то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марьи Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому кунаку ту свою вещь, которую кунак этот похвалит, то ему скоро придется ходить, как Адаму…

Хаджи-Мурат при входе князя снял с колена удивленного и обиженного этим Бульку и встал, тотчас же переменив игривое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марьи Васильевны тем, что такой их закон, что все, что понравилось кунаку, то надо отдать кунаку.

— Твоя сын — кунак, — сказал он по-русски, гладя по курчавым волосам Бульку, влезшего ему опять на колено.

— Он прелестен, твой разбойник, — по-французски сказала Марья Васильевна мужу. — Булька стал любоваться его кинжалом — он подарил его ему.

Булька показал кинжал отчиму.

— C’est un objet de prix[55], — сказала Марья Васильевна.

---

[55] Сноски: 55
Это ценная вещь (*фр.*).

— Il faudra trouver l'occasion de lui faire cadeau[56], — сказал Воронцов.

Хаджи-Мурат сидел, опустив глаза, и, гладя мальчика по курчавой голове, приговаривал:

— Джигит, джигит.

— Прекрасный кинжал, прекрасный, — сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине. — Благодарствуй.

— Спроси его, чем я могу услужить ему, — сказал Воронцов переводчику.

Переводчик передал, и Хаджи-Мурат тотчас же отвечал, что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где бы он мог помолиться. Воронцов позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджи-Мурата.

Как только Хаджи-Мурат остался один в отведенной ему комнате, лицо его изменилось: исчезло выражение удовольствия и то ласковости, то торжественности, и выступило выражение озабоченности.

Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджи-Мурат

---

[56] Сноски: 56
Надо будет найти случай отдарить его (*фр.*).

Воронцову и его офицерам. Он боялся всего: и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь или просто убьют, и потому был настороже.

Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мюридов, где лошади и не отобрали ли у них оружие.

Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людей поместили в сарае, оружие оставили при них и переводчик угащивает их едою и чаем.

Хаджи-Мурат, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, стал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет.

В пятом часу его позвали обедать к князю.

За обедом Хаджи-Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна.

— Он боится, чтобы мы не отравили его, — сказала Марья Васильевна мужу. — Он взял, где я взяла. — И тотчас обратилась к Хаджи-Мурату через переводчика, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться. Хаджи-Мурат поднял пять пальцев и показал на солнце.

— Стало быть, скоро.

Воронцов вынул брегет и прижал пружинку, — часы пробили четыре и одну четверть. Хаджи-Мурата, очевидно, удивил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть часы.

— Voilà l'occasion. Donnez-lui la montre[57], — сказала Марья Васильевна мужу.

Воронцов тотчас предложил часы Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой.

После обеда князю доложили об адъютанте Меллера-Закомельского.

Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджи-Мурата, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом, и что он требует, чтобы Хаджи-Мурат сейчас же был доставлен к нему. Воронцов сказал, что приказание генерала будет исполнено, и, через переводчика передав Хаджи-Мурату требование генерала, попросил его идти вместе с ним к Меллеру.

Марья Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом может произойти неприятность, и,

---

[57] Сноски: 57
Вот случай. Подари ему часы (*фр.*).

несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи-Муратом к генералу.

— Vous feriez beaucoup mieux de rester; c'est mon affaire, mais pas la vôtre.

— Vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller voir madame la générale[58].

— Можно бы в другое время.

— А я хочу теперь.

Делать было нечего. Воронцов согласился, и они пошли все трое.

Когда они вошли, Меллер с мрачной учтивостью проводил Марью Васильевну к жене, адъютанту же велел проводить Хаджи-Мурата в приемную и не выпускать никуда до его приказания.

— Прошу, — сказал он Воронцову, отворяя дверь в кабинет и пропуская в нее князя вперед себя.

Войдя в кабинет, он остановился перед князем и, не прося его сесть, сказал:

— Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры с неприятелем должны быть ведены через меня. Почему вы не донесли мне о выходе Хаджи-Мурата?

---

[58] Сноски: 58

— Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталась; это мое дело, а не твое.

— Ты не можешь препятствовать мне навестить генеральшу (*фр.*).

— Ко мне пришел лазутчик и объявил желание Хаджи-Мурата отдаться мне, — отвечал Воронцов, бледнея от волнения, ожидая грубой выходки разгневанного генерала и вместе с тем заражаясь его гневом.

— Я спрашиваю, почему не донесли мне?

— Я намеревался сделать это, барон, но…

— Я вам не барон, а ваше превосходительство.

И тут вдруг прорвалось долго сдерживаемое раздражение барона. Он высказал все, что давно накипело у него в душе.

— Я не затем двадцать семь лет служу своему государю, чтобы люди, со вчерашнего дня начавшие служить, пользуясь своими родственными связями, у меня под носом распоряжались тем, что их не касается.

— Ваше превосходительство! Я прошу вас не говорить того, что несправедливо, — перебил его Воронцов.

— Я говорю правду и не позволю… — еще раздражительнее заговорил генерал.

В это время, шурша юбками, вошла Марья Васильевна и за ней невысокая скромная дама, жена Меллера-Закомельского.

— Ну, полноте, барон, Simon не хотел вам сделать неприятности, — заговорила Марья Ва-

сильевна.

— Я, княгиня, не про то говорю…

— Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете: худой спор лучше доброй ссоры. Что я говорю… — Она засмеялась.

И сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка.

— Я признаю, что я был не прав, — сказал Воронцов, — но…

— Ну, и я погорячился, — сказал Меллер и подал руку князю.

Мир был установлен, и решено было на время оставить Хаджи-Мурата у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга.

Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате и, хотя не понимал того, что говорили, понял то, что ему нужно было понять: что они спорили о нем, и что его выход от Шамиля есть дело огромной важности для русских, и что поэтому, если только его не сошлют и не убьют, ему много можно будет требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер-Закомельский, хотя и начальник, не имеет того значения, которое имеет Воронцов, его подчиненный, и что важен Воронцов, а не важен Меллер-Закомельский; и поэтому, когда Меллер-

Закомельский позвал к себе Хаджи-Мурата и стал расспрашивать его, Хаджи-Мурат держал себя гордо и торжественно, говоря, что вышел из гор, чтобы служить белому царю, и что он обо всем даст отчет только его сардарю, то есть главнокомандующему, князю Воронцову, в Тифлисе.

VII

Раненого Авдеева снесли в госпиталь, помещавшийся в небольшом крытом тесом доме на выезде из крепости, и положили в общую палату на одну из пустых коек. В палате было четверо больных: один — метавшийся в жару тифозный, другой — бледный, с синевой под глазами, лихорадочный, дожидавшийся пароксизма и непрестанно зевавший, и еще два раненных в набеге три недели тому назад — один в кисть руки (этот был на ногах), другой в плечо (этот сидел на койке). Все, кроме тифозного, окружили принесенного и расспрашивали принесших.

— Другой раз палят, как горохом осыпают, и — ничего, а тут всего раз пяток выстрелили, — рассказывал один из принесших.

— Кому что назначено!

— Ох, — громко крякнул, сдерживая боль, Авдеев, когда его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахмурился и не стонал больше, но только не переставая шевелил ступнями. Он держал рану руками и неподвижно смотрел перед собой.

Пришел доктор и велел перевернуть раненого,

чтобы посмотреть, не вышла ли пуля сзади.

— Это что ж? — спросил доктор, указывая на перекрещивающиеся белые рубцы на спине и заду.

— Это старок, ваше высокоблагородие, — крякхтя, проговорил Авдеев.

Это были следы его наказания за пропитые деньги.

Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял зондом в животе и нащупал пулю, но не мог достать ее. Перевязав рану и заклеив ее липким пластырем, доктор ушел. Во все время ковыряния раны и перевязывания ее Авдеев лежал с стиснутыми зубами и закрытыми глазами. Когда же доктор ушел, он открыл глаза и удивленно оглянулся вокруг себя. Глаза его были направлены на больных и фельдшера, но он как будто не видел их, а видел что-то другое, очень удивлявшее его.

Пришли товарищи Авдеева — Панов и Серёгин. Авдеев все так же лежал, удивленно глядя перед собою. Он долго не мог узнать товарищей, несмотря на то, что глаза его смотрели прямо на них.

— Ты, Пётра, чего домой приказать не хочешь ли? — сказал Панов.

Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панову.

— Я говорю, домой приказать не хочешь ли чего? — опять спросил Панов, трогая его за холодную ширококостную руку.

Авдеев как будто очнулся.

— А, Антоныч пришел!

— Да вот пришел. Не прикажешь ли чего домой? Серёгин напишет.

— Серёгин, — сказал Авдеев, с трудом переводя глаза на Серёгина, — напишешь?.. Так вот отпиши: «Сын, мол, ваш Петруха долго жить приказал». Завистовал брату. Я тебе нонче сказывал. А теперь, значит, сам рад. Не замай живет. Дай Бог ему, я рад. Так и пропиши.

Сказав это, он долго молчал, уставившись глазами на Панова.

— Ну, а трубку нашел? — вдруг спросил он.

Панов покачал головой и не отвечал.

— Трубку, трубку, говорю, нашел? — повторил Авдеев.

— В сумке была.

— То-то. Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирать буду, — сказал Авдеев.

В это время пришел Полторацкий проведать своего солдата.

— Что, брат, плохо? — сказал он.

Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал

головой. Скуластое лицо его было бледно и строго. Он ничего не ответил и только опять повторил, обращаясь к Панову:

— Свечку дай. Помирать буду.

Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, и ее вложили между пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, и пять минут после его ухода фельдшер приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился.

Смерть Авдеева в реляции, которая была послана в Тифлис, описывалась следующим образом: «23 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранены два рядовых и убит один. Горцы же потеряли около ста человек убитыми и ранеными».

VIII

В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Воздвиженском госпитале, его старик отец, жена брата, за которого он пошел в солдаты, и дочь старшего брата, девка-невеста, молотили овес на морозном току. Накануне выпал глубокий снег, и к утру сильно заморозило. Старик проснулся еще с третьими петухами и, увидав в замерзшем окне яркий свет месяца, слез с печи, обулся, надел шубу, шапку и пошел на гумно. Проработав там часа два, старик вернулся в избу и разбудил сына и баб. Когда бабы и девка пришли на гумно, ток был расчищен, деревянная лопата стояла воткнутой в белый сыпучий снег и рядом с нею метла прутьями вверх, и овсяные снопы были разостланы в два ряда, волоть с волотью, длинной веревкой по чистому току. Разобрали цепы и стали молотить, равномерно ладя тремя ударами. Старик крепко бил тяжелым цепом, разбивая солому, девка ровным ударом била сверху, сноха отворачивала.

Месяц зашел, и начинало светать; и уже кончали веревку, когда старший сын, Аким, в полушубке и шапке вышел к работающим.

— Ты чего лодырничаешь? — крикнул на него отец, останавливаясь молотить и опираясь на цеп.

— Лошадей убрать надо же.

— Лошадей убрать, — передразнил отец. — Старуха уберет. Бери цеп. Больно жирен стал. Пьяница!

— Ты, что ли, меня поил? — пробурчал сын.

— Чаго? — нахмурившись и пропуская удар, грозно спросил старик.

Сын молча взял цеп, и работа пошла в четыре цепа: трап, та-па-тап, трап, та-па-тап… Трап! — ударял после трех раз тяжелый цеп старика.

— Загривок-то, глянь, как у барина доброго. Вот у меня так портки не держатся, — проговорил старик, пропуская свой удар и только, чтобы не потерять такту, переворачивая в воздухе цепинкой.

Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому.

— Дурак Петруха, что за тебя пошел. Из тебя бы в солдатах дурь-то повыбили бы, а он-то дома пятерых таких, как ты, стоил.

— Ну, будет, батюшка, — сказала сноха, откидывая разбитые свясла.

— Да, корми вас сам-шёст, а работы и от одного

нету. Петруха, бывало, за двоих один работает, не то что…

По протоптанной из двора тропинке, скрипя по снегу новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных онучах, подошла старуха. Мужики сгребали невеяное зерно в ворох, бабы и девка заметали.

— Выборный заходил. На барщину всем кирпич возить, — сказала старуха. — Я завтракать собрала. Идите, что ль.

— Ладно. Чалого запряги и ступай, — сказал старик Акиму. — Да смотри, чтоб не так, как намедни, отвечать за тебя. Попомнишь Петруху.

— Как он был дома, его ругал, — огрызнулся теперь Аким на отца, — а нет его, меня глодаешь.

— Значит, сто́ишь, — так же сердито сказала мать. — Не с Петрухой тебя сменять.

— Ну, ладно! — сказал сын.

— То-то ладно. Муку пропил, а теперь говоришь: ладно.

— Про старые дрожжи поминать двожды, — сказала сноха, и все, положив цепы, пошли к дому.

Нелады между отцом и сыном начались уже давно, почти со времени отдачи Петра в солдаты. Уже тогда старик почувствовал, что он проме-

нял кукушку на ястреба. Правда, что по закону, как разумел его старик, надо было бездетному идти за семейного. У Акима было четверо детей, у Петра никого, но работник Петр был такой же, как и отец: ловкий, сметливый, сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый. Он всегда работал. Если он проходил мимо работающих, так же как и делывал старик, он тотчас же брался помогать — или пройдет ряда два с косой, или навьет воз, или срубит дерево, или порубит дров. Старик жалел его, но делать было нечего. Солдатство было как смерть. Солдат был отрезанный ломоть, и поминать о нем — душу бередить — незачем было. Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик, как нынче, вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего сына и уже давно, второй год, просила старика, чтобы он послал Петрухе деньжонок. Но старик отмалчивался.

Двор Авдеевых был богатый, и у старика были припрятаны деньжонки, но он ни за что не решился бы тронуть отложенного. Теперь, когда старуха услыхала, что он поминает меньшего сына, она решила опять просить его, чтобы при продаже овса послать сыну хоть рублик. Так она и сделала. Оставшись вдвоем с стариком,

после того как молодые ушли на барщину, она уговорила мужа из овсяных денег послать рубль Петрухе. Так что, когда из провеянных ворохов двенадцать четвертей овса были насыпаны на веретья в трое саней и веретья аккуратно зашпилены деревянными шпильками, она дала старику написанное под ее слова дьячком письмо, и старик обещал в городе приложить к письму рубль и послать по адресу.

Старик, одетый в новую шубу и кафтан и в чистых белых шерстяных онучах, взял письмо, уложил его в кошель и, помолившись Богу, сел на передние сани и поехал в город. На задних санях ехал внук. В городе старик велел дворнику прочесть себе письмо и внимательно и одобрительно слушал его.

В письме Петрухиной матери было писано, во-первых, благословение, во-вторых, поклоны всех, известие о смерти крестного и под конец известие о том, что Аксинья (жена Петра) «не захотела с нами жить и пошла в люди. Слышно, что живет хорошо и честно». Упоминалось о гостинце, рубле, и прибавлялось то, что уже прямо от себя, и слово в слово, пригорюнившаяся старуха, со слезами на глазах, велела написать дьяку:

«А еще, милое мое дитятко, голубок ты мой

Петрушенька, выплакала я свои глазушки, о тебе сокрушаючись. Солнушко мое ненаглядное, на кого ты меня оставил…» На этом месте старуха завыла, заплакала и сказала:

— Так и будет.

Так и осталось в письме, но Петрухе не суждено было получить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни рубля, ни последних слов матери. Письмо это и деньги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне, «защищая царя, отечество и веру православную». Так написал военный писарь.

Старуха, получив это известие, повыла, покуда было время, а потом взялась за работу. В первое же воскресенье она пошла в церковь и раздала кусочки просвирок «добрым людям для поминания раба Божия Петра».

Солдатка Аксинья тоже повыла, узнав о смерти «любимого мужа, с которым» она «пожила только один годочек». Она жалела и мужа и всю свою погубленную жизнь. И в своем вытье поминала «и русые кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое горькое житье с сиротой Ванькой» и горько упрекала «Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее горькую, по чужим людям скитальщицу».

В глубине же души Аксинья была рада смерти Петра. Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать ее, и приказчик мог взять ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви.

IX

Воронцов, Михаил Семенович, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человек редкого в то время европейского образования, честолюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношениях с высшими. Он не понимал жизни без власти и без покорности. Он имел все высшие чины и ордена и считался искусным военным, даже победителем Наполеона под Краоном. Ему в 51-м году было за семьдесят лет, но он еще был совсем свеж, бодро двигался и, главное, вполне обладал всей ловкостью тонкого и приятного ума, направленного на поддержание своей власти и утверждение и распространение своей популярности. Он владел большим богатством — и своим и своей жены, графини Браницкой, — и огромным получаемым содержанием в качестве наместника и тратил бóльшую часть своих средств на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма.

Вечером 7 декабря 1851 года к дворцу его в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черный от пыли офицер, привезший от ге-

нерала Козловского известие о выходе к русским Хаджи-Мурата, разминая ноги, вошел мимо часовых в широкое крыльцо наместнического дворца. Было шесть часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера не откладывая и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу, человек тридцать, сидевшие около княгини Елизаветы Ксаверьевны и стоявшие группами у окон, встали, повернулись лицом к вошедшему. Воронцов был в своем обычном черном военном сюртуке без эполет, с полупогончиками и белым крестом на шее. Лисье бритое лицо его приятно улыбалось, и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся.

Войдя мягкими, поспешными шагами в гостиную, он извинился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане Орбельяни, сорокапятилетней, восточного склада, полной, высокой красавице, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку приезжему рыжеватому генералу с щетинистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазёль, приятельнице княгини.

Доктор Андреевский, адъютанты и другие, кто с дамами, кто без дам, пошли вслед за тремя парами. Лакеи в кафтанах, чулках и башмаках отодвигали и придвигали стулья садящимся; метрдотель торжественно разливал дымящийся суп из серебряной миски.

Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его села княгиня, его жена, с генералом. Направо от него была его дама, красавица Орбельяни, налево — стройная, черная, румяная, в блестящих украшениях, княжна-грузинка, не переставая улыбавшаяся.

— Excellentes, chère amie, — отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером. — Simon a eu de la chance[59].

И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом, поразительную новость, — для него одного это не было вполне новостью, потому что переговоры велись уже давно, — о том, что знаменитый, храбрейший помощник Шамиля Хаджи-Мурат передался русским и нынче-завтра будет привезен в Тифлис.

Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, сидевшие на дальних концах сто-

---

[59] Сноски: 59

Превосходные, милый друг. Семену повезло (*фр.*).

ла и перед этим о чем-то тихо смеявшиеся, все затихли и слушали.

— А вы, генерал, встречали этого Хаджи-Мурата? — спросила княгиня у своего соседа, рыжего генерала с щетинистыми усами, когда князь перестал говорить.

— И не раз, княгиня.

И генерал рассказал про то, как Хаджи-Мурат в 43-м году, после взятия горцами Гергебиля, наткнулся на отряд генерала Пассека и как он, на их глазах почти, убил полковника Золотухина.

Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевидно довольный тем, что генерал разговорился. Но вдруг лицо Воронцова приняло рассеянное и унылое выражение.

Разговорившийся генерал стал рассказывать про то, где он в другой раз столкнулся с Хаджи-Муратом.

— Ведь это он, — говорил генерал, — вы изволите помнить, ваше сиятельство, устроил в сухарную экспедицию засаду на выручке.

— Где? — переспросил Воронцов, щуря глаза.

Дело было в том, что храбрый генерал называл «выручкой» то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим

им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска. Всем было известно, что весь Даргинский поход, под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых и несколько пушек, был постыдным событием, и потому если кто и говорил про этот поход при Воронцове, то говорил только в том смысле, в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был блестящий подвиг русских войск. Словом же «выручка» прямо указывалось на то, что это был не блестящий подвиг, а ошибка, погубившая много людей. Все поняли это, и одни делали вид, что не замечают значения слов генерала, другие испуганно ожидали, что будет дальше; некоторые, улыбаясь, переглянулись.

Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно ответил:

— На выручке, ваше сиятельство.

И раз заведенный на любимую тему, генерал подробно рассказал, как «этот Хаджи-Мурат так ловко разрезал отряд пополам, что, не приди нам на выручку, — он как будто с особенной любовью повторял слово “выручка”, — тут бы все и остались, потому…»

Генерал не успел досказать все, потому что

Манана Орбельяни, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расспрашивая его об удобствах его помещения в Тифлисе. Генерал удивился, оглянулся на всех и на своего адъютанта в конце стола, упорным и значительным взглядом смотревшего на него, — и вдруг понял. Не отвечая княгине, он нахмурился, замолчал и стал поспешно есть, не жуя, лежавшее у него на тарелке утонченное кушанье непонятного для него вида и даже вкуса.

Всем стало неловко, но неловкость положения исправил грузинский князь, очень глупый, но необыкновенно тонкий и искусный льстец и придворный, сидевший по другую сторону княгини Воронцовой. Он, как будто ничего не замечая, громким голосом стал рассказывать про похищение Хаджи-Муратом вдовы Ахмет-Хана Мехтулинского:

— Ночью вошел в селенье, схватил, что ему нужно было, и ускакал со всей партией.

— Зачем же ему нужна была именно женщина эта? — спросила княгиня.

— А он был враг с мужем, преследовал его, но нигде до самой смерти хана не мог встретить, так вот он отомстил на вдове.

Княгиня перевела это по-французски своей ста-

рой приятельнице, графине Шуазёль, сидевшей подле грузинского князя.

— Quelle horreur![60] — сказала графиня, закрывая глаза и покачивая головой.

— О нет, — сказал Воронцов улыбаясь, — мне говорили, что он с рыцарским уважением обращался с пленницей и потом отпустил ее.

— Да, за выкуп.

— Ну разумеется, но все-таки он благородно поступил.

Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хаджи-Мурата. Придворные поняли, что чем больше приписывать значения Хаджи-Мурату, тем приятнее будет князю Воронцову.

— Удивительная смелость у этого человека. Замечательный человек.

— Как же, в сорок девятом году он среди бела дня ворвался в Темир-Хан-Шуру и разграбил лавки.

Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в Темир-Хан-Шуре, рассказал про подробности этого подвига Хаджи-Мурата.

Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджи-Мурате. Все наперерыв хвалили его храбрость,

---

[60] Сноски: 60
Какой ужас! (*фр.*)

ум, великодушие. Кто-то рассказал про то, как он велел убить двадцать шесть пленных; но и на это было обычное возражение:

— Что делать! A la guerre comme à la guerre[61].

— Это большой человек.

— Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон, — сказал глупый грузинский князь, имеющий дар лести.

Он знал, что всякое упоминание о Наполеоне, за победу над которым Воронцов носил белый крест на шее, было приятно князю.

— Ну, хоть не Наполеон, но лихой кавалерийский генерал — да, — сказал Воронцов.

— Если не Наполеон, то Мюрат.

— И имя его — Хаджи-Мурат.

— Хаджи-Мурат вышел, теперь конец и Шамилю, — сказал кто-то.

— Они чувствуют, что им теперь (это теперь значило: при Воронцове) не выдержать, — сказал другой.

— Tout cela est grâce à vous[62], — сказала Манана Орбельяни.

Князь Воронцов старался умерить волны лести,

---

[61] Сноски: 61
На войне как на войне (*фр.*).

[62] Сноски: 62
Все это благодаря вам (*фр.*).

которые начинали уже заливать его. Но ему было приятно, и он повел от стола свою даму в гостиную в самом хорошем расположении духа.

После обеда, когда в гостиной обносили кофе, князь особенно ласков был со всеми и, подойдя к генералу с рыжими щетинистыми усами, старался показать ему, что он не заметил его неловкости.

Обойдя всех гостей, князь сел за карты. Он играл только в старинную игру — ломбер. Партнерами князя были: грузинский князь, потом армянский генерал, выучившийся у камердинера князя играть в ломбер, и четвертый, — знаменитый по своей власти, — доктор Андреевский.

Поставив подле себя золотую табакерку с портретом Александра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел разостлать их, когда вошел камердинер, итальянец Джовани, с письмом на серебряном подносе.

— Еще курьер, ваше сиятельство.

Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал и стал читать.

Письмо было от сына. Он описывал выход Хаджи-Мурата и столкновение с Меллером-Закомельским.

Княгиня подошла и спросила, что пишет сын.

— Все о том же. Il a eu quelques désagréments avec le commandant de la place. Simon a eu tort[63]. But all is well what ends well[64], — сказал он, передавая жене письмо, и, обращаясь к почтительно дожидавшимся партнерам, попросил брать карты.

Когда сдали первую сдачу, Воронцов открыл табакерку и сделал то, что он делывал, когда был в особенно хорошем расположении духа: достал старчески сморщенными белыми руками щепотку французского табаку и поднес ее к носу и высыпал.

[63] Сноски: 63

У него были кое-какие неприятности с комендантом крепости. Семен был не прав (*фр.*).

[64] Сноски: 64

Но все хорошо, что хорошо кончается (*англ.*).

X

Когда на другой день Хаджи-Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народа. Тут был и вчерашний генерал с щетинистыми усами, в полной форме и орденах, приехавший откланяться; тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребления по продовольствованию полка; тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта; тут была, вся в черном, вдова убитого офицера, приехавшая просить о пенсии или о помещении детей на казенный счет; тут был разорившийся грузинский князь в великолепном грузинском костюме, выхлопатывавший себе упраздненное церковное поместье; тут был пристав с большим свертком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа; тут был один хан, явившийся только затем, чтобы рассказать дома, что он был у князя.

Все дожидались очереди и один за другим были вводимы красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя.

Когда в приемную вошел бодрым шагом, прихрамывая, Хаджи-Мурат, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шепотом произносимое его имя.

Хаджи-Мурат был одет в длинную белую черкеску на коричневом, с тонким серебряным галуном на воротнике, бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чувяки, как перчатка обтягивающие ступни, на бритой голове — папаха с чалмой, — той самой чалмой, за которую он, по доносу Ахмет-Хана, был арестован генералом Клюгенау и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи-Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну, более короткую, чем другая, ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели.

Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи-Мурата сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи-Мурат отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих.

Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи-Мурату и заговорил с ним. Хаджи-Мурат неохотно, отрывисто отвечал. Из кабинета вышел

кумыцкий князь, жаловавшийся на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи-Мурата, подвел его к двери кабинета и пропустил в нее.

Воронцов принял Хаджи-Мурата, стоя у края стола. Старое белое лицо главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное.

Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными жалюзи, Хаджи-Мурат приложил свои небольшие, загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал:

— Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим.

Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи-Мурата, и Хаджи-Мурат взглянул в лицо Воронцова.

Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину:

глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Мурат, что он знает, что он — враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи-Мурату то, что считал нужным для успеха войны.

— Скажи ему, — сказал Воронцов переводчику (он говорил «ты» молодым офицерам), — что наш государь так же милостив, как и могуществен, и, вероятно, по моей просьбе простит его и примет в свою службу. Передал? — спросил он, глядя на Хаджи-Мурата. — До тех же пор, пока получу милостивое решение моего повелителя, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным.

Хаджи-Мурат еще раз прижал руки к середине груди и что-то оживленно заговорил.

Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, когда он управлял Аварией, в 39-м году, он верно служил русским и никогда не из-

менил бы им, если бы не враг его, Ахмет-Хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Клюгенау.

— Знаю, знаю, — сказал Воронцов (хотя он если и знал, то давно забыл все это). — Знаю, — сказал он, садясь и указывая Хаджи-Мурату на тахту, стоявшую у стены. Но Хаджи-Мурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека.

— И Ахмет-Хан и Шамиль, оба — враги мои, — продолжал он, обращаясь к переводчику. — Скажи князю: Ахмет-Хан умер, я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатив ему, — сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти.

— Да, да, — спокойно проговорил Воронцов. — Как же он хочет отплатить Шамилю? — сказал он переводчику. — Да скажи ему, что он может сесть.

Хаджи-Мурат опять отказался сесть и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь им уничтожить Шамиля.

— Хорошо, хорошо, — сказал Воронцов. — Что же именно он хочет делать? Садись, садись…

Хаджи-Мурат сел и сказал, что если только его пошлют на лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться.

— Это хорошо. Это можно, — сказал Воронцов. — Я подумаю.

Переводчик передал Хаджи-Мурату слова Воронцова. Хаджи-Мурат задумался.

— Скажи сардарю, — сказал он еще, — что моя семья в руках моего врага; и до тех пор, пока семья моя в горах, я связан и не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменяет ее на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля.

— Хорошо, хорошо, — сказал Воронцов. — Подумаем об этом. Теперь же пусть он идет к начальнику штаба и подробно изложит ему свое положение, свои намерения и желания.

Тем кончилось первое свидание Хаджи-Мурата с Воронцовым.

В тот же день, вечером, в новом, в восточном вкусе отделанном театре шла итальянская опера. Воронцов был в своей ложе, и в партере появилась заметная фигура хромого Хаджи-Мурата в чалме. Он вошел с приставленным

к нему адъютантом Воронцова Лорис-Меликовым и поместился в первом ряду. С восточным, мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджи-Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя внимание всех зрителей.

На другой день был понедельник, обычный вечер у Воронцовых. В большой, ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины, в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена «сардаря» тоже, несмотря на свои немолодые годы, так же полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджи-Мурату, с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджи-Мурату и другие обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же: как ему нравится то, что он видит. Сам Воронцов, в золотых эполетах и аксельбан-

тах, с белым крестом на шее и лентой, подошел к нему и спросил то же самое, очевидно уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджи-Мурату не могло не нравиться все то, что он видел. И Хаджи-Мурат отвечал и Воронцову то, что отвечал всем: что у них этого нет, — не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них.

Хаджи-Мурат попытался было заговорить и здесь, на бале, с Воронцовым о своем деле выкупа семьи, но Воронцов, сделав вид, что не слыхал его слов, отошел от него. Лорис-Меликов же сказал потом Хаджи-Мурату, что здесь не место говорить о делах.

Когда пробило одиннадцать часов и Хаджи-Мурат поверил время на своих, подаренных ему Марьей Васильевной часах, он спросил Лорис-Меликова, можно ли уехать. Лорис-Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджи-Мурат не остался и уехал на данном в его распоряжение фаэтоне в отведенную ему квартиру.

XI

На пятый день пребывания Хаджи-Мурата в Тифлисе Лорис-Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению главнокомандующего.

— И голова и руки рады служить сардарю, — сказал Хаджи-Мурат с обычным своим дипломатическим выражением, наклонив голову и прикладывая руки к груди. — Прикажи, — сказал он, ласково глядя в глаза Лорис-Меликову.

Лорис-Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи-Мурат опустился против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Лорис-Меликов говорил ему. Лорис-Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи-Мурата, желает от него самого узнать всю его историю.

— Ты расскажи мне, — сказал Лорис-Меликов, — а я запишу, переведу потом по-русски, и князь пошлет государю.

Хаджи-Мурат помолчал (он не только никогда не перебивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего), потом поднял

голову, стряхнув папаху назад, улыбнулся той особенной, детской улыбкой, которой он пленил еще Марью Васильевну.

— Это можно, — сказал он, очевидно польщенный мыслью о том, что его история будет прочтена государем.

— Расскажи мне (по-татарски нет обращения на вы) все с начала, не торопясь, — сказал Лорис-Меликов, доставая из кармана записную книжку.

— Это можно, только много, очень много есть чего рассказывать. Много дела было, — сказал Хаджи-Мурат.

— Не успеешь в один день, в другой день доскажешь, — сказал Лорис-Меликов.

— С начала начинать?

— Да, с самого начала: где родился, где жил.

Хаджи-Мурат опустил голову и долго просидел так; потом взял палочку, лежавшую у тахты, достал из-под кинжала с слоновой ручкой, оправленной золотом, острый, как бритва, булатный ножик и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать:

— Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову, как у нас говорят в горах, — начал он. — Недалеко от нас, выстрела за два,

Хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, Абунунцал-Хана, от этого я и стал близок к ханам. Ханов было трое: Абунунцал-Хан, молочный брат моего брата Османа, Умма-Хан, мой брат названый, и Булач-Хан, меньшой, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет пятнадцать, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали: «Мусульмане, хазават!» Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. Я был как брат ханам: что хотел, то делал, и стал богат. Были у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в свое удовольствие и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Кази-Муллу убили и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам послов сказать, что, если они не примут хазават, он разорит Хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять хазават, и ханша послала меня с сыном, с вторым, с Умма-Ханом, в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным начальником был Розен, барон. Он не принял ни меня, ни Умма-Хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только

его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Умма-Ханом. Они поили его вином и в дурные места возили его, и он проиграл им в карты все, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой слабый, как вода. Он проиграл бы последних коней и оружие, если бы я не увез его. После Тифлиса мысли мои переменились, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазават.

— Отчего ж переменились мысли? — спросил Лорис-Меликов, — не понравились русские?

Хаджи-Мурат помолчал.

— Нет, не понравились, — решительно сказал он и закрыл глаза. — И еще было дело такое, что я захотел принять хазават.

— Какое же дело?

— А под Цельмесом мы с ханом столкнулись с тремя мюридами: два ушли, а третьего я убил из пистолета. Когда я подошел к нему, чтоб снять оружие, он был жив еще. Он поглядел на меня. «Ты, говорит, убил меня. Мне хорошо. А ты мусульманин, и молод и силен, прими хазават. Бог велит».

— Что ж, и ты принял?

— Не принял, а стал думать, — сказал Хаджи-Мурат и продолжал свой рассказ: — Когда Гамзат

подступил к Хунзаху, мы послали к нему стариков и велели сказать, что согласны принять хазават, только бы он прислал ученого человека растолковать, как надо держать его. Гамзат велел старикам обрить усы, проткнуть ноздри, привесить к их носам лепешки и отослать их назад. Старики сказали, что Гамзат готов прислать шейха, чтобы научить нас хазавату, но только с тем, чтобы ханша прислала к нему аманатом своего меньшого сына. Ханша поверила и послала Булач-Хана к Гамзату. Гамзат принял хорошо Булач-Хана и прислал к нам звать к себе и старших братьев. Он велел сказать, что хочет служить ханам так же, как его отец служил их отцу. Ханша была женщина слабая, глупая и дерзкая, как и все женщины, когда они живут по своей воле. Она побоялась послать обоих сыновей и послала одного Умма-Хана. Я поехал с ним. Нас за версту встретили мюриды и пели, и стреляли, и джигитовали вокруг нас. А когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умма-Хана и принял его, как хана. Он сказал: «Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте и не мешайте мне приводить людей к хазавату. А я буду служить вам со всем моим войском, как отец

мой служил вашему отцу. Пустите меня жить в вашем доме. Я буду помогать вам моими советами, а вы делайте, что хотите». Умма-Хан был туп на речи. Он не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в Хунзах. Ханша и хан с почетом примут его. Но мне не дали досказать, и тут в первый раз я столкнулся с Шамилем. Он был тут же, подле имама. «Не тебя спрашивают, а хана», — сказал он мне. Я замолчал, а Гамзат проводил Умма-Хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел с своими послами ехать в Хунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить к Гамзату и старшего хана. Я видел измену и сказал ханше, чтобы она не посылала сына. Но у женщины ума в голове — сколько на яйце волос. Ханша поверила и велела сыну ехать. Абунунцал не хотел. Тогда она сказала: «Видно, ты боишься». Она, как пчела, знала, в какое место больнее ужалить его. Абунунцал загорелся, не стал больше говорить с ней и велел седлать. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем Умма-Хана. Он сам выехал навстречу за два выстрела под гору. За ним ехали конные с значками, пели «Ля илляха иль Алла», стреляли, джигитовали. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку.

А я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умма-Хан лежал ничком в луже крови, а Абунунцал бился с мюридами. Половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намернулся уже на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал.

Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело, и глаза налились кровью.

— На меня нашел страх, и я убежал.

— Вот как? — сказал Лорис-Меликов. — Я думал, что ты никогда ничего не боялся.

— Потом никогда; с тех пор я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся.

XII

— А теперь довольно. Молиться надо, — сказал Хаджи-Мурат, достал из внутреннего, грудного кармана черкески брегет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив набок голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы прозвонили двенадцать ударов и четверть.

— Кунак Воронцов пешкеш, — сказал он, улыбаясь. — Хороший человек.

— Да, хороший, — сказал Лорис-Меликов. — И часы хорошие. Так ты молись, а я подожду.

— Якши, хорошо, — сказал Хаджи-Мурат и ушел в спальню.

Оставшись один, Лорис-Меликов записал в своей книжечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджи-Мурат, потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперед по комнате. Подойдя к двери, противоположной спальне, Лорис-Меликов услыхал оживленные голоса по-татарски быстро говоривших о чем-то людей. Он догадался, что это были мюриды Хаджи-Мурата, и, отворив дверь, вошел к ним.

В комнате стоял тот особенный кислый кожаный запах, который бывает у горцев. На полу

на бурке, у окна, сидел кривой рыжий Гамзало, в оборванном, засаленном бешмете, и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но при входе Лорис-Меликова тотчас же замолчал и, не обращая на него внимания, продолжал свое дело. Против него стоял веселый Хан-Магома и, скаля белые зубы и блестя черными, без ресниц, глазами, повторял все одно и то же. Красавец Элдар, засучив рукава на своих сильных руках, оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Ханефи, главного работника и заведующего хозяйством, не было в комнате. Он на кухне варил обед.

— О чем это вы спорили? — спросил Лорис-Меликов у Хан-Магомы, поздоровавшись с ним.

— А он все Шамиля хвалит, — сказал Хан-Магома, подавая руку Лорису. — Говорит, Шамиль — большой человек. И ученый, и святой, и джигит.

— Как же он от него ушел, а все хвалит?

— Ушел, а хвалит, — скаля зубы и блестя глазами, проговорил Хан-Магома.

— Что же, и считаешь его святым? — спросил Лорис-Меликов.

— Кабы не был святой, народ бы не слушал его, — быстро проговорил Гамзало.

— Святой был не Шамиль, а Мансур, — сказал

Хан-Магома. — Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкески, и каялся в грехах, и клялся не делать дурного. Старики говорили: тогда все люди жили, как святые, — не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты и ставили на дорогах. Тогда и бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь, — говорил Хан-Магома.

— И теперь в горах не пьют и не курят, — сказал Гамзало.

— Ламорой твой Шамиль, — сказал Хан-Магома, подмигивая Лорис-Меликову.

«Ламорой» было презрительное название горцев.

— Ламорой — горец. В горах-то и живут орлы, — отвечал Гамзало.

— А молодчина! Ловко срезал, — оскаливая зубы, заговорил Хан-Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника.

Увидав серебряную папиросочницу в руке Лорис-Меликова, он попросил себе покурить. И когда Лорис-Меликов сказал, что им ведь за-

прещено курить, он подмигнул одним глазом, мотнув головой на спальню Хаджи-Мурата, и сказал, что можно, пока не видят. И тотчас же стал курить, не затягиваясь и неловко складывая свои красные губы, когда выпускал дым.

— Нехорошо это, — строго сказал Гамзало и вышел из комнаты. Хан-Магома подмигнул и на него и, покуривая, стал расспрашивать Лорис-Меликова, где лучше купить шелковый бешмет и папаху белую.

— Что же, у тебя разве так денег много?

— Есть, достанет, — подмигивая, отвечал Хан-Магома.

— Ты спроси у него, откуда у него деньги, — сказал Элдар, поворачивая свою красивую улыбающуюся голову к Лорису.

— А выиграл, — быстро заговорил Хан-Магома, он рассказал, как он вчера, гуляя по Тифлису, набрел на кучку людей, русских денщиков и армян, игравших в орлянку. Кон был большой: три золотых и серебра много. Хан-Магома тотчас же понял, в чем игра, и, позванивая медными, которые были у него в кармане, вошел в круг и сказал, что держит на все.

— Как же на все? Разве у тебя было? — спросил Лорис-Меликов.

— У меня всего было двенадцать копеек, — оскаливая зубы, сказал Хан-Магома.

— Ну, а если бы проиграл?

— А вот.

И Хан-Магома указал на пистолет.

— Что же, отдал бы?

— Зачем отдавать? Убежал бы, а кто бы задержал, убил бы. И готово.

— Что же, и выиграл?

— Айя, собрал все и ушел.

Хан-Магому и Элдара Лорис-Меликов вполне понимал. Хан-Магома был весельчак, кутила, не знавший, куда деть избыток жизни, всегда веселый, легкомысленный, играющий своею и чужими жизнями, из-за этой игры жизнью вышедший теперь к русским и точно так же завтра из-за этой игры могущий перейти опять назад к Шамилю. Элдар был тоже вполне понятен: это был человек, вполне преданный своему мюршиду, спокойный, сильный и твердый. Непонятен был для Лорис-Меликова только рыжий Гамзало. Лорис-Меликов видел, что человек этот не только был предан Шамилю, но испытывал непреодолимое отвращение, презрение, гадливость и ненависть ко всем русским; и потому Лорис-Меликов не мог понять, зачем он вышел

к русским. Лорис-Меликову приходила мысль, разделяемая и некоторыми начальствующими лицами, что выход Хаджи-Мурата и его рассказы о вражде с Шамилем был обман, что он вышел только, чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав опять в горы, направить силы туда, где русские были слабы. И Гамзало всем своим существом подтверждал это предположение. «Те и сам Хаджи-Мурат, — думал Лорис-Меликов, — умеют скрывать свои намерения, но этот выдает себя своей нескрываемой ненавистью».

Лорис-Меликов попытался говорить с ним. Он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом на Лорис-Меликова, хрипло и отрывисто прорычал:

— Нет, не скучно.

И так же отвечал на все другие вопросы.

Пока Лорис-Меликов был в комнате нукеров, вошел и четвертый мюрид Хаджи-Мурата, аварец Ханефи, с волосатым лицом и шеей и мохнатой, точно мехом обросшей, выпуклой грудью. Это был нерассуждающий, здоровенный работник, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как и Элдар, повинующийся своему хозяину.

Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис-Меликов остановил его и расспросил, от-

куда он и давно ли у Хаджи-Мурата.

— Пять лет, — отвечал Ханефи на вопрос Лорис-Меликова. — Я из одного аула с ним. Мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня, — сказал он, спокойно из-под сросшихся бровей глядя в лицо Лорис-Меликова. — Тогда я попросил принять меня братом.

— Что значит: принять братом?

— Я не брил два месяца головы, ногтей не стриг и пришел к ним. Они пустили меня к Патимат, к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом.

В соседней комнате послышался голос Хаджи-Мурата. Элдар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко шагая, поспешно пошел в гостиную.

— Зовет к себе, — сказал он, возвращаясь.

И, дав еще папироску веселому Хан-Магоме, Лорис-Меликов пошел в гостиную.

XIII

Когда Лорис-Меликов вошел в гостиную, Хаджи-Мурат с веселым лицом встретил его.

— Что же, продолжать? — сказал он, усаживаясь на тахту.

— Да, непременно, — сказал Лорис-Меликов. — А я заходил к твоим нукерам, поговорил с ними. Один — веселый малый, — прибавил Лорис-Меликов.

— Да, Хан-Магома — легкий человек, — сказал Хаджи-Мурат.

— А понравился мне молодой, красивый.

— А, Элдар. Этот молод, а тверд, железный.

Они помолчали.

— Так говорить дальше?

— Да, да.

— Я сказал, как ханов убили. Ну, убили их, и Гамзат въехал в Хунзах и сел в ханском дворце, — начал Хаджи-Мурат. — Оставалась мать-ханша. Гамзат призвал ее к себе. Она стала выговаривать ему. Он мигнул своему мюриду Асельдеру, и тот сзади ударил, убил ее.

— Зачем же он убил ее-то? — спросил Лорис-Меликов.

— А как же быть: перелез передними ногами, перелезай и задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. Шамиль меньшого убил, сбросил с кручи. Вся Авария покорилась Гамзату, только мы с братом не хотели покориться. Нам надо было кровь его за ханов. Мы делали вид, что покорились, а думали только, как взять с него кровь. Мы посоветовались с дедом и решили выждать время, когда он выедет из дворца, и из засады убить его. Кто-то подслушал нас, сказал Гамзату, и он призвал к себе деда и сказал: «Смотри, если правда, что твои внуки задумывают худое против меня, висеть тебе с ними на одной перекладине. Я делаю дело божье, и мне помешать нельзя. Иди и помни, что я сказал». Дед пришел домой и сказал нам. Тогда мы решили не ждать, сделать дело в первый день праздника в мечети. Товарищи отказались, — остались мы с братом. Мы взяли по два пистолета, надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с тридцатью мюридами. Все они держали шашки наголо. Рядом с Гамзатом шел Асельдер, его любимый мюрид, — тот самый, который отрубил голову ханше. Увидав нас, он крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошел ко мне. Кинжал у меня был в руке, и я убил его и бросился к Гамзату. Но брат

Осман уже выстрелил в него. Гамзат еще был жив и с кинжалом бросился на брата, но я добил его в голову. Мюридов было тридцать человек, нас — двое. Они убили брата Османа, а я отбился, выскочил в окно и ушел. Когда узнали, что Гамзат убит, весь народ поднялся, и мюриды бежали, а тех, какие не бежали, всех перебили.

Хаджи-Мурат остановился и тяжело перевел дух.

— Это все было хорошо, — продолжал он, — потом все испортилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он прислал ко мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских; если же я откажусь, то он грозил, что разорит Хунзах и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пущу его к себе.

— Отчего же ты не пошел к нему? — спросил Лорис-Меликов.

Хаджи-Мурат нахмурился и не сейчас ответил.

— Нельзя было. На Шамиле была кровь и брата Османа и Абунунцал-Хана. Я не пошел к нему. Розен-генерал прислал мне чин офицера и велел быть начальником Аварии. Все бы было хорошо, но Розен назначил над Аварией сначала хана казикумыхского, Магомет-Мирзу, а потом Ахмет-Хана. Этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши, Салтанет. Ее не отдали ему, и он

думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и подсылал своих нукеров убить меня, но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Клюгенау, сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Он сказал ему еще, что я надел чалму, вот эту, — сказал Хаджи-Мурат, указывая на чалму на папахе, — и что это значит, что я передался Шамилю. Генерал не поверил и не велел трогать меня. Но когда генерал уехал в Тифлис, Ахмет-Хан сделал по-своему: с ротой солдат схватил меня, заковал в цепи и привязал к пушке. Шесть суток держали меня так. На седьмые сутки отвязали и повели в Темир-Хан-Шуру. Вели сорок солдат с заряженными ружьями. Руки были связаны, и велено было убить меня, если я захочу бежать. Я знал это. Когда мы стали подходить, подле Моксоха тропка была узкая, направо кручь сажен в пятьдесят, я перешел от солдата направо, на край кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под кручь и потащил за собой солдата. Солдат убился насмерть, а я вот жив остался. Ребры, голову, руки, ногу — все поломал. Пополз было — и не мог. Закружилась голова, и заснул. Проснулся мокрый, в крови. Пастух увидал. Позвал народ, снесли меня в аул. Ребры, голова зажили, зажила и нога, только

стала короткая.

И Хаджи-Мурат вытянул кривую ногу.

— Служит, и то хорошо, — сказал он. — Народ узнал, стал ездить ко мне. Я выздоровел, переехал в Цельмес. Аварцы опять звали меня управлять ими, — с спокойной, уверенной гордостью сказал Хаджи-Мурат. — И я согласился.

Хаджи-Мурат быстро встал. И, достав в переметных сумах портфель, вынул оттуда два пожелтевшие письма и подал их Лорис-Меликову. Письма были от генерала Клюгенау. Лорис-Меликов прочел. В первом письме было:

«Прапорщик Хаджи-Мурат! Ты служил у меня — я был доволен тобою и считал тебя добрым человеком. Недавно генерал-майор Ахмет-Хан уведомил меня, что ты изменник, что ты надел чалму, что ты имеешь сношения с Шамилем, что ты научил народ не слушать русского начальства. Я приказал арестовать тебя и доставить тебя ко мне, ты — бежал; не знаю, к лучшему ли это, или к худшему, потому что не знаю — виноват ли ты, или нет. Теперь слушай меня. Ежели совесть твоя чиста противу великого царя, если ты не виноват ни в чем, явись ко мне. Не бойся никого — я твой защитник. Хан тебе ничего не сделает; он сам у меня под начальством, так и нечего тебе

бояться».

Дальше Клюгенау писал о том, что он всегда держал свое слово и был справедлив, и еще увещевал Хаджи-Мурата выйти к нему.

Когда Лорис-Меликов кончил первое письмо, Хаджи-Мурат достал другое письмо, но, не отдавая его еще в руки Лорис-Меликова, рассказал, как он отвечал на это первое письмо.

— Я написал ему, что чалму я носил, но не для Шамиля, а для спасения души, что к Шамилю я перейти не хочу и не могу, потому что через него убиты мои отец, братья и родственники, но что и к русским не могу выйти, потому что меня обесчестили. В Хунзахе, когда я был связан, один негодяй на…л на меня. И я не могу выйти к вам, пока человек этот не будет убит. А главное, боюсь обманщика Ахмет-Хана. Тогда генерал прислал мне это письмо, — сказал Хаджи-Мурат, подавая Лорис-Меликову другую пожелтевшую бумажку.

«Ты мне отвечал на мое письмо, спасибо, — прочитал Лорис-Меликов. — Ты пишешь, что ты не боишься воротиться, но бесчестие, нанесенное тебе одним гяуром, запрещает это; а я тебя уверяю, что русский закон справедлив, и в глазах твоих ты увидишь наказание того, кто смел тебя

оскорбить, — я уже приказал это исследовать. Послушай, Хаджи-Мурат. Я имею право быть недовольным на тебя, потому что ты не веришь мне и моей чести, но я прощаю тебе, зная недоверчивость характера вообще горцев. Ежели ты чист совестью, если чалму ты надевал, собственно, только для спасения души, то ты прав и смело можешь глядеть русскому правительству и мне в глаза; а тот, кто тебя обесчестил, уверяю, будет наказан, *имущество твое будет возвращено*, и ты увидишь и узнаешь, что значит русский закон. Тем более что русские иначе смотрят на все; в глазах их ты не уронил себя, что тебя какой-нибудь мерзавец обесчестил. Я сам позволил гимринцам чалму носить и смотрю на их действия как следует; следовательно, повторяю, тебе нечего бояться. Приходи ко мне с человеком, которого я к тебе теперь посылаю; он мне верен, *он не раб твоих врагов*, а друг человека, который пользуется у правительства особенным вниманием».

Дальше Клюгенау опять уговаривал Хаджи-Мурата выйти.

— Я не поверил этому, — сказал Хаджи-Мурат, когда Лорис-Меликов кончил письмо, — и не поехал к Клюгенау. Мне, главное, надо было отомстить Ахмет-Хану, а этого я не мог сделать

через русских. В это же время Ахмет-Хан окружил Цельмес и хотел схватить или убить меня. У меня было слишком мало народа, я не мог отбиться от него. И вот в это-то время ко мне приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмет-Хана и убить его и давал мне в управление всю Аварию. Я долго думал и перешел к Шамилю. И вот с тех пор я не переставая воевал с русскими.

Тут Хаджи-Мурат рассказал все свои военные дела. Их было очень много, и Лорис-Меликов отчасти знал их. Все походы и набеги его были поразительны по необыкновенной быстроте переходов и смелости нападений, всегда увенчивавшихся успехами.

— Дружбы между мной и Шамилем никогда не было, — докончил свой рассказ Хаджи-Мурат, — но он боялся меня, и я был ему нужен. Но тут случилось то, что у меня спросили, кому быть имамом после Шамиля? Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка востра. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня. Он послал меня в Табасарань. Я поехал, отбил тысячу баранов, триста лошадей. Но он сказал, что я не то сделал, и сменил меня с наибства и велел прислать ему все деньги. Я послал тысячу золо-

тых. Он прислал своих мюридов и отобрал у меня все мое именье. Он требовал меня к себе; я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Воронцову. Только семьи я не взял. И мать, и жена, и сын у него. Скажи сардарю: пока семья там, я ничего не могу делать.

— Я скажу, — сказал Лорис-Меликов.

— Хлопочи, старайся. Что мое, то твое, только помоги у князя. Я связан, и конец веревки — у Шамиля в руке.

Этими словами закончил Хаджи-Мурат свой рассказ Лорис-Меликову.

XIV

Двадцатого декабря Воронцов писал следующее военному министру Чернышеву. Письмо было по-французски.

«Я не писал вам с последней почтой, любезный князь, желая сперва решить, что мы сделаем с Хаджи-Муратом, и чувствуя себя два-три дня не совсем здоровым. В моем последнем письме я извещал вас о прибытии сюда Хаджи-Мурата: он приехал в Тифлис 8-го; на следующий день я познакомился с ним, и дней восемь или девять я говорил с ним и обдумывал, что он может сделать для нас впоследствии, а особенно, что нам делать с ним теперь, так как он очень сильно заботится о судьбе своего семейства и говорит со всеми знаками полной откровенности, что, пока его семейство в руках Шамиля, он парализован и не в силах услужить нам и доказать свою благодарность за ласковый прием и прощение, которые ему оказали. Неизвестность, в которой он находится насчет дорогих ему особ, вызывает в нем лихорадочное состояние, и лица, назначенные мною, чтобы жить с ним здесь, уверяют меня, что он не спит по ночам, почти что ничего не ест,

постоянно молится и только просит позволения покататься верхом с несколькими казаками, — единственно для него возможное развлечение и движение, необходимое вследствие долголетней привычки. Каждый день он приходил ко мне узнавать, имею ли я какие-нибудь известия о его семействе, и просит меня, чтобы я велел собрать на наших различных линиях всех пленных, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предложить их Шамилю для обмена, к чему он прибавит немного денег. Есть люди, которые ему дадут их для этого. Он мне все повторял: спасите мое семейство и потом дайте мне возможность услужить вам (лучше всего на лезгинской линии, по его мнению), и если по истечении месяца я не окажу вам большой услуги, накажите меня, как сочтете нужным.

Я ему ответил, что все это кажется мне весьма справедливым и что у нас найдется даже много лиц, которые не поверили бы ему, если бы его семейство оставалось в горах, а не у нас в качестве залога; что я сделаю все возможное для сбора на наших границах пленных и что, не имея права, по нашим уставам, дать ему денег для выкупа в прибавку к тем, которые он достанет сам, я, может быть, найду другие средства помочь ему.

После этого я ему сказал откровенно мое мнение о том, что Шамиль ни в каком случае не выдаст ему семейства, что он, может быть, прямо объявит ему это, обещает ему полное прощение и прежние должности, погрозит, если он не вернется, погубить его мать, жену и шестерых детей. Я спросил его, может ли он сказать откровенно, что бы он сделал, если бы получил такое объявление Шамиля. Хаджи-Мурат поднял глаза и руки к небу и сказал мне, что всё в руках бога, но что он никогда не отдастся в руки своему врагу, потому что он вполне уверен, что Шамиль его не простит и что он бы тогда недолго остался в живых. Что касается истребления его семейства, то он не думает, что Шамиль поступит так легкомысленно: во-первых, чтобы не сделать его врагом еще отчаяннее и опаснее; а во-вторых, есть в Дагестане множество лиц очень даже влиятельных, которые отговорят его от этого. Наконец он повторил мне несколько раз, что какая бы ни была воля бога для будущего, но что его теперь занимает только мысль о выкупе семейства; что он умоляет меня, во имя бога, помочь ему и позволить ему вернуться в окрестности Чечни, где бы он, через посредство и с дозволения наших начальников, мог иметь сношения с своим семейством, по-

стоянные известия о его настоящем положении и о средствах освободить его; что многие лица и даже некоторые наибы в этой части неприятельской страны более или менее привязаны к нему; что во всем этом населении, уже покоренном русскими или нейтральном, ему легко будет иметь, с нашей помощью, сношения, очень полезные для достижения цели, преследовавшей его днем и ночью, исполнение которой так его успокоит и даст ему возможность действовать для нашей пользы и заслужить наше доверие. Он просит отослать его опять в Грозную, с конвоем из двадцати или тридцати отважных казаков, которые бы служили ему для защиты от врагов, а нам — для ручательства в истине высказанных им намерений.

Вы поймете, любезный князь, что все это очень озадачило меня, так как, что ни сделай, большая ответственность лежит на мне. Было бы в высшей степени неосторожно вполне доверять ему; но если бы мы хотели отнять у него средства для бегства, то мы должны были бы запереть его; а это, по моему мнению, было бы и несправедливо и неполитично. Такая мера, известие о которой скоро распространилось бы по всему Дагестану, очень повредила бы нам там, отнимая

охоту у всех тех (а их много), которые готовы идти более или менее открыто против Шамиля и которые так интересуются положением у нас самого храброго и предприимчивого помощника имама, увидевшего себя принужденным отдаться в наши руки. Раз что мы поступили бы с Хаджи-Муратом, как с пленным, весь благоприятный эффект его измены Шамилю пропал бы для нас.

Поэтому я думаю, что не мог поступить иначе, как поступил, чувствуя, однако, что можно будет обвинить меня в большой ошибке, если бы вздумалось Хаджи-Мурату уйти снова. В службе и в таких запутанных делах трудно, чтобы не сказать невозможно, идти по одной прямой дороге, не рискуя ошибиться и не принимая на себя ответственности; но раз что дорога кажется прямою, надо идти по ней, — будь что будет.

Прошу вас, любезный князь, повергнуть это на рассмотрение его величеству государю императору, и я буду счастлив, если августейший наш повелитель соизволит одобрить мой поступок. Все, что я вам писал выше, я также написал генералам Завадовскому и Козловскому, для непосредственных сношений Козловского с Хаджи-Муратом, которого я предупредил о том, что он без одобрения последнего ничего сделать

и никуда выехать не может. Я ему объявил, что для нас еще лучше, если он будет выезжать с нашим конвоем, а то Шамиль станет разглашать, что мы держим Хаджи-Мурата взаперти; но при этом я взял с него обещание, что он никогда не поедет в Воздвиженское, так как мой сын, которому он сперва сдался и которого считает своим кунаком (приятелем), не начальник этого места, и могли бы произойти недоразумения. Впрочем, Воздвиженское слишком близко от многочисленного враждебного нам населения, между тем как для сношений, которые он желает иметь со своими поверенными, Грозная удобна во всех отношениях.

Кроме двадцати избранных казаков, которые, по его же просьбе, ни на шаг не отстанут от него, я послал ротмистра Лорис-Меликова, достойного, отличного и очень умного офицера, говорящего по-татарски, знающего хорошо Хаджи-Мурата, который, кажется, тоже вполне доверяет ему. Десять дней, которые Хаджи-Мурат провел здесь, он, впрочем, жил в одном доме с подполковником князем Тархановым, начальником Шушинского уезда, находящимся здесь по делам службы; это истинно достойный человек, и я ему вполне доверяю. Он также заслужил доверие Хаджи-Мурата,

и через него одного, так как он отлично говорит по-татарски, мы рассуждали о самых деликатных и секретных делах.

Я советовался с Тархановым насчет Хаджи-Мурата, и он совершенно согласился со мной в том, что или следовало поступить, как я поступил, или заключить Хаджи-Мурата в тюрьму и сторожить его со всеми возможными строгими мерами, — потому что уже раз обращаться с ним худо, его не легко стеречь, — или же удалить его совсем из страны. Но эти две последние меры не только бы уничтожили всю выгоду, вытекающую для нас из ссоры между Хаджи-Муратом и Шамилем, но приостановили бы неизбежно всякое развитие ропота и возможность возмущения горцев против власти Шамиля. Князь Тарханов мне сказал, что сам уверен в правдивости Хаджи-Мурата и что Хаджи-Мурат не сомневается в том, что Шамиль никогда его не простит и велит казнить, несмотря на обещанное прощение. Единственная вещь, которая могла озаботить Тарханова в его сношениях с Хаджи-Муратом, это — его привязанность к своей религии, и он не скрывает, что Шамилю можно будет действовать на него с этой стороны. Но, как я уже говорил выше, он никогда не убедит

Хаджи-Мурата в том, что не лишит его жизни или сейчас, или спустя несколько времени после его возвращения.

Вот все, любезный князь, что я хотел сказать вам насчет этого эпизода здешних дел».

XV

Донесение это было отправлено из Тифлиса 24 декабря. Накануне же нового, 52-го года, фельдъегерь, загнав десяток лошадей и избив в кровь десяток ямщиков, доставил его к князю Чернышеву, тогдашнему военному министру.

И 1 января 1852 года Чернышев повез к императору Николаю в числе других дел и это донесение Воронцова.

Чернышев не любил Воронцова — и за всеобщее уважение, которым пользовался Воронцов, и за его огромное богатство, и за то, что Воронцов был настоящий барин, а Чернышев все-таки parvenu[65], главное — за особенное расположение императора к Воронцову. И потому Чернышев пользовался всяким случаем, насколько мог, вредить Воронцову. В прошлом докладе о кавказских делах Чернышеву удалось вызвать неудовольствие Николая на Воронцова за то, что по небрежности начальства был горцами почти весь истреблен небольшой кавказский отряд. Теперь он намеревался представить с невыгодной

---

[65] Сноски: 65
выскочка (*фр.*).

стороны распоряжение Воронцова о Хаджи-Мурате. Он хотел внушить государю, что Воронцов всегда, особенно в ущерб русским, оказывающий покровительство и даже послабление туземцам, оставив Хаджи-Мурата на Кавказе, поступил неблагоразумно; что, по всей вероятности, Хаджи-Мурат только для того, чтобы высмотреть наши средства обороны, вышел к нам и что поэтому лучше отправить Хаджи-Мурата в центр России и воспользоваться им уже тогда, когда его семья будет выручена из гор и можно будет увериться в его преданности.

Но план этот не удался Чернышеву только потому, что в это утро 1 января Николай был особенно не в духе и не принял бы какое бы ни было и от кого бы то ни было предложение только из чувства противоречия; тем более он не был склонен принять предложение Чернышева, которого он только терпел, считая его пока незаменимым человеком, но, зная его старания погубить в процессе декабристов Захара Чернышева и попытку завладеть его состоянием, считал большим подлецом. Так что благодаря дурному расположению духа Николая Хаджи-Мурат остался на Кавказе, и судьба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если бы Чернышев делал свой до-

клад в другое время.

Было половина десятого, когда в тумане двадцатиградусного мороза толстый, бородатый кучер Чернышева, в лазоревой бархатной шапке с острыми концами, сидя на козлах маленьких саней, таких же, как те, в которых катался Николай Павлович, подкатил к малому подъезду Зимнего дворца и дружески кивнул своему приятелю, кучеру князя Долгорукого, который, ссадив барина, уже давно стоял у дворцового подъезда, подложив под толстый ваточный зад вожжи и потирая озябшие руки.

Чернышев был в шинели с пушистым седым бобровым воротником и в треугольной шляпе с петушиными перьями, надетой по форме. Откинув медвежью полость, он осторожно выпростал из саней свои озябшие ноги без калош (он гордился тем, что не знал калош) и, бодрясь, позванивая шпорами, прошел по ковру в почтительно отворенную перед ним дверь швейцаром. Скинув в передней на руки подбежавшего старого камер-лакея шинель, Чернышев подошел к зеркалу и осторожно снял шляпу с завитого парика. Поглядев на себя в зеркало, он привычным движеньем старческих рук подвил виски и хохол и поправил крест, аксельбанты и боль-

шие с вензелями эполеты и, слабо шагая плохо повинующимися старческими ногами, стал подниматься вверх по ковру отлогой лестницы.

Пройдя мимо стоявших в парадной форме у дверей подобострастно кланявшихся ему камер-лакеев, Чернышев вошел в приемную. Дежурный, вновь назначенный флигель-адъютант, сияющий новым мундиром, эполетами, аксельбантами и румяным, еще не истасканным лицом с черными усиками и височками, зачесанными к глазам так же, как их зачесывал Николай Павлович, почтительно встретил его. Князь Василий Долгорукий, товарищ военного министра, с скучающим выражением тупого лица, украшенного такими же бакенбардами, усами и висками, какие носил Николай, встал навстречу Чернышева и поздоровался с ним.

— L'empereur?[66] — обратился Чернышев к флигель-адъютанту, вопросительно указывая глазами на дверь кабинета.

— Sa Majesté vient de rentrer[67], — очевидно с удовольствием слушая звук своего голоса, сказал флигель-адъютант и, мягко ступая, так

---

[66] Сноски: 66
Император? (*фр.*)

[67] Сноски: 67
Его величество только что вернулись (*фр.*).

плавно, что полный стакан воды, поставленный ему на голову, не пролился бы, подошел к беззвучно отворявшейся двери и, всем существом своим выказывая почтение к тому месту, в которое он вступал, исчез за дверью.

Долгорукий между тем раскрыл свой портфель, проверяя находящиеся в нем бумаги.

Чернышев же, нахмурившись, прохаживался, разминая ноги и вспоминая все то, что надо было доложить императору. Чернышев был подле двери кабинета, когда она опять отворилась и из нее вышел еще более, чем прежде, сияющий и почтительный флигель-адъютант и жестом пригласил министра и его товарища к государю.

Зимний дворец после пожара был давно уже отстроен, и Николай жил в нем еще в верхнем этаже. Кабинет, в котором он принимал с докладом министров и высших начальников, была очень высокая комната с четырьмя большими окнами. Большой портрет императора Александра I висел на главной стене. Между окнами стояли два бюро. По стенам стояло несколько стульев, в середине комнаты — огромный письменный стол, перед столом кресло Николая, стулья для принимаемых.

Николай, в черном сюртуке без эполет, с по-

лупогончиками, сидел у стола, откинув свой огромный, туго перетянутый по отросшему животу стан, и неподвижно своим безжизненным взглядом смотрел на входивших. Длинное белое лицо с огромным покатым лбом, выступавшим из-за приглаженных височков, искусно соединенных с париком, закрывавшим лысину, было сегодня особенно холодно и неподвижно. Глаза его, всегда тусклые, смотрели тусклее обыкновенного, сжатые губы из-под загнутых кверху усов, и подпертые высоким воротником ожиревшие свежевыбритые щеки с оставленными правильными колбасиками бакенбард, и прижимаемый к воротнику подбородок придавали его лицу выражение недовольства и даже гнева. Причиной этого настроения была усталость. Причина же усталости было то, что накануне он был в маскараде и, как обыкновенно, прохаживаясь в своей кавалергардской каске с птицей на голове, между теснившейся к нему и робко сторонившейся от его огромной и самоуверенной фигуры публикой, встретил опять ту маску, которая в прошлый маскарад, возбудив в нем своей белизной, прекрасным сложением и нежным голосом старческую чувственность, скрылась от него, обещая встретить его в следующем мас-

караде. Во вчерашнем маскараде она подошла к нему, и он уже не отпустил ее. Он повел ее в ту специально для этой цели державшуюся в готовности ложу, где он мог наедине остаться с своей дамой. Дойдя молча до двери ложи, Николай оглянулся, отыскивая глазами капельдинера, но его не было. Николай нахмурился и сам толкнул дверь ложи, пропуская вперед себя свою даму.

— Il y a quelqu'un[68], — сказала маска, останавливаясь. Ложа действительно была занята. На бархатном диванчике, близко друг к другу, сидели уланский офицер и молоденькая, хорошенькая белокуро-кудрявая женщина в домино, с снятой маской. Увидав выпрямившуюся во весь рост и гневную фигуру Николая, белокурая женщина поспешно закрылась маской, уланский же офицер, остолбенев от ужаса, не вставая с дивана, глядел на Николая остановившимися глазами.

Как ни привык Николай к возбуждаемому им в людях ужасу, этот ужас был ему всегда приятен, и он любил иногда поразить людей, повергнутых в ужас, контрастом обращенных к ним ласковых слов. Так поступил он и теперь.

— Ну, брат, ты помоложе меня, — сказал он

---

[68] Сноски: 68
Здесь кто-то есть (*фр.*).

окоченевшему от ужаса офицеру, — можешь уступить мне место.

Офицер вскочил и, бледнея и краснея, согнувшись вышел молча за маской из ложи, и Николай остался один с своей дамой.

Маска оказалась хорошенькой двадцатилетней невинной девушкой, дочерью шведки-гувернантки. Девушка эта рассказала Николаю, как она с детства еще, по портретам, влюбилась в него, боготворила его и решила во что бы то ни стало добиться его внимания. И вот она добилась, и, как она говорила, ей ничего больше не нужно было. Девица эта была свезена в место обычных свиданий Николая с женщинами, и Николай провел с ней более часа.

Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату и лег на узкую, жесткую постель, которой он гордился, и покрылся своим плащом, который он считал (и так и говорил) столь же знаменитым, как шляпа Наполеона, он долго не мог заснуть. Он то вспоминал испуганное и восторженное выражение белого лица этой девицы, то могучие, полные плечи своей всегдашней любовницы Нелидовой и делал сравнение между тою и другою. О том, что распутство женатого человека было не хорошо, ему и не приходило в голову,

и он очень удивился бы, если бы кто-нибудь осудил его за это. Но, несмотря на то, что он был уверен, что поступал так, как должно, у него оставалась какая-то неприятная отрыжка, и, чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всегда успокаивало его: о том, какой он великий человек.

Несмотря на то, что он поздно заснул, он, как всегда, встал в восьмом часу, и, сделав свой обычный туалет, вытерев льдом свое большое, сытое тело и помолившись Богу, он прочел обычные, с детства произносимые молитвы: «Богородицу», «Верую», «Отче наш», не приписывая произносимым словам никакого значения, — и вышел из малого подъезда на набережную, в шинели и фуражке.

Посредине набережной ему встретился такого же, как он сам, огромного роста ученик училища правоведения, в мундире и шляпе. Увидав мундир училища, которое он не любил за вольнодумство, Николай Павлович нахмурился, но высокий рост, и старательная вытяжка, и отдавание чести с подчеркнуто выпяченным локтем ученика смягчило его неудовольствие.

— Как фамилия? — спросил он.

— Полосатов! ваше императорское величество.

— Молодец!

Ученик все стоял с рукой у шляпы. Николай остановился.

— Хочешь в военную службу?

— Никак нет, ваше императорское величество.

— Болван! — и Николай, отвернувшись, пошел дальше и стал громко произносить первые попавшиеся ему слова. «Копервейн, Копервейн, — повторял он несколько раз имя вчерашней девицы. — Скверно, скверно». Он не думал о том, что говорил, но заглушал свое чувство вниманием к тому, что говорил. «Да, что бы была без меня Россия, — сказал он себе, почувствовав опять приближение недовольного чувства. — Да, что бы была без меня не Россия одна, а Европа». И он вспомнил про шурина, прусского короля, и его слабость и глупость и покачал головой.

Подходя назад к крыльцу, он увидал карету Елены Павловны, которая с красным лакеем подъезжала к Салтыковскому подъезду. Елена Павловна для него была олицетворением тех пустых людей, которые рассуждали не только о науках, поэзии, но и об управлении людей, воображая, что они могут управлять собою лучше, чем он, Николай, управлял ими. Он знал, что, сколько он ни давил этих людей, они опять вы-

плывали и выплывали наружу. И он вспомнил недавно умершего брата Михаила Павловича. И досадное и грустное чувство охватило его. Он мрачно нахмурился и опять стал шептать первые попавшиеся слова. Он перестал шептать, только когда вошел во дворец. Войдя к себе и пригладив перед зеркалом бакенбарды и волоса на висках и накладку на темени, он, подкрутив усы, прямо пошел в кабинет, где принимались доклады.

Первого он принял Чернышева. Чернышев тотчас же по лицу и, главное, глазам Николая понял, что он нынче был особенно не в духе, и, зная вчерашнее его похождение, понял, отчего это происходило. Холодно поздоровавшись и пригласив сесть Чернышева, Николай уставился на него своими безжизненными глазами.

Первым делом в докладе Чернышева было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников; потом было дело о перемещении войск на прусской границе; потом назначение некоторым лицам, пропущенным в первом списке, наград к Новому году; потом было донесение Воронцова о выходе Хаджи-Мурата и, наконец, неприятное дело о студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора.

Николай, молча сжав губы, поглаживал своими

большими белыми руками, с одним золотым кольцом на безымянном пальце, листы бумаги и слушал доклад о воровстве, не спуская глаз со лба и хохла Чернышева.

Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказать теперь интендантских чиновников, и решил отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое. Свойство чиновников состояло в том, чтобы красть, его же обязанность состояла в том, чтобы наказывать их, и, как ни надоело это ему, он добросовестно исполнял эту обязанность.

— Видно, у нас в России один только честный человек, — сказал он.

Чернышев тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся.

— Должно быть, так, ваше величество, — сказал он.

— Оставь, я положу резолюцию, — сказал Николай, взяв бумагу и переложив ее на левую сторону стола.

После этого Чернышев стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай просмотрел список, вычеркнул несколько имен

и потом кратко и решительно распорядился о передвижении двух дивизий к прусской границе.

Николай никак не мог простить прусскому королю данную им после 48-го года конституцию, и потому, выражая шурину самые дружеские чувства в письмах и на словах, он считал нужным иметь на всякий случай войска на прусской границе. Войска эти могли понадобиться и на то, чтобы в случае возмущения народа в Пруссии (Николай везде видел готовность к возмущению) выдвинуть их в защиту престола шурина, как он выдвинул войско в защиту Австрии против венгров. Нужны были эти войска на границе и на то, чтобы придавать больше весу и значения своим советам прусскому королю.

«Да, что было бы теперь с Россией, если бы не я», — опять подумал он.

— Ну, что еще? — сказал он.

— Фельдъегерь с Кавказа, — сказал Чернышев и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи-Мурата.

— Вот как, — сказал Николай. — Хорошее начало.

— Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды, — сказал Чернышев.

Эта похвала его стратегическим способностям была особенно приятна Николаю, потому что, хотя он и гордился своими стратегическими способностями, в глубине души он сознавал, что их не было. И теперь он хотел слышать более подробные похвалы себе.

— Ты как же понимаешь? — спросил он.

— Понимаю так, что если бы давно следовали плану вашего величества — постепенно, хотя и медленно, подвигаться вперед, вырубая леса, истребляя запасы, то Кавказ давно бы уж был покорен. Выход Хаджи-Мурата я отношу только к этому. Он понял, что держаться им уже нельзя.

— Правда, — сказал Николай.

Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова, совершенно противоположный плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников и по которому была предпринята в 1845 году Даргинская экспедиция, стоившая стольких людских жизней, — несмотря на это, Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубки лесов и истребления продовольствия

тоже себе. Казалось, что, для того чтобы верить в то, что план медленного движения, вырубки лесов и истребления продовольствия был его план, надо было скрывать то, что он именно настаивал на совершенно противоположном военном предприятии 45-го года. Но он не скрывал этого и гордился и тем планом своей экспедиции 45-го года, и планом медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная, явная, противная очевидности лесть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и несогласны между собою, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал.

Таково было и его решение о студенте медико-хирургической академии, о котором после кавказского доклада стал докладывать Чернышев.

Дело состояло в том, что молодой человек, два раза не выдержавший экзамен, держал третий

раз, и когда экзаменатор опять не пропустил его, болезненно-нервный студент, видя в этом несправедливость, схватил со стола перочинный ножик и в каком-то припадке исступления бросился на профессора и нанес ему несколько ничтожных ран.

— Как фамилия? — спросил Николай.

— Бжезовский.

— Поляк?

— Польского происхождения и католик, — отвечал Чернышев.

Николай нахмурился.

Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. И Николай считал их таковыми и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им.

— Подожди немного, — сказал он и, закрыв глаза, опустил голову.

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая, что, когда ему нужно решить какой-либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений, и что тогда на него находило наитие, и решение составлялось само собою самое верное, как бы какой-то внутренний голос говорил ему, что нужно сделать. Он думал

теперь о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злобы к полякам, которое в нем расшевелилось историей этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: *«Заслуживает смертной казни. Но, слава Богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз скрозь тысячу человек. Николай»*, — подписал он своим неестественным, огромным росчерком.

Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутенов была не только верная, мучительная смерть, но излишняя жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким и приятно было думать, что у нас нет смертной казни.

Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул ее Чернышеву.

— Вот, — сказал он. — Прочти.

Чернышев прочел и, в знак почтительного удивления мудрости решения, наклонил голову.

— Да вывести всех студентов на плац, чтобы они присутствовали при наказании, — прибавил Николай.

«Им полезно будет. Я выведу этот революцион-

ный дух, вырву с корнем», — подумал он.

— Слушаю, — сказал Чернышев и, помолчав несколько и оправив свой хохол, возвратился к кавказскому докладу. — Так как прикажете написать Михаилу Семеновичу?

— Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами, — сказал Николай.

— О Хаджи-Мурате что прикажете? — спросил Чернышев.

— Да ведь Воронцов пишет, что хочет употребить его на Кавказе.

— Не рискованно ли это? — сказал Чернышев, избегая взгляда Николая. — Михаил Семенович, боюсь, слишком доверчив.

— А ты что думал бы? — резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышева выставить в дурном свете распоряжение Воронцова.

— Да я думал бы, безопаснее отправить его в Россию.

— Ты думал, — насмешливо сказал Николай. — А я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему.

— Слушаю, — сказал Чернышев и, встав, стал откланиваться.

Откланялся и Долгорукий, который во все время доклада сказал только несколько слов о перемещении войск на вопросы Николая.

После Чернышева был принят приехавший откланяться генерал-губернатор Западного края, Бибиков. Одобрив принятые Бибиковым меры против бунтующих крестьян, не хотевших переходить в православие, он приказал ему судить всех неповинующихся военным судом. Это значило приговаривать к прогнанию сквозь строй. Кроме того, он приказал еще отдать в солдаты редактора газеты, напечатавшего сведения о перечислении нескольких тысяч душ государственных крестьян в удельные.

— Я делаю это потому, что считаю это нужным, — сказал он. — А рассуждать об этом не позволяю.

Бибиков понимал всю жестокость распоряжения об униатах и всю несправедливость перевода государственных, то есть единственных в то время свободных людей, в удельные, то есть в крепостные царской фамилии. Но возражать нельзя было. Не согласиться с распоряжением Николая — значило лишиться всего того блестящего положения, которое он приобретал сорок лет и которым пользовался. И потому он покорно

наклонил свою черную седеющую голову в знак покорности и готовности исполнения жестокой, безумной и нечестной высочайшей воли.

Отпустив Бибикова, Николай с сознанием хорошо исполненного долга потянулся, взглянул на часы и пошел одеваться для выхода. Надев на себя мундир с эполетами, орденами и лентой, он вышел в приемные залы, где более ста человек мужчин в мундирах и женщин в вырезных нарядных платьях, расставленные все по определенным местам, с трепетом ожидали его выхода.

С безжизненным взглядом, с выпяченною грудью и перетянутым и выступающим из-за перетяжки и сверху и снизу животом, он вышел к ожидавшим, и, чувствуя, что все взгляды с трепетным подобострастием обращены на него, он принял еще более торжественный вид. Встречаясь глазами с знакомыми лицами, он, вспоминая кто — кто, останавливался и говорил иногда по-русски, иногда по-французски несколько слов и, пронизывая их холодным, безжизненным взглядом, слушал, что ему говорили.

Приняв поздравления, Николай прошел в церковь.

Бог через своих слуг, так же как и мирские люди, приветствовал и восхвалял Николая, и он

как должное, хотя и наскучившее ему, принимал эти приветствия, восхваления. Все это должно было так быть, потому что от него зависело благоденствие и счастье всего мира, и хотя он уставал от этого, он все-таки не отказывал миру в своем содействии. Когда в конце обедни великолепный расчесанный дьякон провозгласил «многая лета» и певчие прекрасными голосами дружно подхватили эти слова, Николай, оглянувшись, заметил стоявшую у окна Нелидову с ее пышными плечами и в ее пользу решил сравнение с вчерашней девицей.

После обедни он пошел к императрице и в семейном кругу провел несколько минут, шутя с детьми и женой. Потом он через Эрмитаж зашел к министру двора Волконскому и, между прочим, поручил ему выдавать из своих особенных сумм ежегодную пенсию матери вчерашней девицы. И от него поехал на свою обычную прогулку.

Обед в этот день был в Помпейском зале; кроме меньших сыновей, Николая и Михаила, были приглашены: барон Ливен, граф Ржевусский, Долгорукий, прусский посланник и флигель-адъютант прусского короля.

Дожидаясь выхода императрицы и императора, между прусским посланником и бароном

Ливен завязался интересный разговор по случаю последних тревожных известий, полученных из Польши.

— La Pologne et le Caucase, ce sont les deux cautères de la Russie, — сказал Ливен. — Il nous faut cent mille hommes à peu près dans chacun de ces deux pays[69].

Посланник выразил притворное удивление тому, что это так.

— Vous dites la Pologne[70], — сказал он.

— Oh, oui, c'était un coup de maître de Maeternich de nous en avoir laissé d'embarras…[71]

В этом месте разговора вошла императрица с своей трясущейся головой и замершей улыбкой, и вслед за ней Николай.

За столом Николай рассказал о выходе Хаджи-Мурата и о том, что война кавказская теперь должна скоро кончиться вследствие его распоряжения о стеснении горцев вырубкой лесов и системой укреплений.

---

[69] Сноски: 69

— Польша и Кавказ — это две болячки России. Нам нужно по крайней мере сто тысяч человек в каждой из этих стран (*фр.*).

[70] Сноски: 70

— Вы говорите, Польша *(фр.)*.

[71] Сноски: 71

— О да, это был искусный ход Меттерниха, чтобы причинить нам затруднения… *(фр.)*

Посланник, перекинувшись беглым взглядом с прусским флигель-адъютантом, с которым он нынче утром еще говорил о несчастной слабости Николая считать себя великим стратегом, очень хвалил этот план, доказывающий еще раз великие стратегические способности Николая.

После обеда Николай ездил в балет, где в трико маршировали сотни обнаженных женщин. Одна особенно приглянулась ему, и, позвав балетмейстера, Николай благодарил его и велел подарить ему перстень с брильянтами.

На другой день при докладе Чернышева Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцову о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи-Мурат, усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией.

Чернышев написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегерь, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис.

XVI

Во исполнение этого предписания Николая Павловича, тотчас же, в январе 1852 года, был предпринят набег в Чечню.

Отряд, назначенный в набег, состоял из четырех батальонов пехоты, двух сотен казаков и восьми орудий. Колонна шла дорогой. По обеим же сторонам колонны непрерывной цепью, спускаясь и поднимаясь по балкам, шли егеря в высоких сапогах, полушубках и папахах, с ружьями на плечах и патронами на перевязи. Как всегда, отряд двигался по неприятельской земле, соблюдая возможную тишину. Только изредка на канавках позвякивали встряхнутые орудия, или не понимающая приказа о тишине фыркала или ржала артиллерийская лошадь, или хриплым сдержанным голосом кричал рассерженный начальник на своих подчиненных за то, что цепь или слишком растянулась, или слишком близко или далеко идет от колонны. Один раз только тишина нарушилась тем, что из небольшой куртинки колючки, находившейся между цепью и колонной, выскочила коза с белым брюшком и задом и серой спинкой

и такой же козел с небольшими, на спину закинутыми рожками. Красивые испуганные животные большими прыжками, поджимая передние ноги, налетели на колонну так близко, что некоторые солдаты с криками и хохотом побежали за ними, намереваясь штыками заколоть их, но козы поворотили назад, проскочили сквозь цепь и, преследуемые несколькими конными и ротными собаками, как птицы, умчались в горы.

Еще была зима, но солнце начинало ходить выше, и в полдень, когда вышедший рано утром отряд прошел уже верст десять, пригревало так, что становилось жарко, и лучи его были так ярки, что больно было смотреть на сталь штыков и на блестки, которые вдруг вспыхивали на меди пушек, как маленькие солнца.

Позади была только что перейденная отрядом быстрая чистая речка, впереди — обработанные поля и луга с неглубокими балками, еще впереди — таинственные черные горы, покрытые лесом, за черными горами — еще выступающие скалы, и на высоком горизонте — вечно прелестные, вечно изменяющиеся, играющие светом, как алмазы, снеговые горы.

Впереди пятой роты шел, в черном сюртуке, в папахе и с шашкой через плечо, недавно пере-

шедший из гвардии высокий красивый офицер Бутлер, испытывая бодрое чувство радости жизни и вместе с тем опасности смерти и желания деятельности и сознания причастности к огромному, управляемому одной волей целому. Бутлер нынче во второй раз выходил в дело, и ему радостно было думать, что вот сейчас начнут стрелять по ним и что он не только не согнет головы под пролетающим ядром или не обратит внимания на свист пуль, но, как это уже и было с ним, выше поднимет голову и с улыбкой в глазах будет оглядывать товарищей и солдат и заговорит самым равнодушным голосом о чем-нибудь постороннем.

Отряд свернул с хорошей дороги и повернул на малоезженную, шедшую среди кукурузного жнивья, и стал подходить к лесу, когда — не видно было откуда — с зловещим свистом пролетело ядро и ударилось в середине обоза, подле дороги, в кукурузное поле, взрыв на нем землю.

— Начинается, — весело улыбаясь, сказал Бутлер шедшему с ним товарищу.

И действительно, вслед за ядром показалась из-за леса густая толпа конных чеченцев с значками. В середине партии был большой зеленый значок, и старый фельдфебель роты, очень даль-

нозоркий, сообщил близорукому Бутлеру, что это должен быть сам Шамиль. Партия спустилась под гору и показалась на вершине ближайшей балки справа и стала спускаться вниз. Маленький генерал в теплом черном сюртуке и папахе с большим белым курпеем подъехал на своем иноходце к роте Бутлера и приказал ему идти вправо против спускавшейся конницы. Бутлер быстро повел по указанному направлению свою роту, но не успел спуститься к балке, как услышал сзади себя один за другим два орудийные выстрела. Он оглянулся: два облака сизого дыма поднялись над двумя орудиями и потянулись вдоль балки. Партия, очевидно не ожидавшая артиллерии, пошла назад. Рота Бутлера стала стрелять вдогонку горцам, и вся лощина закрылась пороховым дымом. Только выше лощины видно было, как горцы поспешно отступали, отстреливаясь от преследующих их казаков. Отряд пошел дальше вслед за горцами, и на склоне второй балки открылся аул.

Бутлер с своей ротой бегом, вслед за казаками, вошел в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено жечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым, и в дыму этом шныряли солдаты, вытаскивая из саклей, что

находили, главное же — ловили и стреляли кур, которых не могли увезти горцы. Офицеры сели подальше от дыма и позавтракали и выпили. Фельдфебель принес им на доске несколько сотов меда. Чеченцев не слышно было. Немного после полдня велено было отступать. Роты построились за аулом в колонну, и Бутлеру пришлось быть в арьергарде. Как только тронулись, появились чеченцы и, следуя за отрядом, провожали его выстрелами.

Когда отряд вышел на открытое место, горцы отстали. У Бутлера никого не ранило, и он возвращался в самом веселом и бодром расположении духа.

Когда отряд, перейдя назад вброд перейденную утром речку, растянулся по кукурузным полям и лугам, песенники по ротам выступили вперед, и раздались песни. Ветру не было, воздух был свежий, чистый и такой прозрачный, что снеговые горы, отстоявшие за сотню верст, казались совсем близкими и что, когда песенники замолкали, слышался равномерный топот ног и побрякивание орудий, как фон, на котором зачиналась и останавливалась песня. Песня, которую пели в пятой роте Бутлера, была сочинена юнкером во славу полка и пелась на плясовой мотив с при-

певом: «То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!»

Бутлер ехал верхом рядом с своим ближайшим начальником, майором Петровым, с которым он и жил вместе, и не мог нарадоваться на свое решение выйти из гвардии и уйти на Кавказ. Главная причина его перехода из гвардии была та, что он проигрался в карты в Петербурге, так что у него ничего не осталось. Он боялся, что не будет в силах удержаться от игры, оставаясь в гвардии, а проигрывать уже нечего было. Теперь все это было кончено. Была другая жизнь, и такая хорошая, молодецкая. Он забыл теперь и про свое разорение и свои неоплатные долги. И Кавказ, война, солдаты, офицеры, пьяный и добродушный храбрец майор Петров — все это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе, что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах загибает углы и понтирует, ненавидя банкомета и чувствуя давящую боль в голове, а здесь, в этом чудном краю, среди молодцов-кавказцев.

«То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!» — пели его песенники. Лошадь его веселым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый серый Трезорка, точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера.

На душе было бодро, спокойно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти и этим заслуживал и награды, и уважения и здешних товарищей, и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялась его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче — у нас было три убитых и двенадцать раненых. Он прошел мимо трупа, лежавшего на спине, и только одним глазом видел какое-то странное положение восковой руки и темно-красное пятно на голове и не стал рассматривать. Горцы представлялись ему только конными джигитами, от которых надо было защищаться.

— Так вот как-с, батюшка, — говорил майор в промежутке песни. — Не так-с, как у вас в Питере: равненье направо, равненье налево. А вот потрудились — и домой. Машурка нам теперь пирог подаст, щи хорошие. Жизнь! Так ли? Ну-ка, «Как вознялась заря», — скомандовал он свою любимую песню.

Майор жил супружески с дочерью фельдшера,

сначала Машкой, а потом Марьей Дмитриевной. Марья Дмитриевна была красивая белокурая, вся в веснушках, тридцатилетняя бездетная женщина. Каково ни было ее прошедшее, теперь она была верной подругой майора, ухаживала за ним, как нянька, а это было нужно майору, часто напивавшемуся до потери сознания.

Когда пришли в крепость, все было, как предвидел майор. Марья Дмитриевна накормила его и Бутлера и еще приглашенных из отряда двух офицеров сытным, вкусным обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить и пошел к себе спать. Бутлер, также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чихиря, пошел в свою комнатку и едва успел раздеться, как, подложив ладонь под красивую курчавую голову, заснул крепким сном без сновидений и просыпания.

XVII

Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.

Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены развалленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были

сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.

Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Перед жителями стоял выбор: оставаться на ме-

стах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им.

Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного.

XVIII

На третий день после набега Бутлер вышел уже не рано утром с заднего крыльца на улицу, намереваясь пройтись и подышать воздухом до утреннего чая, который он пил обыкновенно вместе с Петровым. Солнце уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, покрытые лесом черные горы и на видневшуюся из-за ущелья матовую цепь снеговых гор, как всегда старавшихся притвориться облаками.

Бутлер смотрел на эти горы, дышал во все легкие и радовался тому, что он живет, и живет именно он, и на этом прекрасном свете. Радовался он немножко и тому, что он так хорошо вчера вел себя в деле и при наступлении и в особенности при отступлении, когда дело было довольно жаркое, радовался и воспоминанию о том, как вчера, по возвращении их из похода, Маша, или Марья Дмитриевна, сожительница Петрова, угощала их и была особенно проста и мила со всеми, но в особенности, как ему казалось, была к нему

ласкова. Марья Дмитриевна, с ее толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и сияющей улыбкой покрытого веснушками доброго лица, невольно влекла Бутлера, как сильного, молодого холостого человека, и ему казалось даже, что она желает его. Но он считал, что это было бы дурно по отношению доброго, простодушного товарища, и держался с Марьей Дмитриевной самого простого, почтительного обращения, и радовался на себя за это. Сейчас он думал об этом.

Мысли его развлек услышанный им перед собой частый топот многих лошадиных копыт по пыльной дороге, точно скакало несколько человек. Он поднял голову и увидал в конце улицы подъезжавшую шагом кучку всадников. Впереди десятков двух казаков ехали два человека: один — в белой черкеске и высокой папахе с чалмой, другой — офицер русской службы, черный, горбоносый, в синей черкеске, с изобилием серебра на одежде и на оружии. Под всадником с чалмой был рыже-игреневый красавец конь с маленькой головой, прекрасными глазами; под офицером была высокая щеголеватая карабахская лошадь. Бутлер, охотник до лошадей, тотчас же оценил бодрую силу первой лошади и остановился, чтобы узнать, кто были эти люди.

Офицер обратился к Бутлеру:

— Это воинский начальник дом? — спросил он, выдавая и несклоняемой речью и выговором свое нерусское происхождение и указывая плетью на дом Ивана Матвеевича.

— Этот самый, — сказал Бутлер.

— А это кто же? — спросил Бутлер, ближе подходя к офицеру и указывая глазами на человека в чалме.

— Хаджи-Мурат это. Сюда ехал, тут гостить будет у воинский начальник, — сказал офицер.

Бутлер знал про Хаджи-Мурата и про выход его к русским, но никак не ожидал увидать его здесь, в этом маленьком укреплении.

Хаджи-Мурат дружелюбно смотрел на него.

— Здравствуйте, кошкольды, — сказал он выученное им приветствие по-татарски.

— Саубул, — ответил Хаджи-Мурат, кивая головой.

Он подъехал к Бутлеру и подал руку, на двух пальцах которой висела плеть.

— Начальник? — сказал он.

— Нет, начальник здесь, пойду позову его, — сказал Бутлер, обращаясь к офицеру и входя на ступеньки и толкая дверь.

Но дверь «парадного крыльца», как его назы-

вала Марья Дмитриевна, была заперта. Бутлер постучал, но, не получив ответа, пошел кругом через задний вход. Крикнув своего денщика и не получив ответа и не найдя ни одного из двух денщиков, он зашел в кухню. Марья Дмитриевна, повязанная платком и раскрасневшаяся, с засученными рукавами над белыми полными руками, разрезала скатанное такое же белое тесто, как и ее руки, на маленькие кусочки для пирожков.

— Куда денщики подевались? — сказал Бутлер.

— Пьянствовать ушли, — сказала Марья Дмитриевна. — Да вам что?

— Дверь отпереть; у вас перед домом целая орава горцев. Хаджи-Мурат приехал.

— Еще выдумайте что-нибудь, — сказала Марья Дмитриевна, улыбаясь.

— Я не шучу. Правда. Стоят у крыльца.

— Да неужели вправду? — сказала Марья Дмитриевна.

— Что ж мне вам выдумывать. Подите посмотрите, они у крыльца стоят.

— Вот так оказия, — сказала Марья Дмитриевна, опустив рукава и ощупывая рукой шпильки в своей густой косе. — Так я пойду разбужу Ивана Матвеевича, — сказала она.

— Нет, я сам пойду. А ты, Бондаренко, дверь поди отопри, — сказал Бутлер.

— Ну, и то хорошо, — сказала Марья Дмитриевна и опять взялась за свое дело.

Узнав, что к нему приехал Хаджи-Мурат, Иван Матвеевич, уже слышавший о том, что Хаджи-Мурат в Грозной, нисколько не удивился этому, а, приподнявшись, скрутил папироску, закурил и стал одеваться, громко откашливаясь и ворча на начальство, которое прислало к нему «этого черта». Одевшись, он потребовал от денщика «лекарства». И денщик, зная, что лекарством называлась водка, подал ему.

— Нет хуже смеси, — проворчал он, выпивая водку и закусывая черным хлебом. — Вот вчера выпил чихиря, и болит голова. Ну, теперь готов, — закончил он и пошел в гостиную, куда Бутлер уже провел Хаджи-Мурата и сопутствующего ему офицера.

Офицер, провожавший Хаджи-Мурата, передал Ивану Матвеевичу приказание начальника левого фланга принять Хаджи-Мурата и, дозволяя ему иметь сообщение с горцами через лазутчиков, отнюдь не выпускать его из крепости иначе как с конвоем казаков.

Прочтя бумагу, Иван Матвеевич поглядел при-

стально на Хаджи-Мурата и опять стал вникать в бумагу. Несколько раз переведя таким образом глаза с бумаги на гостя, он остановил, наконец, свои глаза на Хаджи-Мурате и сказал:

— Якши, бек-якши. Пускай живет. Так и скажи ему, что мне приказано не выпускать его. А что приказано, то свято. А поместим его — как думаешь, Бутлер? — поместим в канцелярии?

Бутлер не успел ответить, как Марья Дмитриевна, пришедшая из кухни и стоявшая в дверях, обратилась к Ивану Матвеевичу:

— Зачем в канцелярию? Поместите здесь. Кунацкую отдадим да кладовую. По крайней мере на глазах будет, — сказала она и, взглянув на Хаджи-Мурата и встретившись с ним глазами, поспешно отвернулась.

— Что же, я думаю, что Марья Дмитриевна права, — сказал Бутлер.

— Ну, ну, ступай, бабам тут нечего делать, — хмурясь, сказал Иван Матвеевич.

Во все время разговора Хаджи-Мурат сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть презрительно улыбался. Он сказал, что ему все равно, где жить. Одно, что ему нужно и что разрешено ему сардарем, это то, чтобы иметь сношения с горцами, и потому он желает, чтобы

их допускали к нему. Иван Матвеевич сказал, что это будет сделано, и попросил Бутлера занять гостей, пока принесут им закусить и приготовят комнаты, сам же он пойдет в канцелярию написать нужные бумаги и сделать нужные распоряжения.

Отношение Хаджи-Мурата к его новым знакомым сейчас же очень ясно определилось. К Ивану Матвеевичу Хаджи-Мурат с первого знакомства с ним почувствовал отвращение и презрение и всегда высокомерно обращался с ним. Марья Дмитриевна, которая готовила и приносила ему пищу, особенно нравилась ему. Ему нравилась и ее простота, и особенная красота чуждой ему народности, и бессознательно передававшееся ему ее влечение к нему. Он старался не смотреть на нее, не говорить с нею, по глаза его невольно обращались к ней и следили за ее движениями.

С Бутлером же он тотчас же, с первого знакомства дружески сошелся и много и охотно говорил с ним, расспрашивая его про его жизнь и рассказывая ему про свою и сообщая о тех известиях, которые приносили ему лазутчики о положении его семьи, и даже советуясь с ним о том, что ему делать.

Известия, передаваемые ему лазутчиками,

были нехороши. В продолжение четырех дней, которые он провел в крепости, они два раза приходили к нему, и оба раза известия были дурные.

XIX

Семья Хаджи-Мурата вскоре после того, как он вышел к русским, была привезена в аул Ведено и содержалась там под стражею, ожидая решения Шамиля. Женщины — старуха Патимат и две жены Хаджи-Мурата — и их пятеро малых детей жили под караулом в сакле сотенного Ибрагима Рашида, сын же Хаджи-Мурата, восемнадцатилетний юноша Юсуф, сидел в темнице, то есть в глубокой, более сажени, яме, вместе с четырьмя преступниками, ожидавшими, так же как и он, решения своей участи.

Решение не выходило, потому что Шамиль был в отъезде. Он был в походе против русских.

6 января 1852 года Шамиль возвращался домой в Ведено после сражения с русскими, в котором, по мнению русских, был разбит и бежал в Ведено; по его же мнению и мнению всех мюридов, одержал победу и прогнал русских. В сражении этом, что бывало очень редко, он сам выстрелил из винтовки и, выхватя шашку, пустил было свою лошадь прямо на русских, но сопутствующие ему мюриды удержали его. Два из них тут же подле Шамиля были убиты.

Был полдень, когда Шамиль, окруженный партией мюридов, джигитовавших вокруг него, стрелявших из винтовок и пистолетов и не переставая поющих «Ля илляха иль Алла», подъехал к своему месту пребывания.

Весь народ большого аула Ведено стоял на улице и на крышах, встречая своего повелителя, и в знак торжества также стрелял из ружей и пистолетов. Шамиль ехал на арабском белом коне, весело попрашивавшем поводья при приближении к дому. Убранство коня было самое простое, без украшений золота и серебра: тонко выделанная, с дорожкой посередине, красная ременная уздечка, металлические, стаканчиками, стремена и красный чепрак, видневшийся из-под седла. На имаме была покрытая коричневым сукном шуба с видневшимся около шеи и рукавов черным мехом, стянутая на тонком и длинном стане черным ремнем с кинжалом. На голове была надета высокая с плоским верхом папаха с черной кистью, обвитая белой чалмой, от которой конец спускался за шею. Ступни ног были в зеленых чувяках, и икры обтянуты черными ноговицами, обшитыми простым шнурком.

Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого или серебряного, и высокая, прямая,

могучая фигура его, в одежде без украшений, окруженная мюридами с золотыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он желал и умел производить в народе. Бледное, окаймленное подстриженной рыжей бородой лицо его с постоянно сощуренными маленькими глазами было, как каменное, совершенно неподвижно. Проезжая по аулу, он чувствовал на себе тысячи устремленных глаз, но его глаза не смотрели ни на кого. Жены Хаджи-Мурата с детьми тоже вместе со всеми обитателями сакли вышли на галерею смотреть въезд имама. Одна старуха Патимат — мать Хаджи-Мурата не вышла, а осталась сидеть, как она сидела, с растрепанными седеющими волосами, на полу сакли, охватив длинными руками свои худые колени, и, мигая своими жгучими черными глазами, смотрела на догорающие ветки в камине. Она, так же как и сын ее, всегда ненавидела Шамиля, теперь же еще больше, чем прежде, и не хотела видеть его.

Не видал также торжественного въезда Шамиля и сын Хаджи-Мурата. Он только слышал из своей темной вонючей ямы выстрелы и пение и мучался, как только мучаются молодые, полные жизни люди, лишенные свободы. Си-

дя в вонючей яме и видя все одних и тех же несчастных, грязных, изможденных, с ним вместе заключенных, большей частью ненавидящих друг друга людей, он страстно завидовал теперь тем людям, которые, пользуясь воздухом, светом, свободой, гарцевали теперь на лихих конях вокруг повелителя, стреляли и дружно пели «Ля илляха иль Алла».

Проехав аул, Шамиль въехал в большой двор, примыкавший к внутреннему, в котором находился сераль Шамиля. Два вооруженные лезгина встретили Шамиля у отворенных ворот первого двора. Двор этот был полон народа. Тут были люди, пришедшие из дальних мест по своим делам, были и просители, были и вытребованные самим Шамилем для суда и решения. При въезде Шамиля все находившиеся на дворе встали и почтительно приветствовали имама, прикладывая руки к груди. Некоторые стали на колени и стояли так все время, пока Шамиль проезжал двор от одних, внешних, ворот до других, внутренних. Хотя Шамиль и узнал среди дожидавшихся его много неприятных ему лиц и много скучных просителей, требующих забот о них, он с тем же неизменно каменным лицом проехал мимо них и, въехав во внутренний двор, слез у галереи

своего помещения, при въезде в ворота налево.

После напряжения похода, не столько физического, сколько духовного, потому что Шамиль, несмотря на гласное признание своего похода победой, знал, что поход его был неудачен, что много аулов чеченских сожжены и разорены, и переменчивый, легкомысленный народ, чеченцы, колеблются, и некоторые из них, ближайшие к русским, уже готовы перейти к ним, — все это было тяжело, против этого надо было принять меры, но в эту минуту Шамилю ничего не хотелось делать, ни о чем не хотелось думать. Он теперь хотел только одного: отдыха и прелести семейной ласки любимейшей из жен своих, восемнадцатилетней черноглазой, быстроногой кистинки Аминет.

Но не только нельзя было и думать о том, чтобы видеть теперь Аминет, которая была тут же за забором, отделявшим во внутреннем дворе помещение жен от мужского отделения (Шамиль был уверен, что даже теперь, пока он слезал с лошади, Аминет с другими женами смотрела в щель забора), но нельзя было не только пойти к ней, нельзя было просто лечь на пуховики отдохнуть от усталости. Надо было прежде всего совершить полуденный намаз, к которому

он не имел теперь ни малейшего расположения, но неисполнение которого было не только невозможно в его положении религиозного руководителя народа, но и было для него самого так же необходимо, как ежедневная пища. И он совершил омовение и молитву. Окончив молитву, он позвал дожидавшихся его.

Первым вошел к нему его тесть и учитель, высокий седой благообразный старец с белой, как снег, бородой и красно-румяным лицом, Джемал-Эдин, и, помолившись богу, стал расспрашивать Шамиля о событиях похода и рассказывать о том, что произошло в горах во время его отсутствия.

В числе всякого рода событий — об убийствах по кровомщению, о покражах скота, об обвиненных в несоблюдении предписаний тариката: курении табаку, питии вина, — Джемал-Эдин сообщил о том, что Хаджи-Мурат высылал людей для того, чтобы вывести к русским его семью, но что это было обнаружено, и семья привезена в Ведено, где и находится под стражей, ожидая решения имама. В соседней кунацкой были собраны старики для обсуждения всех этих дел, и Джемал-Эдин советовал Шамилю нынче же отпустить их, так как они уже три дня дожида-

лись его.

Поев у себя обед, который принесла ему остроносая, черная, неприятная лицом и нелюбимая, но старшая жена его Зайдет, Шамиль пошел в кунацкую.

Шесть человек, составляющие совет его, старики с седыми, серыми и рыжими бородами, в чалмах и без чалм, в высоких папахах и новых бешметах и черкесках, подпоясанные ремнями с кинжалами, встали ему навстречу. Шамиль был головой выше всех их. Все они, так же как и он, подняли руки ладонями кверху и, закрыв глаза, прочли молитву, потом отерли лицо руками, спуская их по бородам и соединяя одну с другою. Окончив это, все сели, Шамиль посередине, на более высокой подушке, и началось обсуждение всех предстоящих дел.

Дела обвиняемых в преступлениях лиц решали по шариату: двух людей приговорили за воровство к отрублению руки, одного к отрублению головы за убийство, троих помиловали. Потом приступили к главному делу: к обдумыванию мер против перехода чеченцев к русским. Для противодействия этим переходам Джемал-Эдином было составлено следующее провозглашение:

«Желаю вам вечный мир с богом всемогущим.

Слышу я, что русские ласкают вас и призывают к покорности. Не верьте им и не покоряйтесь, а терпите. Если не будете вознаграждены за это в этой жизни, то получите награду в будущей. Вспомните, что было прежде, когда у вас отбирали оружие. Если бы не вразумил вас тогда, в 1840 году, бог, вы бы уже были солдатами и ходили вместо кинжалов со штыками, а жены ваши ходили бы без шаровар и были бы поруганы. Судите по прошедшему о будущем. Лучше умереть во вражде с русскими, чем жить с неверными. Потерпите, а я с Кораном и шашкою приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским».

Шамиль одобрил это провозглашение и, подписав его, решил разослать его.

После этих дел было обсуждаемо и дело Хаджи-Мурата. Дело это было очень важное для Шамиля. Хотя он и не хотел признаться в этом, он знал, что, будь с ним Хаджи-Мурат с своей ловкостью, смелостью и храбростью, не случилось бы того, что случилось теперь в Чечне. Помириться с Хаджи-Муратом и опять пользоваться его услугами было хорошо; если же этого нельзя было, все-таки нельзя было допустить того, чтобы он помогал

русским. И потому во всяком случае надо было вызвать его и, вызвав, убить его. Средство к этому было или то, чтобы подослать в Тифлис такого человека, который бы убил его там, или вызвать его сюда и здесь покончить с ним. Средство для этого было одно — его семья, и главное — его сын, к которому, Шамиль знал, что Хаджи-Мурат имел страстную любовь. И потому надо было действовать через сына.

Когда советники переговорили об этом, Шамиль закрыл глаза и умолк.

Советники знали, что это значило то, что он слушает теперь говорящий ему голос пророка, указывающий то, что должно быть сделано. После пятиминутного торжественного молчания Шамиль открыл глаза, еще более прищурил их и сказал:

— Приведите ко мне сына Хаджи-Мурата.

— Он здесь, — сказал Джемал-Эдин.

И действительно, Юсуф, сын Хаджи-Мурата, худой, бледный, оборванный и вонючий, но все еще красивый и своим телом и лицом, с такими же жгучими, как у бабки Патимат, черными глазами, уже стоял у ворот внешнего двора, ожидая призыва.

Юсуф не разделял чувств отца к Шамилю. Он

не знал всего прошедшего или знал, но, не пережив его, не понимал, зачем отец его так упорно враждует с Шамилем. Ему, желающему только одного: продолжения той легкой, разгульной жизни, какую он, как сын наиба, вел в Хунзахе, казалось совершенно ненужным враждовать с Шамилем. В отпор и противоречие отцу, он особенно восхищался Шамилем и питал к нему распространенное в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в кунацкую и, остановившись у двери, встретился с упорным сощуренным взглядом Шамиля. Он постоял несколько времени, потом подошел к Шамилю и поцеловал его большую, с длинными пальцами белую руку.

— Ты сын Хаджи-Мурата?

— Я, имам.

— Ты знаешь, что он сделал?

— Знаю, имам, и жалею об этом.

— Умеешь писать?

— Я готовился быть муллой.

— Так напиши отцу, что, если он выйдет назад ко мне теперь, до Байрама, я прощу его и все будет по-старому. Если же нет и он останется у русских, то, — Шамиль грозно нахмурился, — я

отдам твою бабку, твою мать по аулам, а тебе отрублю голову.

Ни один мускул не дрогнул на лице Юсуфа, он наклонил голову в знак того, что понял слова Шамиля.

— Напиши так и отдай моему посланному.

Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа.

— Напиши, что я пожалел тебя и не убью, а выколю глаза, как я делаю всем изменникам. Иди.

Юсуф казался спокойным в присутствии Шамиля, но когда его вывели из кунацкой, он бросился на того, кто вел его, и, выхватив у него из ножен кинжал, хотел им зарезаться, но его схватили за руки, связали их и отвели опять в яму.

В этот вечер, когда кончилась вечерняя молитва и смеркалось, Шамиль надел белую шубу и вышел за забор в ту часть двора, где помещались его жены, и направился к комнате Аминет. Но Аминет не было там. Она была у старших жен. Тогда Шамиль, стараясь быть незаметным, стал за дверь комнаты, дожидаясь ее. Но Аминет была сердита на Шамиля за то, что он подарил шелковую материю не ей, а Зайдет. Она видела, как он вышел и как входил в ее комнату, отыскивая ее, и нарочно не пошла к себе. Она долго стояла в двери комнаты Зайдет и, тихо смеясь, глядела

на белую фигуру, то входившую, то уходившую из ее комнаты. Тщетно прождав ее, Шамиль вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы.

XX

Хаджи-Мурат прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича. Несмотря на то, что Марья Дмитриевна ссорилась с мохнатым Ханефи (Хаджи-Мурат взял с собой только двух: Ханефи и Элдара) и вытолкала его раз из кухни, за что тот чуть не зарезал ее, она, очевидно, питала особенные чувства и уважения и симпатии к Хаджи-Мурату. Она теперь уже не подавала ему обедать, передав эту заботу Элдару, но пользовалась всяким случаем увидать его и угодить ему. Она принимала также самое живое участие в переговорах об его семье, знала, сколько у него жен, детей, каких лет, и всякий раз после посещения лазутчика допрашивала, кого могла, о последствиях переговоров.

Бутлер же в эту неделю совсем сдружился с Хаджи-Муратом. Иногда Хаджи-Мурат приходил в его комнату, иногда Бутлер приходил к нему. Иногда они беседовали через переводчика, иногда же собственными средствами, знаками и, главное, улыбками. Хаджи-Мурат, очевидно, полюбил Бутлера. Это видно было по отношению к Бутлеру Элдара. Когда Бутлер входил в комнату

Хаджи-Мурата, Элдар встречал Бутлера, радостно оскаливая свои блестящие зубы, и поспешно подкладывал ему подушки под сиденье и снимал с него шашку, если она была на нем.

Бутлер познакомился и сошелся также и с мохнатым Ханефи, названым братом Хаджи-Мурата. Ханефи знал много горских песен и хорошо пел их. Хаджи-Мурат, в угождение Бутлеру, призывал Ханефи и приказывал ему петь, называя те песни, которые он считал хорошими. Голос у Ханефи был высокий тенор, и пел он необыкновенно отчетливо и выразительно. Одна из песен особенно нравилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своим торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил переводчика пересказать ее содержание и записал ее.

Песня относилась к кровомщению — тому самому, что было между Ханефи и Хаджи-Муратом.

Песня была такая:

«Высохнет земля на могиле моей — и забудешь ты меня, моя родная мать! Порастет кладбище могильной травой — заглушит трава твое горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца ее.

Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты

меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной.

Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо».

Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами и, когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:

— Хорош песня, умный песня.

Поэзия особенной, энергической горской жизни, с приездом Хаджи-Мурата и сближением с ним и его мюридами, еще более охватила Бутлера. Он завел себе бешмет, черкеску, ноговицы, и ему казалось, что он сам горец и что живет такою же, как и эти люди, жизнью.

В день отъезда Хаджи-Мурата Иван Матвеевич собрал несколько офицеров, чтобы проводить его. Офицеры сидели кто у чайного стола, где Марья Дмитриевна разливала чай, кто у другого стола — с водкой, чихирем и закуской, когда Хаджи-Мурат, одетый по-дорожному и в оружии, быстрыми мягкими шагами вошел, хромая, в комнату.

Все встали и по очереди за руку поздоровались с ним. Иван Матвеевич пригласил его на тахту, но он, поблагодарив, сел на стул у окна. Молчание, воцарившееся при его входе, очевидно, нисколько не смущало его. Он внимательно оглядел все лица и остановил равнодушный взгляд на столе с самоваром и закусками. Бойкий офицер Петроковский, в первый раз видевший Хаджи-Мурата, через переводчика спросил его, понравился ли ему Тифлис.

— Айя, — сказал он.

— Он говорит, что да, — отвечал переводчик.

— Что же понравилось ему?

Хаджи-Мурат что-то ответил.

— Больше всего ему понравился театр.

— Ну, а на бале у главнокомандующего понравилось ему?

Хаджи-Мурат нахмурился.

— У каждого народа свои обычаи. У нас женщины так не одеваются, — сказал он, взглянув на Марью Дмитриевну.

— Что же ему не понравилось?

— У нас пословица есть, — сказал он переводчику, — угостила собака ишака мясом, а ишак собаку сеном, — оба голодные остались. — Он улыбнулся. — Всякому народу свой обычай хо-

рош.

Разговор дальше не пошел. Офицеры кто стал пить чай, кто закусывать. Хаджи-Мурат взял предложенный стакан чаю и поставил его перед собой.

— Что ж? Сливок? Булку? — сказала Марья Дмитриевна, подавая ему.

Хаджи-Мурат наклонил голову.

— Так что ж, прощай! — сказал Бутлер, трогая его по колену. — Когда увидимся?

— Прощай! прощай, — улыбаясь, по-русски сказал Хаджи-Мурат. — Кунак булур. Крепко кунак твоя. Время — айда пошел, — сказал он, тряхнув головой как бы тому направлению, куда надо ехать.

В дверях комнаты показался Элдар с чем-то большим белым через плечо и с шашкой в руке. Хаджи-Мурат поманил его, и Элдар подошел своими большими шагами к Хаджи-Мурату и подал ему белую бурку и шашку. Хаджи-Мурат встал, взял бурку и, перекинув ее через руку, подал Марье Дмитриевне, что-то сказав переводчику. Переводчик сказал:

— Он говорит: ты похвалила бурку, возьми.

— Зачем это? — сказала Марья Дмитриевна, покраснев.

— Так надо. Адат так, — сказал Хаджи-Мурат.

— Ну, благодарю, — сказала Марья Дмитриевна, взяв бурку. — Дай Бог вам сына выручить. Улан якши, — прибавила она. — Переведите ему, что желаю ему семью выручить.

Хаджи-Мурат взглянул на Марью Дмитриевну и одобрительно кивнул головой. Потом он взял из рук Элдара шашку и подал Ивану Матвеевичу. Иван Матвеевич взял шашку и сказал переводчику:

— Скажи ему, чтобы мерина моего бурого взял, больше нечем отдарить.

Хаджи-Мурат помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмет, а потом, показав на горы и на свое сердце, пошел к выходу. Все пошли за ним. Офицеры, оставшиеся в комнатах, вынув шашку, разглядывали клинок на ней и решили, что эта была настоящая гурда.

Бутлер вышел вместе с Хаджи-Муратом на крыльцо. Но тут случилось то, чего никто не ожидал и что могло кончиться смертью Хаджи-Мурата, если бы не его сметливость, решительность и ловкость.

Жители кумыцкого аула Таш-Кичу, питавшие большое уважение к Хаджи-Мурату и много раз

приезжавшие в укрепление, чтобы только взглянуть на знаменитого наиба, за три дня до отъезда Хаджи-Мурата послали к нему послов просить его в пятницу в их мечеть. Кумыцкие же князья, жившие в Таш-Кичу и ненавидевшие Хаджи-Мурата и имевшие с ним кровомщение, узнав об этом, объявили народу, что они не пустят Хаджи-Мурата в мечеть. Народ взволновался, и произошла драка народа с княжескими сторонниками. Русское начальство усмирило горцев и послало Хаджи-Мурату сказать, чтобы он не приезжал в мечеть. Хаджи-Мурат не поехал, и все думали, что дело тем и кончилось.

Но в самую минуту отъезда Хаджи-Мурата, когда он вышел на крыльцо и лошади стояли у подъезда, к дому Ивана Матвеевича подъехал знакомый Бутлеру и Ивану Матвеевичу кумыцкий князь Арслан-Хан.

Увидав Хаджи-Мурата и выхватив из-за пояса пистолет, он направил его на Хаджи-Мурата. Но не успел Арслан-Хан выстрелить, как Хаджи-Мурат, несмотря на свою хромоту, как кошка, быстро бросился с крыльца к Арслан-Хану. Арслан-Хан выстрелил и не попал. Хаджи-Мурат же, подбежав к нему, одной рукой схватил его лошадь за повод, другой выхватил кинжал и что-то

по-татарски крикнул.

Бутлер и Элдар в одно и то же время подбежали к врагам и схватили их за руки. На выстрел вышел и Иван Матвеевич.

— Что же это ты, Арслан, у меня в доме затеял такую гадость! — сказал он, узнав, в чем дело. — Нехорошо это, брат. В поле две воли, а что же у меня резню такую затевать.

Арслан-Хан, маленький человечек с черными усами, весь бледный и дрожащий, сошел с лошади, злобно поглядел на Хаджи-Мурата и ушел с Иваном Матвеевичем в горницу. Хаджи-Мурат же вернулся к лошадям, тяжело дыша и улыбаясь.

— За что он его убить хотел? — спросил Бутлер через переводчика.

— Он говорит, что такой у нас закон, — передал переводчик слова Хаджи-Мурата. — Арслан должен отомстить ему за кровь. Вот он и хотел убить.

— Ну, а если он догонит его дорогой? — спросил Бутлер.

Хаджи-Мурат улыбнулся.

— Что ж, — убьет, значит, так Алла хочет. Ну, прощай, — сказал он опять по-русски и, взявшись за холку лошади, обвел глазами всех провожав-

ших его и ласково встретился взглядом с Марьей Дмитриевной.

— Прощай, матушка, — сказал он, обращаясь к ней, — спасиб.

— Дай Бог, дай Бог семью выручить, — повторила Марья Дмитриевна.

Он не понял слов, но понял ее участие к нему и кивнул ей головой.

— Смотри, не забудь кунака, — сказал Бутлер.

— Скажи, что я верный друг ему, никогда не забуду, — ответил он через переводчика и, несмотря на свою кривую ногу, только что дотронулся до стремени, как быстро и легко перенес свое тело на высокое седло и, оправив шашку, ощупав привычным движением пистолет, с тем особенным гордым, воинственным видом, с которым сидит горец на лошади, поехал прочь от дома Ивана Матвеевича. Ханефи и Элдар также сели на лошадей и, дружелюбно простившись с хозяевами и офицерами, поехали рысью за своим мюршидом.

Как всегда, начались толки об уехавшем.

— Молодчина!

— Ведь как волк бросился на Арслан-Хана, совсем лицо другое стало.

— А надует он. Плут большой должен быть, —

сказал Петроковский.

— Дай Бог, чтобы побольше русских таких плутов было, — вдруг с досадой вмешалась Марья Дмитриевна. — Неделю у нас прожил; кроме хорошего, ничего от него не видали, — сказала она. — Обходительный, умный, справедливый.

— Почем вы это всё узнали?

— Стало быть, узнала.

— Втюрилась, а? — сказал вошедший Иван Матвеевич. — Уж это как есть.

— Ну и втюрилась. А вам что? Только зачем осуждать, когда человек хороший. Он татарин, а хороший.

— Правда, Марья Дмитриевна, — сказал Бутлер. — Молодец, что заступились.

XXI

Жизнь обитателей передовых крепостей на чеченской линии шла по-старому. Были с тех пор две тревоги, на которые выбегали роты и скакали казаки и милиционеры, но оба раза горцев не могли остановить. Они уходили и один раз в Воздвиженской угнали восемь лошадей казачьих с водопоя и убили казака. Набегов со времени последнего, когда был разорен аул, не было. Только ожидалась большая экспедиция в Большую Чечню вследствие назначения нового начальника левого фланга, князя Барятинского.

Князь Барятинский, друг наследника, бывший командир Кабардинского полка, теперь, как начальник всего левого фланга, тотчас по приезде своем в Грозную собрал отряд, с тем чтобы продолжать исполнять те предначертания государя, о которых Чернышев писал Воронцову. Собранный в Воздвиженской отряд вышел из нее на позицию по направлению к Куринскому. Войска стояли там и рубили лес.

Молодой Воронцов жил в великолепной суконной палатке, и жена его, Марья Васильевна, приезжала в лагерь и часто оставалась ноче-

вать. Ни от кого не были секретом отношения Барятинского с Марьей Васильевной, и потому непридворные офицеры и солдаты грубо ругали ее за то, что благодаря ее присутствию в лагере их рассылали в ночные секреты. Обыкновенно горцы подвозили орудия и пускали ядра в лагерь. Ядра эти большею частью не попадали, и потому в обыкновенное время против этих выстрелов не принималось никаких мер; но для того чтобы горцы не могли выдвигать орудия и пугать Марью Васильевну, высылались секреты. Ходить же каждую ночь в секреты для того, чтобы не напугать барыню, было оскорбительно и противно, и Марью Васильевну нехорошими словами честили солдаты и не принятые в высшее общество офицеры.

В этот отряд, чтобы повидать там собравшихся своих однокашников по Пажескому корпусу и однополчан, служивших в Куринском полку и адъютантами и ординарцами при начальстве, приехал в отпуск и Бутлер из своего укрепления. С начала его приезда ему было очень весело. Он остановился в палатке Полторацкого и нашел тут много радостно встретивших его знакомых. Он пошел и к Воронцову, которого он знал немного, потому что служил одно время в одном

с ним полку. Воронцов принял его очень ласково и представил князю Барятинскому и пригласил его на прощальный обед, который он давал бывшему до Барятинского начальнику левого фланга, генералу Козловскому.

Обед был великолепный. Были привезены и поставлены рядом шесть палаток. Во всю длину их был накрыт стол, уставленный приборами и бутылками. Все напоминало петербургское гвардейское житье. В два часа сели за стол. В середине стола сидели: по одну сторону Козловский, по другую Барятинский. Справа от Козловского сидел муж, слева жена Воронцовы. Во всю длину с обеих сторон сидели офицеры Кабардинского и Куринского полков. Бутлер сидел рядом с Полторацким, оба весело болтали и пили с соседями-офицерами. Когда дело дошло до жаркого и денщики стали разливать по бокалам шампанское, Полторацкий с искренним страхом и сожалением сказал Бутлеру:

— Осрамится наш «как».

— А что?

— Да ведь ему надо речь говорить. А что же он может?

— Да, брат, это не то, что под пулями завалы брать. А еще тут рядом дама да эти придворные

господа. Право, жалко смотреть на него, — говорили между собою офицеры.

Но вот наступила торжественная минута. Барятинский встал и, подняв бокал, обратился к Козловскому с короткой речью. Когда Барятинский кончил, Козловский встал и довольно твердым голосом начал:

— По высочайшей его величества воле, я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа офицеры, — сказал он. — Но считайте меня всегда, как, с вами… Вам, господа, знакома, как, истина — один в поле не воин. Поэтому все, чем я на службе моей, как, награжден, всё, как, чем осыпан, великими щедротами государя императора, как, всем положением моим и, как, добрым именем — всем, всем решительно, как… — здесь голос его задрожал, — я, как, обязан одним вам и одним вам, дорогие друзья мои! — И морщинистое лицо сморщилось еще больше. Он всхлипнул, и слезы выступили ему на глаза. — От всего сердца приношу вам, как, мою искреннюю задушевную признательность…

Козловский не мог говорить дальше и, встав, стал обнимать офицеров, которые подходили к нему. Все были растроганы. Княгиня закрыла лицо платком. Князь Семен Михайлович, скривя

рот, моргал глазами. Многие из офицеров тоже прослезились. Бутлер, который очень мало знал Козловского, тоже не мог удержать слез. Все это ему чрезвычайно нравилось. Потом начались тосты за Барятинского, за Воронцова, за офицеров, за солдат, и гости вышли от обеда опьяненные и выпитым вином, и военным восторгом, к которому они и так были особенно склонны.

Погода была чудная, солнечная, тихая, с бодрящим свежим воздухом. Со всех сторон трещали костры, слышались песни. Казалось, все праздновали что-то. Бутлер в самом счастливом, умиленном расположении духа пошел к Полторацкому. К Полторацкому собрались офицеры, раскинули карточный стол, и адъютант заложил банк в сто рублей. Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке, в кармане панталон, свой кошелек, но, наконец, не выдержал и, несмотря на данное себе и братьям слово не играть, стал понтировать.

И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту, испачканный мелом, сидел, облокотившись обеими руками на стол, и писал под смятыми на углы и транспорты картами цифры своих ставок. Он проиграл так много, что уж боялся счесть то, что было за ним записано. Он, не счи-

тая, знал, что, отдав все жалованье, которое он мог взять вперед, и цену своей лошади, он все-таки не мог заплатить всего, что было за ним записано незнакомым адъютантом. Он бы играл и еще, но адъютант с строгим лицом положил своими белыми чистыми руками карты и стал считать меловую колонну записей Бутлера. Бутлер сконфуженно просил извинить его за то, что не может заплатить сейчас всего того, что проиграл, и сказал, что он пришлет из дому, и когда он сказал это, он заметил, что всем стало жаль его и что все, даже Полторацкий, избегали его взгляда. Это был последний его вечер. Стоило ему не играть, а пойти к Воронцову, куда его звали, «и все бы было хорошо», — думал он. А теперь было не только не хорошо, но было ужасно.

Простившись с товарищами и знакомыми, он уехал домой и, приехав, тотчас же лег спать и спал восемнадцать часов сряду, как спят обыкновенно после проигрыша. Марья Дмитриевна по тому, что он попросил у нее полтинник, чтобы дать на чай провожавшему его казаку, и по его грустному виду и коротким ответам поняла, что он проигрался, и напала на Ивана Матвеевича, зачем он отпускал его.

На другой день Бутлер проснулся в двенадца-

том часу и, вспомнив свое положение, хотел бы опять нырнуть в забвение, из которого только что вышел, но нельзя было. Надо было принять меры, чтобы выплатить четыреста семьдесят рублей, которые он остался должен незнакомому человеку. Одна из этих мер состояла в том, что он написал письмо брату, каясь в своем грехе и умоляя его выслать ему в последний раз пятьсот рублей в счет той мельницы, которая оставалась еще у них в общем владении. Потом он написал своей скупой родственнице, прося ее дать ему на каких она хочет процентах те же пятьсот рублей. Потом он пошел к Ивану Матвеевичу и, зная, что у него или, скорее, у Марьи Дмитриевны есть деньги, просил его дать ему взаймы пятьсот рублей.

— Я бы дал, — сказал Иван Матвеевич, — сейчас отдал бы, да Машка не даст. Они, эти бабы, очень уж прижимисты, черт их знает. А надо, надо выкрутиться, черт его возьми. У того черта, у маркитанта, нет ли?

Но у маркитанта нечего было пробовать и занимать. Так что спасение Бутлера могло прийти только от брата или от скупой родственницы.

XXII

Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи-Мурат вернулся в Тифлис и каждый день ходил к Воронцову и, когда его принимали, умолял его собрать горских пленных и выменять на них его семью. Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда приедет в Тифлис генерал Аргутинский и он переговорит с ним. Тогда Хаджи-Мурат стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухе, небольшом городке Закавказья, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамилем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того, в Нухе, магометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые магометанским законом молитвы. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи-Мурату переехать в Нуху.

Для Воронцова, для петербургских властей, так же как и для большинства русских людей,

знавших историю Хаджи-Мурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в кавказской войне, или просто интересным случаем; для Хаджи-Мурата же это был, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя, отчасти из ненависти к Шамилю, и, как ни трудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его успех и он действительно обдумывал планы нападения на Шамиля. Но оказалось, что выход его семьи, который, он думал, легко устроить, был труднее, чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа ее в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить или ослепить сына. Теперь Хаджи-Мурат переезжал в Нуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазутчик, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семьею к русским, но людей, готовых на это, слишком мало и что они не решаются сделать этого в месте заключения семьи, в Ведено, но сделают это только в том случае, если семью переведут из Ведено в другое место. Тогда на пути они обещаются сделать это.

Хаджи-Мурат велел сказать своим друзьям, что он обещает три тысячи рублей за выручку семьи.

В Нухе Хаджи-Мурату был отведен небольшой дом в пять комнат, недалеко от мечети и ханского дворца. В том же доме жили приставленные к нему офицеры и переводчик и его нукеры. Жизнь Хаджи-Мурата проходила в ожидании и приеме лазутчиков из гор и в разрешенных ему прогулках верхом по окрестностям Нухи.

Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи-Мурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тифлиса. Несмотря на все желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджи-Мурат, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостиной и приемной. Приехавший из Тифлиса чиновник, толстенький статский советник Кириллов, передал Хаджи-Мурату желание Воронцова, чтоб он к двенадцатому числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским.

— Якши, — сердито сказал Хаджи-Мурат.

Чиновник Кириллов не понравился ему.

— А деньги привез?

— Привез, — сказал Кириллов.

— За две недели теперь, — сказал Хаджи-Мурат и показал десять пальцев и еще четыре. — Давай.

— Сейчас дадим, — сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки. — И на что ему деньги? — сказал он по-русски приставу, полагая, что Хаджи-Мурат не понимает, но Хаджи-Мурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Доставая деньги, Кириллов, желая разговориться с Хаджи-Муратом, с тем чтобы иметь что передать по возвращении своем князю Воронцову, спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь. Хаджи-Мурат сбоку взглянул презрительно на маленького толстого человечка в штатском и без оружия и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос.

— Скажи ему, что я не хочу с ним говорить. Пускай даст деньги.

И, сказав это, Хаджи-Мурат опять сел к столу, собираясь считать деньги.

Когда Кириллов вынул золотые и разложил семь столбиков по десять золотых (Хаджи-Мурат получал по пять золотых в день), он подвинул их к Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат ссыпал золотые в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеши

и пошел из комнаты. Статский советник привскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. То же подтвердил и пристав. Но Хаджи-Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты.

— Что с ним станешь делать, — сказал пристав. — Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришь. Я вижу, он беситься начинает.

Как только смерклось, пришли из гор обвязанные до глаз башлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнаты к Хаджи-Мурату. Один из лазутчиков был мясистый черный тавлинец, другой — худой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджи-Мурата нерадостные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будет помогать Хаджи-Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи-Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Хаджи-Мурат думал, и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз, и необходимо решение. Хаджи-Мурат поднял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам

по одному и сказал:

— Идите.

— Какой будет ответ?

— Ответ будет, какой даст Бог. Идите.

Лазутчики встали и ушли, а Хаджи-Мурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал.

«Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему? — думал Хаджи-Мурат. — Он лисица — обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было. Нельзя было потому, что он теперь, после того как я побыл у русских, уже не поверит мне», — думал Хаджи-Мурат.

И он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах, и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. «Лети, — сказали они, — туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут». Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и заклевали его.

«Так заклюют и меня», — думал Хаджи-Мурат.

«Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство?»

«Это можно», — думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя.

«Но надо сейчас решить, а то он погубит семью».

Всю ночь Хаджи-Мурат не спал и думал.

XXIII

К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским, или бежит с нею в Хунзах и будет бороться с Шамилем, — Хаджи-Мурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы. И он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вышел в сени с отворенной дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи и ударили в уши свисты и щелканье сразу нескольких соловьев из сада, примыкавшего к дому.

Пройдя сени, Хаджи-Мурат отворил дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света, только молодой месяц в первой четверти светил в окна. Стол и два стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханефи спал на дворе с лошадьми. Гамзало, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Ха-

джи-Мурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний. Курбан и Хан-Магома спали. Хаджи-Мурат положил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые.

— Зашей и эти, — сказал Хаджи-Мурат, подавая Элдару полученные нынче золотые.

Элдар взял золотые и тотчас же, выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзало приподнялся и сидел, скрестив ноги.

— А ты, Гамзало, вели молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко, — сказал Хаджи-Мурат.

— Порох есть, пули есть. Будет готово, — сказал Гамзало и зарычал что-то непонятное.

Гамзало понял, для чего Хаджи-Мурат велел зарядить ружья. Он с самого начала, и что дальше, то сильнее и сильнее, желал одного: побить, порезать, сколько можно, русских собак и бежать в горы. И теперь он видел, что этого самого хочет и Хаджи-Мурат, и был доволен.

Когда Хаджи-Мурат ушел, Гамзало разбудил товарищей, и все четверо всю ночь пересматривали винтовки, пистолеты, затравки, кремни,

переменяли плохие, подсыпали на полки свежего пороху, затыкали хозыри с отмеренными зарядами пороха, пулями, обернутыми в масленые тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом.

Перед рассветом Хаджи-Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате же нукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджи-Мурат зачерпнул воды из кадки и подошел уже к своей двери, когда услыхал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи-Мурату песню. Хаджи-Мурат остановился и стал слушать.

В песне говорилось о том, как джигит Гамзат угнал с своими молодцами с русской стороны табун белых коней. Как потом его настиг за Тереком русский князь и как он окружил его своим, как лес, большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалы на поясах и кровь в жилах.

Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им: «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны».

Этими словами кончалась песня, и к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого Хан-Магомы, который при самом конце песни громко закричал: «Ля илляха иль Алла» — и пронзительно завизжал. Потом все затихло, и опять слышалось только соловьиное чмоканье и свист из сада и равномерное шипение и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери.

Хаджи-Мурат так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошел в свою комнату.

Совершив утренний намаз, Хаджи-Мурат осмотрел свое оружие и сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для того чтобы выехать, надо было спроситься у пристава. А на дворе еще было темно, и пристав еще спал.

Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было, — было тогда, когда Хаджи-Мурат только что родился, но про что ему рассказывала его мать.

Песня была такая:

«Булатный кинжал твой прорвал мою белую грудь, а я приложила к ней мое солнышко, моего мальчика, омыла его своей горячей кровью, и рана зажила без трав и кореньев, не боялась я смерти, не будет бояться и мальчик-джигит».

Слова этой песни обращены были к отцу Хаджи-Мурата, и смысл песни был тот, что, когда родился Хаджи-Мурат, ханша родила тоже своего другого сына, Умма-Хана, и потребовала к себе в кормилицы мать Хаджи-Мурата, выкормившую старшего ее сына, Абунунцала. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджи-Мурата рассердился и приказывал ей. Когда же она опять отказалась, ударил ее кинжалом и убил бы ее, если бы ее не отняли. Так она и не отдала его и выкормила, и на это дело сложила песню.

Хаджи-Мурат вспомнил свою мать, когда она, укладывая его спать с собой рядом, под шубой, на крыше сакли, пела ему эту песню, и он просил

ее показать ему то место на боку, где остался след от раны. Как живую, он видел перед собой свою мать — не такою сморщенной, седой и с решеткой зубов, какою он оставил ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже лет пять и он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду.

И вспомнился ему и морщинистый, с седой бородкой дед, серебряник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел за матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку.

И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его последний раз. Это было в тот день, как он выезжал из Цельмеса. Сын по-

дал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружен и держал в поводу свою лошадь. Румяное, молодое, красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его (он был выше отца) дышали отвагой молодости и радостью жизни. Широкие, несмотря на молодость, плечи, очень широкий юношеский таз и тонкий, длинный стан, длинные сильные руки и сила, гибкость, ловкость во всех движениях всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном.

— Лучше оставайся. Ты один теперь в доме. Береги и мать и бабку, — сказал Хаджи-Мурат.

И Хаджи-Мурат помнил то выраженье молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что, пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабке. Юсуф все-таки сел верхом и проводил отца до ручья. От ручья он вернулся назад, и с тех пор Хаджи-Мурат уже не видал ни жены, ни матери, ни сына.

И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль! О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать.

Мысли эти так взволновали Хаджи-Мурата, что он не мог более сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, кликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем

светло. Соловьи не замолкали.

— Поди скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней, — сказал он.

XXIV

Единственным утешением Бутлера была в это время воинственная поэзия, которой он предавался не только на службе, но и в частной жизни. Он, одетый в черкесский костюм, джигитовал верхом и ходил два раза в засаду с Богдановичем, хотя в оба раза эти они никого не подкараулили и никого не убили. Эта смелость и дружба с известным храбрецом Богдановичем казалась Бутлеру чем-то приятным и важным. Долг свой он уплатил, заняв деньги у еврея на огромные проценты, то есть только отсрочил и отдалил неразрешенное положение. Он старался не думать о своем положении и, кроме воинственной поэзии, старался забыться еще вином. Он пил все больше и больше и со дня на день все больше и больше нравственно слабел. Он теперь уже не был прекрасным Иосифом по отношению к Марье Дмитриевне, а, напротив, стал грубо ухаживать за ней, но, к удивлению своему, встретил решительный отпор, сильно пристыдивший его.

В конце апреля в укрепление пришел отряд, который Барятинский предназначал для нового движения через всю считавшуюся непроходи-

мой Чечню. Тут были две роты Кабардинского полка, и роты эти, по установившемуся кавказскому обычаю, были приняты как гости ротами, стоящими в Куринском. Солдаты разобрались по казармам и угащивались не только ужином, кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры угащивали пришедших.

Угощение кончилось попойкой с песенниками, и Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красный, но бледно-серый, сидел верхом на стуле и, выхватив шашку, рубил ею воображаемых врагов и то ругался, то хохотал, то обнимался, то плясал под любимую свою песню: «Шамиль начал бунтоваться в прошедшие годы, трай-рай-рататай, в прошедшие годы».

Бутлер был тут же. Он старался видеть и в этом военную поэзию, но в глубине души ему жалко было Ивана Матвеевича, но остановить его не было никакой возможности. И Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой.

Полный месяц светил на белые домики и на камни дороги. Было светло так, что всякий камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Подходя к дому, Бутлер встретил Марью Дмитри-

евну, в платке, покрывавшем ей голову и плечи. После отпора, данного Марьей Дмитриевной Бутлеру, он, немного совестясь, избегал встречи с нею. Теперь же, при лунном свете и от выпитого вина, Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять приласкаться к ней.

— Вы куда? — спросил он.

— Да своего старика проведать, — дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренно и решительно отвергала ухаживанье Бутлера, но ей неприятно было, что он все последнее время сторонился ее.

— Что же его проведывать, придет.

— Да придет ли?

— А не придет — принесут.

— То-то, нехорошо ведь это, — сказала Марья Дмитриевна. — Так не ходить?

— Нет, не ходите. А пойдем лучше домой.

Марья Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с Бутлером. Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и собирался сказать ей, что она все так же нравится ему, но не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так, молча, они совсем уж подходили к дому, когда из-за угла

выехали верховые. Ехал офицер с конвоем.

— Это кого Бог несет? — сказала Марья Дмитриевна и посторонилась.

Месяц светил взад приезжему, так что Марья Дмитриевна узнала его только тогда, когда он почти поравнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде вместе с Иваном Матвеевичем, и потому Марья Дмитриевна знала его.

— Петр Николаевич, вы? — обратилась к нему Марья Дмитриевна.

— Я самый, — сказал Каменев. — А, Бутлер! Здравствуйте! Не спите еще? Гуляете с Марьей Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задаст. Где он?

— А вот слышите, — сказала Марья Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тулумбаса и песни. — Кутят.

— Это что же, ваши кутят?

— Нет, пришли из Хасав-Юрта, вот и угощаются.

— А, это хорошее дело. И я поспею. Я к нему ведь только на минуту.

— Что же, дело есть? — спросил Бутлер.

— Есть маленькое дельце.

— Хорошее или дурное?

— Кому как! Для нас хорошее, кое для кого

скверное, — и Каменев засмеялся.

В это время и пешие и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича.

— Чихирев! — крикнул Каменев казаку. — Подъезжай-ка.

Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом.

— Ну, достань-ка штуку, — сказал Каменев, слезая с лошади.

Казак тоже слез с лошади и достал из переметной сумы мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку.

— Так показать вам новость? Вы не испугаетесь? — обратился он к Марье Дмитриевне.

— Чего же бояться, — сказала Марья Дмитриевна.

— Вот она, — сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца. — Узнаете?

Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженой бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом,

с окровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение.

Марья Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом.

Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи-Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах.

— Как же это? Кто его убил? Где? — спросил он.

— Удрать хотел, поймали, — сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам вошел в дом вместе с Бутлером. — И молодцом умер, — сказал Каменев.

— Да как же это всё случилось?

— А вот погодите, Иван Матвеевич придет, я все подробно расскажу. Ведь я затем послан. Развожу по всем укреплениям, аулам, показываю.

Было послано за Иваном Матвеевичем, и он, пьяный, с двумя также сильно выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева.

— А я к вам, — сказал Каменев. — Хаджи-Мура-

та голову привез.

— Врешь! Убили?

— Да, бежать хотел.

— Я говорил, что надует. Так где же она? Голова-то? Покажи-ка.

Кликнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, и Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее.

— А все-таки молодчина был, — сказал он. — Дай я его поцелую.

— Да, правда, лихая была голова, — сказал один из офицеров.

Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казаку. Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула.

— А что ж ты, Каменев, приговариваешь что, когда показываешь? — говорил один офицер.

— Нет, дай я его поцелую. Он мне шашку подарил, — кричал Иван Матвеевич.

Бутлер вышел на крыльцо. Марья Дмитриевна сидела на второй ступеньке. Она оглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась.

— Что вы, Марья Дмитриевна? — спросил Бутлер.

— Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живоре-

зы, право, — сказала она, вставая.

— То же со всеми может быть, — сказал Бутлер, не зная, что говорить. — На то война.

— Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна. — Какая война? Живорезы, вот и всё. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право, — повторила она, и сошла с крыльца, и ушла в дом через задний ход.

Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменева рассказать подробно, как было все дело.

И Каменев рассказал.

Дело было вот как.

XXV

Хаджи-Мурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казаков всех в Нухе была полусотня, из которой разобраны были по начальству человек десять, остальных же, если их посылать, как было приказано, по десять человек, приходилось бы наряжать через день. И потому в первый день послали десять казаков, а потом решили посылать по пять человек, прося Хаджи-Мурата не брать с собой всех своих нукеров, но 25 апреля Хаджи-Мурат выехал на прогулку со всеми пятью. В то время как Хаджи-Мурат садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все пять нукеров собирались ехать с Хаджи-Муратом, и сказал ему, что ему не позволяется брать с собой всех, но Хаджи-Мурат как будто не слыхал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку остриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русый малый, Назаров. Он был старший в бедной старообрядческой семье, выросший без отца и кормивший старую мать с тремя дочерьми и двумя братьями.

— Смотри, Назаров, не пускай далеко! — крикнул воинский начальник.

— Слушаю, ваше благородие, — ответил Назаров и, поднимаясь на стременах, тронул рысью, придерживая за плечом винтовку, своего доброго, крупного, рыжего, горбоносого мерина. Четыре казака ехали за ним: Ферапонтов, длинный, худой, первый вор и добытчик, — тот самый, который продал порох Гамзале; Игнатов, отслуживающий срок, немолодой человек, здоровый мужик, хваставшийся своей силой; Мишкин, слабосильный малолеток, над которым все смеялись, и Петраков, молодой, белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и веселый.

С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась, и солнце блестело и на только что распустившейся листве, и на молодой девственной траве, и на всходах хлебов, и на ряби быстрой реки, видневшейся налево от дороги.

Хаджи-Мурат ехал шагом. Казаки и его нукеры, не отставая, следовали за ним. Выехали шагом по дороге за крепостью. Встречались женщины с корзинами на головах, солдаты на повозках и скрипящие арбы на буйволах. Отъехав версты две, Хаджи-Мурат тронул своего белого кабардин-

ца; он пошел пр́оездом, так, что его нукеры шли большой рысью. Так же ехали и казаки.

— Эх, лошадь добра под ним, — сказал Ферапонтов. — Кабы в ту пору, как он не мирной был, ссадил бы его.

— Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе.

— А я на своем перегоню, — сказал Назаров.

— Как же, перегонишь, — сказал Ферапонтов.

Хаджи-Мурат все прибавлял хода.

— Эй, кунак, нельзя так. Потише! — прокричал Назаров, догоняя Хаджи-Мурата.

Хаджи-Мурат оглянулся и, ничего не сказав, продолжал ехать тем же пр́оездом, не уменьшая хода.

— Смотри, задумали что, черти, — сказал Игнатов. — Вишь, лупят.

Так прошли с версту по направлению к горам.

— Я говорю, нельзя! — закричал опять Назаров.

Хаджи-Мурат не отвечал и не оглядывался, только еще прибавлял хода и с пр́оезда перешел на скок.

— Врешь, не уйдешь! — крикнул Назаров, задетый за живое.

Он ударил плетью своего крупного рыжего

мерина и, привстав на стременах и нагнувшись вперед, пустил его во весь мах за Хаджи-Муратом.

Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с доброю, сильною лошадью, летел по ровной дороге за Хаджи-Муратом, что ему и в голову не приходила возможность чего-нибудь недоброго, печального или страшного. Он радовался тому, что с каждым скоком набирал на Хаджи-Мурата и приближался к нему. Хаджи-Мурат сообразил по топоту крупной лошади казака, приближающегося к нему, что он накоротко должен настигнуть его, и, взявшись правой рукой за пистолет, левой стал слегка сдерживать своего разгорячившегося и слышавшего за собой лошадиный топот кабардинца.

— Нельзя, говорю! — крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи-Муратом и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел.

— Что ж это ты делаешь? — закричал Назаров, хватаясь за грудь. — Бей их, ребята, — проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла.

Но горцы прежде казаков взялись за оружие

и били казаков из пистолетов и рубили их шашками. Назаров висел на шее носившей его вокруг товарищей испуганной лошади. Под Игнатовым упала лошадь, придавив ему ногу. Двое горцев, выхватив шашки, не слезая, полосовали его по голове и рукам. Петраков бросился было к товарищу, но тут же два выстрела, один в спину, другой в бок, сожгли его, и он, как мешок, кувырнулся с лошади.

Мишкин повернул лошадь назад и поскакал к крепости. Ханефи с Хан-Магомой бросились за Мишкиным, но он был уже далеко впереди, и горцы не могли догнать его.

Увидав, что они не могут догнать казака, Ханефи с Хан-Магомой вернулись к своим. Гамзало, добив кинжалом Игнатова, прирезал и Назарова, свалив его с лошади. Хан-Магома снимал с убитых сумки с патронами. Ханефи хотел взять лошадь Назарова, но Хаджи-Мурат крикнул ему, что не надо, и пустился вперед по дороге. Мюриды его поскакали за ним, отгоняя от себя бежавшую за ними лошадь Петракова. Они были уже версты за три от Нухи среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу.

Петраков лежал навзничь с взрезанным живо-

том, и его молодое лицо было обращено к небу, и он, как рыба всхлипывая, умирал.

— Батюшки, отцы мои родные, что наделали! — вскрикнул, схватившись за голову, начальник крепости, когда узнал о побеге Хаджи-Мурата. — Голову сняли! Упустили, разбойники! — кричал он, слушая донесение Мишкина.

Тревога дана была везде, и не только все бывшие в наличности казаки были посланы за бежавшими, но собраны были и все, каких можно было собрать, милиционеры из мирных аулов. Объявлено было тысячу рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджи-Мурата. И через два часа после того, как Хаджи-Мурат с товарищами ускакали от казаков, больше двухсот человек конных скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших.

Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджи-Мурат сдержал своего тяжело дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился. Вправо от дороги виднелись сакли и минарет аула Беларджика, налево были поля, и в конце их виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат повернул в противоположную сторону, влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо.

Он же, и без дороги переправясь через Алазань, выедет на большую дорогу, где его никто не будет ожидать, и проедет по ней до леса и тогда уже, вновь переехав через реку, лесом проберется в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясину, в которой выше бабки вязли лошади. Хаджи-Мурат и его нукеры брали направо, налево, думая, что найдут более сухое место, но то поле, на которое они попали, было все равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с звуком хлопания пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались.

Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они всё еще не доехали до реки. Влево был островок с распустившимися листиками кустов, и Хаджи-Мурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи.

Въехав в кусты, Хаджи-Мурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться, сами же поели взятого с собой хлеба

и сыра. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы, и ночь была темная. Соловьев в Нухе было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока Хаджи-Мурат с своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджи-Мурат, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их.

И их свист напомнил ему ту песню о Гамзате, которую он слушал нынче ночью, когда выходил за водой. Он всякую минуту теперь мог быть в том же положении, в котором был Гамзат. Ему подумалось, что это так и будет, и ему вдруг стало серьезно на душе. Он разостлал бурку и совершил намаз. И едва только окончил его, как послышались приближающиеся к кустам звуки. Это были звуки большого количества лошадиных ног, шлепавших по трясине. Быстроглазый Хан-Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших, приближавшихся к кустам. Ханефи увидал такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник, с своими милиционерами.

«Что ж, будем биться, как Гамзат», — подумал Хаджи-Мурат.

После того как дана была тревога, Карганов с сотней милиционеров и казаков бросился в догоню Хаджи-Мурата, но нигде не нашел ни его, ни следов его. Карганов уже возвращался безнадежно домой, когда перед вечером ему встретился старик татарин. Карганов спросил у старика, не видал ли он шестерых конных? Старик отвечал, что видел. Он видел, как шесть конных кружились по рисовому полю и въехали в кусты, в которых он собирал дрова. Карганов, захватив с собой старика, вернулся назад и, по виду стреноженных лошадей уверившись, что Хаджи-Мурат был тут, ночью уже окружил кусты и стал дожидаться утра, чтобы взять Хаджи-Мурата живого или мертвого.

Поняв, что он окружен, Хаджи-Мурат высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Он сказал это своим товарищам и велел им делать завал на канаве. И нукеры тотчас же взялись рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. Хаджи-Мурат работал вместе с ними.

Как только стало светать, как к кустам близко подъехал сотенный командир милиции и закричал:

— Эй! Хаджи-Мурат! Сдавайся! Нас много, а вас мало.

В ответ на это из канавы показался дымок, щелкнула винтовка, и пуля попала в лошадь милиционера, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки милиционеров, стоявших на опушке кустов, и пули их, свистя и жужжа, обивали листья и сучья и попадали в завал, но не попадали в людей, сидевших за завалом. Только одна отбившаяся лошадь Гамзалы была подбита ими. Лошадь была ранена в голову. Она не упала, но, разорвав треногу, треща по кустам, бросилась к другим лошадям и, прижавшись к ним, поливала кровью молодую траву. Хаджи-Мурат и его люди стреляли только тогда, когда кто-либо из милиционеров выдавался вперед, и редко миновали цели. Три человека из милиционеров были ранены, и милиционеры не только не решались броситься на Хаджи-Мурата и его людей, но всё более и более отдалялись от них и стреляли только издалека, наобум.

Так продолжалось более часа. Солнце взошло в полдерева, и Хаджи-Мурат уже думал сесть на лошадей и попытаться пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи-Ага мехтулинский с сво-

ими людьми. Их было человек двести. Гаджи-Ага был когда-то кунак Хаджи-Мурата и жил с ним в горах, но потом перешел к русским. С ним же был Ахмет-Хан, сын врага Хаджи-Мурата. Гаджи-Ага, так же как Карганов, начал с того, что закричал Хаджи-Мурату, чтобы он сдавался, но, так же как и в первый раз, Хаджи-Мурат ответил выстрелом.

— В шашки, ребята! — крикнул Гаджи-Ага, выхватив свою, и послышались сотни голосов людей, с визгом бросившихся в кусты.

Милиционеры вбежали в кусты, но из-за завала затрещало один за другим несколько выстрелов. Человека три упало, и нападавшие остановились, и на опушке кустов тоже стали стрелять. Они стреляли и вместе с тем понемногу приближались к завалу, перебегая от куста к кусту. Некоторые успевали перебегать, некоторые же попадали под пули Хаджи-Мурата и его людей. Хаджи-Мурат бил без промаха, точно так же редко выпускал выстрел даром Гамзало и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Курбан сидел с краю канавы и пел «Ля илляха иль Алла» и не торопясь стрелял, но попадал редко. Элдар же дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на вра-

гов и стрелял часто и как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджи-Мурата и высовываясь из-за завала. Волосатый Ханефи, с засученными рукавами, и тут исполнял должность слуги. Он заряжал ружья, которые передавали ему Хаджи-Мурат и Курбан, старательно загоняя железным шомполом обернутые в намасленные хлюсты пульки и подсыпая из натруски сухого пороха на полки. Хан-Магома же не сидел, как другие, в канаве, а перебегал из канавы к лошадям, загоняя их в более безопасное место, и не переставая визжал и стрелял с руки без подсошек. Его первого ранили. Пуля попала ему в шею, и он сел назад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был Хаджи-Мурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджи-Мурат вырвал из бешмета вату, заткнул себе рану и продолжал стрелять.

— Бросимся в шашки, — в третий раз говорил Элдар.

Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, и он зашатался и упал навзничь, на ногу Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на него. Бараньи прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджи-Мурата. Рот с выдающейся, как у детей, верхней губой дергался, не раскрываясь.

Хаджи-Мурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Ханефи нагнулся над убитым Элдаром и стал быстро выбирать нерасстрелянные заряды из его черкески. Курбан между тем все пел, медленно заряжая и целясь.

Враги, перебегая от куста к кусту с гиканьем и визгом, придвигались все ближе и ближе. Еще пуля попала Хаджи-Мурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим. То он видел перед собой силача Абунунцал-Хана, как он, придерживая рукою отрубленную, висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага; то видел слабого, бескровного старика Воронцова с его хитрым белым лицом и слышал его мягкий голос; то видел сына Юсуфа, то жену Софиат, то бледное, с рыжей бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамиля.

И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Все это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него.

А между тем его сильное тело продолжало делать начатое. Он собрал последние силы, поднялся из-за завала, и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека, и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался.

Он не двигался, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему Гаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и зачем. Это было последнее его сознание связи с своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал, и враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-Ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов

отсек голову и осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногою. Алая кровь хлынула из артерий шеи и черная из головы и залила траву.

И Карганов, и Гаджи-Ага, и Ахмет-Хан, и все милиционеры, как охотники над убитым зверем, собрались над телами Хаджи-Мурата и его людей (Ханефи, Курбана и Гамзалу связали) и, в пороховом дыму стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу.

Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва один близко и потом другие на дальнем конце.

Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля.

Рекомендуем книги по теме



Полка: О главных книгах русской литературы (тома I, II)

Коллектив авторов



Полка: О главных книгах русской литературы (тома III, IV)

Коллектив авторов